

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

9/2018

Содержание

ПРОЗА

Дмитрий ЗАРУБИН. Пасха в Столбище. Рассказ.	3
Всеволод КАЧЕМАСОВ. Чернуха. Киноповесть.	24
Андрей ПОЗДНЯКОВ. В машине. Рассказ.	55
Юрий ВИСЬКИН. Солнце и Ночка. Рассказ.	71
Валентина ПЕТРОВА. Птица. Рассказ.	91
Александр ТИТОВ. Страсти по картошке. Рассказ.	98
Александра ШАЛАШОВА. Почему у нас не было детей. Рассказ.	105

ПОЭЗИЯ

Ольга АНИКИНА. До чебуречной. Стихи.	19
Константин КОМАРОВ. «Давай поговорим нарядно...» Стихи.	51
Александр РУДЕНКО. Полян, полян... Стихи.	67
Алексей ДЬЯЧКОВ. Откос и облако в реке. Стихи.	87

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий ГЛАЗОВ. Чайки над свалкой. <i>Чешские записки украинского батрака.</i>	120
Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Сергей СОЛОВЬЕВ. Дуче. <i>Главы из книги. Окончание.</i>	153

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Дискуссия

Олег ПОЛЕЖАЕВ. К вопросу о поэтической критике.	176
Михаил ХЛЕБНИКОВ. В поисках потерянной конгруэнтности.	182

Картинная галерея «Сибирских огней»

Владимир ЧИРКОВ. Георгий Кичигин и его «Фотоальбом деда». ...	188
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Шукин.

Дмитрий ЗАРУБИН

ПАСХА В СТОЛБИЦЕ

Р а с с к а з *

1.

Накануне ночью был дождь.

Первая весенняя гроза сначала робко, а потом все увереннее и мощнее распыхтелась, загрохотала в ту полуночную пронзительную минуту молчания, когда смолкают самые неугомонные деревенские петухи, а влюбленные парочки утихают после незатейливых, скороспелых любовных забав, найдя себе пристанище.

Небо крякнуло и с пугающим грохотом и страстью расколосось, метнув по всей своей обозримой длине раскидистую бледно-голубую молнию. Атмосферный гул всполошил живность: в сараях и коровниках закопошились испуганные телята и свиньи, недовольно загавкал разбуженный соседский кобель. Всеобъемлющая темнота напряглась и бабахнула сдвоенным раскатом.

С громким хлопком пала глубокая тишина.

Стало слышно, как где-то, захлебываясь, заплакал ребенок.

У печки беспокойно заворочалась Наташка, но бабушка, вставшая с первыми раскатами грома и успевшая сходить на баз и проверить скотину, что-то невразумительно приговаривая, подошла, прикрыла раскидавшуюся по широкой постели девчонку толстым лоскутным одеялом, и та стихла, успокоилась, учуяв человеческую близость.

Первые, даже на звук крупные и весомые капли дождя редко и жирно зашлепали о треснутые стекла маленьких мутных оконцев, не задерживаясь покатались по позеленевшей от мха шиферной крыше очень старого дома.

Дождь зашелестел, зазвенел, заторопился. Некоторое время ничего не было слышно, кроме этих торопливых — будто утомившийся путник заспешил, завидев бледненький огонек, к теплу и свету — звуков небесной воды, заглушивших, отодвинувших куда-то в тень все остальные проявления ночной жизни деревни.

* Журнальный вариант.



2.

Наташка проснулась оттого, что в доме стало совершенно темно. Она разом открыла глаза, с ужасом прервав дыхание. Робко сказала:

— А... — запнулась и уже осмысленно повторила: — А-а...

Услышала звонкое капанье с дырявых водосточков остатков грозы, бьющихся, наверное, о цинковый подойник, наброшенный на столб, ослабилась и начала дышать.

Все еще мокрая от пережитого непонятного ужаса, осторожно ощупала сначала кончиками пальцев, а потом и всей ладонью свой огромный, разбухший от лобка до груди живот. Растянутая и, как казалось, утончившаяся кожа неприятно поскрипывала под грубыми, в царапинах и трещинах, руками. Ребенок не шевелился.

Наташка подумала, что он, наверное, спит. Ведь на дворе ночь. Хотя, конечно, он мог и не знать, что сейчас ночь, поскольку у нее-то внутри всегда ночь, и пока, по крайней мере, пока он подчинялся ей. А она спала, вернее, уже проснулась, но еще лежала. И молчала. И не шевелилась. Значит, для него еще была ночь.

Тут она подумала: почему в доме так темно? И сразу вспомнила, что она у бабушки. Ей стало плохо, и она беззвучно и бесслезно, чтобы не разбудить бабушку, заплакала. И опять уснула.

3.

Второй раз, окончательно, Наташка проснулась с мыслью. Обрадовалась, что у нее тоже, оказывается, иногда появляются мысли, и сразу поспешила угасить радость, чтобы дать мысли оформиться.

Так вот. Наташка проснулась с мыслью, что так все и надо. Ведь она не виновата, что живет в таком разном мире. Ведь свет большой. И по телевизору показывают много разных чудес. И вот сейчас, сегодня она осознала, что все, что показывают по телевизору, — это правда, только, скажем так, далекая правда, чудесная. Где-то там, уж неизвестно где. А она, Наташка, живет здесь — и это так тоже надо и можно, главное, чтобы в душе не поселялось смятение оттого, что ты все-таки поняла, что где-то там другие люди живут по-другому. Ну, не так чтобы уж лучше, чем ты, но просто совсем-совсем по-другому.

Она осторожно погладила живот. Пощупала соски и огорчилась, что груди набухли и потихоньку сочатся молоком. Ей не нравился запах собственного молока. От него тошнило. Вздохнула и спустила ноги на связаный из разноцветных капроновых, протершихся в разных местах колготок половичок.

В доме было прохладно и светло, в солнечных лучах танцевали пылинки и крошечные кусочки перьев из дырявой перины и подушки. На дворе орали куры и гуси, позвякивала цепью собака. Неизвестно в каком месте громко тикал (Наташка про себя подумала, что это все-таки несправедливо: ночью его, понимаете ли, не слышно, а днем нате вам!) допотопный будильник.

Переваливаясь на колени и с колен и тяжело охая, она разыскала под кроватью шерстяные носки, натянула их. Придерживаясь на всякий непредвиденный случай за железные холодные ножки, встала, распрямилась, накинула теплый и засаленный, подпаленный с боков халат и, сунув ноги в резиновые калоши, поковыляла на улицу.

Во дворе бабушки не было. Грязный, со свалывшейся шерстью Джек лениво приподнял задницу и, демонстративно приветствуя человека, помахал обрубком хвоста. Куры, радостно загомонив, бросились под ноги, выпрашивая зерно. Наташка, запахнув поплотнее халат и подвязав его под животом, вперевалку пошла к полуобвалившемуся сеннику. Ни лопаты, ни ведра не было. Она вздохнула и вышла за ворота.

Идти было тяжело. В животе что-то булькало и увесисто колыхалось. Роса вычистила калоши до механического блеска и намочила носки и ноги аж до колен.

Тропинка спускалась с дороги все ниже и ниже, забегая за край белесого тумана, плотным ломтем — ну совсем как кусок холодного сливочного масла на черной краюхе хлеба — лежащего на вспаханном поле. Его вспахали накануне за литр самогона. В тумане мелькала то голова и плечи бабушки, то черенок лопаты. Ее движения, путь отпечатались на однотонно-бесцветном, липком и влажном, тягучем полотне ровной портняжьей строчкой: копнула пашню, нагнулась, бросила картофелину, распрямилась — копнула, нагнулась — бросила...

Наташка подошла и молча взяла ведро. Бабушка остренько глянула, однако смолчала и сноровистее продолжила копать далее. Наташка, сопя, потянулась следом, стараясь, чтобы падающие картофелины ложились точно в серединку копка.

Так они молча и сосредоточенно работали, пока светило не поднялось высоко и сливочное масло тумана не растаяло и не распалось на крошечные кусочки, зацепившиеся за дальние — ближе к оврагам и буеракам, где похолоднее и потемнее, — кусты.

Запарило.

Бабушка остановилась, внимательно посмотрела на небо, в котором колыхался катышек солнца, пожевала губами какое-то слово, но ничего не сказала, хрипло вздохнула и сноровисто ошаркала обломком шифера железное перо лопаты.

— Время, — подтвердила беременная правоту бабушки. — Наверное, пойдем?

— Возьми лопату и ведро. — Старуха утерла уголком черного суконного платка краешки губ и глаз. — А я к Федоровне схожу за молоком.

— Да приедут они, приедут, что ты так переживаешь? Ну и что, что давно не были? Теперь-то им все уже сказали, что надо бы приехать.

Бабушка не ответила, подтянула платок, оправила цветастый халат и, переваливаясь большим телом на неровностях пашни, заковыляла к невысокому соседскому дому, во дворе которого завивался сизый дымок.

Наташка собрала пустые мешки в ведро, подцепила его на лопату и под грустное, глуховатое погромыхивание зашагала в другую сторону.

4.

Красный бэушный «фольксваген» с явным неудовольствием, различимым в вое двигателя на низкой передаче, скрежеща подкрылками и выхлопной трубой по колее, невзначай сработанными гусеничными тракторами, подплыл к деревянным воротам. Выждав, пока уляжется пыль, приехавшие опустили стекла и лишь потом стали по одному выходить на деревенский простор.

— Чтоб твою... — выругался и выплюнул на выдохе любимую жвачку «Ригли» водитель, распахнувши дверцу и первым же шагом угонив в коровью лепешку.

Он так и застыл недоуменно с вытянутой вперед ногой, не зная, что ему предпринять: то ли достать новую пластинку жевательной резинки, без которой как-то неуютно было во рту, то ли уже все-таки выйти, то ли попытаться, сидя в машине, сначала вытереть кроссовку, а уж после ступить на родную землю.

Впрочем, родной земля была не его, а среднего возраста женщины, сидевшей справа, на месте, как дурашливо шутят водители, смертника. Екатерина Герасимовна, уже резво — для своего возраста и крупного тела — покинувшая комфортабельный салон, разминала затекшие ноги у запертой калитки.

С заднего сиденья выползли еще двое: муж Екатерины и их дочь, жена водителя. Слегка пропыленные и слегка голодные, что читалось на их лицах и особенно угадывалось в контурах заострившихся носов.

— Кажется, мясо жарят, — сказал, поддергивая брюки, мужик. — Точно, шашлыки делают, гады.

— Почему гады? И почему шашлыки? — как всегда, не согласилась с ним спутница, одетая в непонятный для дальнего путешествия прикид — прозрачную кофточку с черным кружевным бюстгальтером и тонкую белую юбку, от долгой дороги ставшую мятой и припорошенной пылью.

— Профессиональный нюх у меня, — пожал широкими пиджачными плечами мужчина.

— Никого нет, — недовольно буркнул водитель, еще не решивший, выходить или не выходить.

— Да что ты! — возразила Екатерина Герасимовна. — Когда бабушка уходит, она калитку всегда поперек перекрывает еще и палкой.

— Да вон уже кто-то идет, — кивнула молодая дама в белой юбке.

— Охо-хо-хо, — запричитала бабушка еще издали, стараясь быстренько пересечь пространство, отделяющее ее от дорогих гостей.

Водитель смачно сплюнул, поняв, что, точно, приехали, и, тщательно оглядывая поле постановки ног, выбрался из любимого автомобиля. Крепко став на почву, он привычно полез в карман за жвачкой. Старший мужчина вытащил с заднего сиденья сумки. Молодая деловито отряхнула юбку и зачем-то подула, оттопырив декольте, на бюстгальтер.

— Ну, дай я тебя поцелую, — бабушка одной рукой утирала краешком платка слезы, а другой тянулась обнимать отдаленно похожую на нее крупную женщину, — Катенька ты моя. Вот и свиделись. Спасибо тебе, не забыла-таки, вспомнила. — И заплакала по-большому, крупными слезами.

— Да ладно, ма, — приложилась к ее темной и сморщенной щеке Екатерина. — Приехали же, ну, чего ты плачешь? Куда мы денемся? И еще приедем, ты не беспокойся. Ну ма!

Осторожно, словно стараясь не расплескать полные ведра, подошла Наташка, успевшая по случаю приезда гостей принарядиться. Она надела турецкий пуловер с блестками вокруг шеи и на рукавах и черную шерстяную юбку, которая колом вздымалась на животе. И даже сменила удобные калоши на тесные и жаркие коричневые ботинки.

Бабушка наконец-то оторвалась от Кати и перецеловала всех приехавших, чем немало ввела их в смущение и некоторое недоумение. А гости, церемонно называя свои имена, поздоровались с беременной, как-то боязненно по очереди погладив ее по плечу. Наташка морщилась от неприятности своего положения и вежливо улыбалась.

Не успели все как следует разглядеть друг друга и основательно раздороваться, как на вершине холма, на дороге, ведущей с областной трассы, показалась еще одна машина.

Этот водитель не осторожничал. Глядя на его рискованную, спортивную манеру управления, можно было подумать, что этот целеустремленный, шикарный «паджеро» случайно завернул на проселки Белгородской области с какого-то африканского ралли типа Париж — Дакар. Джип вылетел с верхушки, мощно крякнулся на все четыре колеса, вышибив по сторонам фонтаны мелкой щебенки, которой были засыпаны наиболее глубокие колдобины, и шустро понесся к бабушкиному дому.

— Свят, свят, — зачастила старушка, — да что ж он, окаянный, делает-то?

— Дурак, — презрительно выговорила и отвернулась Екатерина Герасимовна.

— Какую машину губит, — сокрушенно покачал головой водитель немецкого «народного вагона».

Он с интересом ожидал продолжения спектакля, а Наташка полуоткрыла рот, растерявшись от испуга и раздвоения инстинкта самосохранения: то ли убежать самой, то ли прикрыть руками живот и остаться на месте, ведь неизвестно, куда дернется безумный гонщик?

«Паджеро», вломившись в тракторную колею, резко затормозил, развернулся на девяносто градусов и с шиком, сбавляя ход, задом подрулил к сразу же показавшемуся липипутом красному «фольксвагену». Хлопнула дверца, и с возгласом: «Ну, здравствуй, мать!» — распахивая объятия, к бабушке заспешил здоровенный мужик в спортивных «адидасах» и дорогой кожаной куртке нараспашку, загребая деревенскую грязь кроссовками сорок шестого размера.

Бабушка заплакала вторично и засуетилась, чтобы попасть в серединку как-то блуждающих из стороны в сторону объятий сына. Они звучно и сочно расцеловались в щеки и губы, потом бабушка продолжила плакать и утираться, новоприбывший же обратил свое несколько рассеянное внимание на остальных.

— Ба, сеструха! — полез он было к Екатерине.

— Опять пьяный, — отстранила она его руки. — Как тебя только менты не посадят?

— Да у меня менты — во! — похвастался братец, доставая из кармана пачку долларов, перехваченную резинкой. — Все тут сидят. Десятку в зубы и — пожалте, Василий Герасимович, проезжайте, милости просим.

Сестра недовольно отвернулась и прошла во двор. А Василий, покачиваясь, пошел целоваться с племянницей и ее мужем, который все еще разглядывал испачканный в дерьме ботинок, и обниматься со скромно дожидавшимся своей очереди зятем Юркой.

Пока длились бурные приветствия крутого сына, из джипа вылез еще один мужичонка — невзрачный, непонятного возраста, в каком-то сероватом, оставляющем впечатление неглаженого костюма, с перекошенной улыбкой, обращенной неизвестно к кому и сразу ко всем вместе.

— Здравствуйте, — негромко молвил он и, поскольку другие присутствующие были заняты, руку протянул Наташке.

— Здравствуйте, — так же тихо ответила она и слабо пожала вялую ладонь.

Он аккуратно, искоса, чтобы не сглазить, поглядел на ее огромный живот и отправился пожимать руки вкруговую.

— Это кто? — громко и не стесняясь спросила Екатерина у зашедшего вслед за ней во двор брата.

— Это Коля, — печально ответил Василий и осмотрелся.

Сказать, что двор и стоящие в нем строения требовали мужских рук, — значит ничего не сказать. Летняя кухня просела на одну стену, крыша ввалилась внутрь. Сенник был разрушен: часть шифера лежала на почерневших остатках сена, часть чудом и Божьим словом удерживалась на кое-где сохранившихся столбиках и жердях. Ограда вокруг двора была с явственными пробоинами, навроде старческого рта с дырками вместо зубов. Калитки и в огород, и на улицу полувисели на старых тряпках и резиновых обрезках. В углу, у конуры сонного Джека, валялась куча стволов и чурбанов, живописно раскинулись поленья, а в землю были воткнуты два ржавых колуна.

— Бардак в роте, — очень тихо сказал Коля.

— Не лезь, — не оборачиваясь, приказал Василий.

А бабушка заторопилась:

— Васенька, ну пожалуйста, уже пора, мы тут с Наташенькой покушать приготовили на кладбище. Пойдем, переоденешься, и пора нам уже — одиннадцать часов, а то никого не будет.

— Мам, да не хочу я, — сердито и затравленно оглядывался Вася, злобно хмурясь на ухмылки сестры.

Но бабушка, не слушая, тянула и тянула его за рукав куртки, и он был вынужден зайти вместе с ней в дом.

— А разве на Пасху ходят на кладбище? — скучно спросил Юра.

— А мы не пойдем, — отозвалась Екатерина, — мы поедем.

— Как?

— Дурак!

Из дома, сопровождаемый бабушкой, вышел Василий. Преобразившийся. В черном костюме, черных ботинках и в белой рубашке. В темно-синем с блестками галстуке.

Неловко одергивая полы пиджака, он спросил:

— Ну, все готовы? Поехали, что ли, а то я подохну в таком обмундировании.

5.

«Паджеро» бойко поскакал на холмы, к заброшенной кузнице, возле которой и было устроено новодельное кладбище.

Старое располагалось в соседнем большом и уютном селе Ютановка, и раньше столбицские относили своих туда. Но теперь, в новые времена, поскольку молодежи почти не осталось, а чтобы взять автобус для перевозки домовины и хоть минимального количества людей, нужно просить и уговаривать председателя сельхозкооператива не одни сутки и не с одной бутылкой первача, то и определились деревенские класть земляков рядышком — на холме, с которого открывался чудный вид на деревню, речку, пару ближних меловых гор, на лес, поля и овраги.

К властям за разрешением занять землю не ходили. Люди считали, что это ничейная земля. И ближние власти в лице местного участкового, вначале было воспротивившиеся, после пары разбитых стекол в доме смирились. Ну а дальние власти жизнь Столбища вообще не интересовала. Так и прижилось, стало шириться и разрастаться кладбище на холме.

Водитель «фольксвагена» весьма осторожно двинулся вслед за джипом. Он боялся влажной колеи, нервничал при виде громадных рытвин, заполненных ночной дождевой водой, рвал переключатель скоростей; машина взревывала на низких передачах и дергалась на узких просветах дороги. Ему еще повезло, что ехать надо было на меловые горы: вся влага с них уже сошла вниз, а свирепое солнце давно высушило подъездные пути. Поэтому даже маломощная немецкая машинка достаточно надежно, хотя и медленно тянулась по кочкам и щебню вслед «паджеро».

Они немного опоздали: у деревянных столиков, устроенных рядом с ближними могилами, уже стояли празднично одетые люди, громко разговаривали, пили, закусывали. Около могилок шныряли пацаны и девчонки, собирая в полиэтиленовые пакеты с окученных и разряженных в венки и ленточки холмиков конфеты и печенье.

— Вон та машина — Петровых, — сказала бабушка, со страхом держась за сверкающий поручень японской чудо-техники. — Он в Бел-



городе водителем банковской машины работает. Зарплату — жуть получает!

Петров, одетый в строгий костюм, белую рубашку и бабочку, обнимался с пожилой женщиной; рядом семенила еще одна старушка, вытягивая вперед сухую, покрытую дряблой и морщинистой кожей ручечку с рюмкой.

— А вот те — это с Волоконовки, с администрации. — Бабушка шустро поворачивала голову, стремясь не упустить никого. — У них тут дед лежит, а бабуку тама закопали, не захотели везти домой.

Джип аккуратно встал в ряд «лад» и «тойот»; бабушка, цепляясь толстой клеенчатой сумкой за дверцу, выбралась из большого нутра машины. Остановилась оправиться и успела еще сказать:

— А желтенькая — это Веркина. Помнишь Верку? Она теперь в Москве живет, где-то в институте преподает.

— Помню, мам, помню, — бурчал Василий, недовольный красивой и чистой одеждой, которая сковывала своей непривычностью.

Они подождали «фольксваген», помогли достать сумки, встряхнулись и уже сплоченной компанией пошли к родным могилам.

Бабушка по привычке, Наташка из-за раздражения пыльной и медленной ездой, Екатерина Герасимовна от ощущения, что так надо перед людьми, — всплакнули.

Василий обнялся с двумя-тремя мужиками примерно одного с собой возраста и весело расцеловался с полной, фигуристой женщиной, с размаху бросившейся ему на шею. Коля молча ходил следом, кривя непонятно губы. Мужики тут же раскрутили бутылки водки, разлили по стаканчикам — и все выпили, закусили и еще раз выпили.

Бабушка с Катериной (Юрка пристроился у жениного плечика) постояли у железной крашеной оградки дедовой могилы, вытирая слезы и обсуждая наряды других женщин, копошившихся у холмиков могил своих родственников.

Наташка и племянница раскладывали на высоком столе полотенце и выставляли кастрюльки и бутылки. Водитель «немецкого вагона» злобно ходил рядом и ругался вполголоса, так чтобы никому не было слышно: ему хотелось выпить, но он боялся, что его развезет, а ведь еще нужно было ехать от кладбища к дому.

Наконец семья собралась у стола. Разлили водку (Коля предпочел самогонку), не чокаясь выпили и не спеша стали есть привезенную гостям красную рыбу, колбасу, яйца и творог.

— Ну как ты там? — робко спросила бабушка Василия. — Так по-прежнему и не работаешь?

Василий скривился, а Коля поспешил ему на помощь:

— Да работает он, бабушка, только у него специфическая профессия.

Катя делано громко фыркнула.

— Да знаю я, какая у него профессия, — поджала губы бабушка. — Рассказывают люди.



— Узнать бы кто, — выпятил злобно толстые губы Василий, показав клыки, — ноги повыдергивал бы.

Они замолчали. Коля разлил водку.

Люди постепенно разъезжались. К Василию подошел, слегка покачиваясь, мужик в черной рубашке с декоративным, в русском духе расписанным стоячим воротничком и пригласил вечером на пикник у реки, на шашлыки и девочек.

На вопросительный взгляд Юрки бабушка отмахнулась:

— Местный губошлеп, сержантом был, а теперь начальник всего угрозыска.

Снова выпили и снова закусили. Молча и недовольно поглядывая друг на друга.

— Что ты на меня все лупишься? — не выдержав, сказал Вася Катерине. — Сказано же было уже давно: материн дом — общий, приезжай когда хочешь, с кем хочешь и делай что хочешь.

— Ну да, — ехидно улыбнулась сестра.

— Ты хозяин, — неожиданно, с другого бока поддержала его бабушка, — ты решаешь.

— Может, в хате поговорим? — попробовал смягчить Коля. — Тут же люди слушают.

— Ну, поехали, — согласилась бабушка. — И верно, дома еще поговорим, за обедом.

Она огляделась по сторонам. По каким-то ведомым только ей одной приметам определилась, что народу уже показались, могилки посмотрели, деда вспомнили и что уже, точно, пора возвращаться. Словно по сигналу, встрепенулись и женщины — скорлупа и кожура были собраны в пакетик, недоеденная снедь прибрана по кулькам.

Компания побрела к машинам.

6.

По приезде с кладбища семейная компания распалась на мелкие группы. Женщины дружно пошли готовить обед. Екатерина Герасимовна, сославшись на дорожную усталость, присела покурить возле прогнувшейся деревянно-кирпичной стены летней кухни. Юрка же и Коля бесцельно закружили по двору с сигаретами в губах, подергивая торчащие доски, попиная жавые тазики и разваливающиеся туюски для корма домашней птицы. Молодой зять остался на улице — мыть и полировать любимую движимую собственность. Василий, приехав, сразу же бросился переодеваться.

А к бабушке пожаловали новые гости: Вовка, поздний сын ее покойного брата, с двумя пацанами-близнецами лет восьми. Вовку, так уж сложилось в семье, все называли племянником, а он двоюродных брата и сестру — дядей и тетей. Он зашел во двор, одетый в ношенный, но чистый костюм, неся внушительную сумку, из которой торчали две трехлитровые банки с молоком и узкое высокое горлышко бутылки. Мальчишки свети-

лись щербатыми улыбками и блестящими белыми лбами, были босиком и в обыкновенных трусах и майках.

Племянник поздоровался за руку с мужиками, кивнул в ответ на ухмылку Екатерины и тоже закурил. Пацаны с восторгом, отталкивая друг друга, полезли на старенькие качели, сделанные из комбайнового ремня, прицепленного к древнему вязу, и поперечной доске.

На крыльцо, снова в любимых, с лампасами, «адидасах» и кожаной куртке, вышел Василий. Увидел Вовку, обнял и сурово спросил:

— Почему Наташка у бабушки?

— Ты, это, — растерялся и покраснел Вовка, стараясь выдрать руку из лапищи дядьки, — что вопросы-то задаешь, черт, при всех-то?

— Да ты колись, — насмешливо бросила Екатерина, — чего стесняться-то? Все свои. — И грубо добавила: — Или ты загулял, как всегда, кобелина, или Наташка не выдержала.

Вовкины щеки поплыли пятнами, и Василий ответил вместо него:

— Ты когда в последний раз в зеркало смотрелась?

Женщина насмешливо фыркнула. Николай поспешил предложить:

— Может, дрова хотя бы бабушке поколем, пока время есть?

— Нельзя — праздник, — лениво ответил Василий. — Деревенские не так поймут. Да и ни к чему все это, я матери уже давно говорю: поря в город переезжать, не хрена тут делать.

— Как же, — передразнила его сестра, — поедет она с тобой!

— А ты молчи, — огрызнулся брат.

Вовка суетливо достал из сумки литровую бутылку самогона и мотнул призывно головой за собой. Мужики переглянулись и потянулись на огород за полуразрушенным коровником, в котором, рвань на волю, заливался от злого лая еще один пес.

Дорогу идущим перебежала здоровенная серая крыса. Коля ловко кинул полено — получив по башке, зверек взвизгнул человеческим голосом и юркнул под стенку. Мужики хрипло засмеялись, а Юрка, обернувшись, попросил жену:

— Принеси хоть пару стаканов.

Екатерина сморщилась, однако встала и пошла в дом.

Мужчины раскинулись на травке возле живой изгороди, в тени, и Василий потребовал:

— Рассказывай!

— Да ему неудобно без ста грамм, — мудро заметил Николай. — Пусть из горла, что ли, пригубит.

Все выжидательно посмотрели на Вовку. А тот вроде как даже приосанился, чувствуя неподдельный интерес общества к извечной тяжкой мужниной судьбе, а с другой стороны, был еще трезвым и неловко ему было пить прямо из горлышка литровой бутылки. Ситуацию разрядила Екатерина, которая все-таки принесла граненые мутные стаканчики для всех, не забыв и себя, и большие бутерброды с колбасой для закуски. Юрий нарвал с грядки зеленого лука.

Племянник быстро раскупорил бутылку и разлил щедро всей честной компании по полному.

Василий выдохнул в сторону и — заглотнул разом. Николай медленно и вежливо, с кривой улыбкой выпил до дна. Екатерина с презрением пригубила и отставила стакан подальше. Юрка, давась и морщась, выхлебал пахнущую мандарином жидкость целиком. Вовка спокойно и с удовольствием вытянул самогон сквозь гнилые зубы, не удержался — причмокнул и не поторопился закусьвать, а сделал паузу, чтобы прочувствовать прохождение огня по организму, сказал, кивнув в сторону:

— А энтому?

— А, — отмахнулась женщина, — перебьется, ему много нельзя.

Вовка вздохнул, поерзал, устраиваясь поудобнее, и вдруг ляпнул:

— Сучка она!

— О!

— Полегче.

— Ну ты даешь!

Но племянника уже понесло:

— Нет, мужики, зуб дам — животное она. Нельзя же так: у тебя, понимаешь, дети, двое, муж живой под боком, да и во дворе скотины немарено, а она поди ж ты! Любви захотелось! Я, говорит, его люблю — и все тут! И не желаю, говорит, с тобой таким жить! Ты мне юность всю испортил и теперь желаешь, чтобы я с тобой до конца жизни лямку тянула. Не буду. И представьте, мужики, ушла к бабе Маше!

Вовку затрясло от ненависти, кулаки сжались и побелели, щеки запылали нездоровыми свекольными полукружьями. Он схватил бутылку и, плеская, налил себе второй стакан. Выпил залпом, утерся рукавом пиджака и, как-то трезвея, сказал:

— Ветеринар это волоконовский, из района. Я его сам позвал — корову посмотреть, а он, гад, жену мою увидал. И она его. И как чокнулась, дура. Ну, по первой-то это и не видно мне было, а потом по деревне слух пошел, что Наташку видели в бане заброшенной с энтим ветеринаром. Сволочь!

— Да ты не кипятись, — попробовал урезонить племянника Василий, но разошедшийся рассказчик ничего не слышал.

— Я вначале-то не поверил, мало ли бабы брешут, на то они и бабы, а после присмотрелся — и да, неладно что-то с женой случилось. Мне прям плохо стало, отвратительно. Смотрю, она как за коровами идет в стадо, так и задерживается, да и раньше стала ходить, задолго до времени. И я однажды мачехе говорю — посмотри за пацанами, а сам за ней...

— Ну, стой, стой, — пожалел Вовку Николай. — Давай еще выпьем, а то ты только себе налил, а мы шо ж?

Василий взял бутылку, степенно разлил по стаканам, вопросительно глянул на Екатерину — сестра отрицательно помахала головой. Установил емкость обратно на траву и поднял свой:

— Ну, давайте за деда выпьем, хоть и крут был, сильно дрался, а все ж: он уже там, а мы еще на полпути.

Не чокаясь, компания выпила, лениво закусили. Катя совершенно серьезно сказала, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Это вам, кобелям, расплата. А то, значит, сами по кустам, а мы не моги. Не, не то время нынче.

— Да для тебя всегда время было, — заржал брат, а Юрка попросил любопытно:

— И что дальше-то? Пошел ты за ней...

— Да... — вяло и перегоревши ответил Вовка. — В бане я их и застукал. Ветеринару нос сломал, а Наташка только на вторые сутки домой приползла, думал — прибил ее.

Василий крикнул, а Катя заплакала, размазывая по щекам черную тушь и алую помаду.

7.

Женщины готовили обед долго и тщательно, переживая сам процесс как удовольствие и предвкушение предстоящей неторопливой беседы за жизнь. Они не собирались вместе уже довольно долго и успели отвыкнуть от общества друг друга, и тем слаще было ожидание новостей. Поэтому они старались во время готовки отделяться незначительными замечаниями, репликами, приберегая главные сообщения на застолье.

Обед плавно перетекал в ужин. Солнце уже под село на соседский высоченный тополь, когда бабушка вышла на крыльцо и хрипловато-зычно позвала гостей к столу.

Столы поставили в горнице, убрав для простора диван и круглую современную тумбу с телевизором за занавесочки и разместив у стены одну длинную скамью, а с другой стороны установили все стулья и табуретки, которые только нашлись в доме.

Бабушка усадила и женщин и мужчин по своему разумению: Василия под образа, закрытые пыльными, пожелтевшими широкими узорчатыми полотенцами, рядом Вовку и Катю, а себе поставила стул у выхода, не слушая возражений и споров, сурово пробормотав, что это она угощает, она хозяйка, а значит, и сама будет подавать. Но на первую рюмочку тоже присела.

Мужики протиснулись к стене, пачкая рубашки и брюки побелкой, слегка посмеиваясь и смущаясь, в том алкогольном предощущении, которое охватывает даже непьющих при виде богато накрытого стола.

Бабушка глянула на Василия. Тот, уловив настойчивый взгляд, недовольно крикнул, встал и, подняв стопку, предложил выпить за праздник. Дружно выпили и принялись согласно закусывать, похваливая хозяйку дома и еду: городской салат оливье, окрошку на муке, жареную рыбу и картофельное пюре. Бабушка чуть-чуть отпила, выдержала паузу, чтобы гости закусили, и строго наказала мужикам — наливать!

Второй тост она подняла сама: за деда, за то, что вот у нее все-таки, несмотря на войну и голод, разные трудности, сложилась такая хорошая и дружная семья, ее регулярно навещающая и помогающая чем может.

Хором выпили и оживленно заговорили, перебиваясь со свежих телевизионных скандалов на домашние неурядицы, нехватку денег да на обсуждение нарядов жены президента и результатов последних игр чемпионата Европы по футболу.

Бабушка выждала, пока сидящие хорошо покушали да иссяк поток слов, потом тихонько и ласково спросила через весь стол Василия:

— Ты когда поедешь оформлять завещание?

Катя и Юрка притихли, прислушиваясь.

Василий передернул громадными плечами:

— Да как-нибудь...

— Это надо быстрее сделать, — настойчиво повторила бабушка. — А то вдруг землю-то заберет сельсовет?

— Да какое он имеет право забирать? — не выдержала Катерина. — Наша земля. Наша.

— Да не наша, — с широкой и пьяной ухмылкой перекинулся Юрка. — Его земля, — и ткнул пальцем в детину, — пусть он и разбирается.

— Ты пальцем не тычь, — погрубел Василий, — а то обломаю!

— Я тебе обломаю, скот! — взбесилась сестра. — Все себе захапал, а теперь командуешь. Ты бы поделился вначале, а потом требовал уважительного отношения.

Василий сидел, наливаясь кровью и сжимая стакан, подергивая головой то вправо, то влево.

Бабушка перебила дочь:

— Он хозяин, он мужик! Ты баба, ты не понимаешь!

— Это я не понимаю? — вскочила рассвирепевшая Катерина. — Он бандит! У него баксов навалом! А мы концы с концами едва сводим, а ты еще говоришь, что он хозяин!

— А кто у деда деньги тягал, — заревел брат, — когда он уже не мог ни разговаривать, ни шевелиться, а только на кровати сидел чурбаном? Разве не ты всегда приезжала в день его пенсии?

— Да ладно вам, — попытался успокоить родственников Вовка. — Давно не собирались вместе — посидим, выпьем, а вы все про деньги.

— А ты заткнись! — рявкнула на него Катерина. — Вон на женушку свою любуйся.

Наташка побледнела и жалобно скорчила личико. Вовка, ни на кого не глядя, налил себе водки и выпил.

Коля погладил руку Наташки, успокаивающе заглянул в глаза:

— Ты не волнуйся, тебе вредно.

Бабушка встала.

— Цыть! — прикрикнула на дочь. — Всё его, — показала на сына. — Он хозяин, он мужик!

Екатерина беззвучно заплакала и закрыла лицо ладонями. А Юрка попытался защитить жену и внести, как ему казалось, более справедливый расклад в раздел родительского имущества:

— Извините, мама. Василий все равно не будет заниматься ни землей, ни домом. Ему в городе проблем хватает, а тут все просто пропадет бесполезно.

— Ну и вы тоже, — неожиданно встрял водитель «фольксвагена», — не будете ничем заниматься. Вы, обыкновенно, все продадите — и точка.

— Да мы хоть продадим, — подтвердил Юрка, — а Василий просто бросит.

— Пока я жива, ничего не бросит, — возразила бабушка. — А после меня как хотите делайте.

— Да ладно вам спорить, — примиряюще сказал Вовка. — Давайте лучше выпьем.

И принялся наполнять водкой стопки.

8.

На ночевку распределялись по обоюдному согласию.

Женщины и дети остались у бабушки. Водитель дешевой иномарки побрел спать и заодно охранять, чтобы не испортили что-нибудь или не украли колеса, в обожаемый «народный вагон». Василия затащили в «паджеро», а Николая и Юрку Вовка повел на отдых в свою хату.

Они шли, покачиваясь из стороны в сторону, по всей ширине проезжей части дороги, пересекающей деревню из конца в конец, и громко горланили скоромные частушки да припевки, задирая всех попадающих на пути: и каких-то бродячих собак и коров, и обнявшиеся парочки, и группы молодых парней и девочек.

— Мужики, — слегка заплетающимся языком проговорил Вовка, — пошли на Ютановку, к бабам! Я таких знаю — закачаешься.

— Не, — не согласился Юрка, — ну их в пень. Нам и тут хватит, если захотим. — И захохотал довольный.

— А давай тогда еще самогонки тяпнем, — предложил неугомонный Вовка. — Я тут знаю одного дружбана. У него точно есть.

— А может, спать пойдем? Поздно, — мягко посомневался Коля.

— Не, — возразил Юрка, — мы еще не в кондиции. Айда к самогонщику.

И они двинулись за Вовкой, переключившись по настоянию Николая на грустные и тягучие песни. Пели громко, слаженно и сентиментально, вытирая пьяные слезы.

Эх, дороги... Пыль да туман,
 Холода, тревоги да степной бурьян.
 Выстрел грянет, пуля летит,
 Твой дружок в бурьяне неживой лежит...

Потом долго ломились в какую-то низенькую, но плотную и опутанную поверху колючей проволокой калитку, выкликая на весь проулок имя

самогонщика. К ним всё не выходили и не выходили, а когда они уже устали орать и собрались восвояси, калитка таки открылась и появился неопределенного возраста и пола человек, тихо позвавший:

— Заходите!

Они взошли. И выпили. И закусили.

Николай сразу же дал неопределенной личности денег, сколько тот попросил, и, видя, что деятельные собутыльники только разворачивают свое полуночное пиршество, пристроился покемарить в уголок — на деревянный топчан, покрытый старыми телогрейками, а также клетчатым верблюжьим одеялом.

Он задремал, и снилось ему привычное: его убивали.

9.

Коля не ощутил, сколько ему удалось поспать, — сон резко перешел в явь. Кто-то сильный и стремительный сорвал его тело с топчана и дважды очень пронзительно и тяжело ударил в солнечное сплетение, сбив и без того неровное ночное дыхание. Потом Николая разогнули и мощно ударили в лицо. Он упал и, стукнувшись затылком о потресканный комод, отключился и провалился в молчание.

Очнулся уже сидя за перекошенным столом. Напротив бледнел маской лица с неестественно яркими губами Вовка и механически мотал головой Юрка, удерживаемый в неопределенно-горизонтальной позе крепко ухваченным стаканом с мутной пахучей жидкостью. По бокам сидели двое молодых ребят в камуфляже; с их плеч свисали посеребренные аксельбанты, за погоны были заткнуты голубые береты с кокардами в виде гордых двухголовых орлов.

Один из десантников, судя по погонам — рядовой, бил себя в грудь, увешанную воинскими значками и медальками, и требовал выпить за воздушно-десантные войска. Второй, судя по лычкам — сержант (на хэбэ поблескивала «За отвагу»), крепко держал Колю за руку и требовательно заглядывал ему в глаза.

Николай не помнил да и, наверное, не слышал начала фразы, обращенной к нему, он включился только к концовке.

— ...знаешь, что такое Сержень-Юрт? А ты знаешь, что такое ДШБ*? Ты знаешь, сволочь, что такое ДШБ?

— Пусть пьет, — перебил его сослуживец, — пусть пьет за ВДВ! А то урою, — заскрежетал, внезапно даже для самого себя, зубами, впадая в беспричинную ярость.

— Нет, ты скажи, — обидно небожно ударил Николая раскрытой ладонью по щеке сержант, — ты знаешь, дерьмо, что такое ДШБ?

— Пей, скот! — тыкал, кровеня кожу, рядовой в губы Николая стакан. — Пей, а то прибьем.

* ДШБ — десантно-штурмовой батальон.

Коля осторожно принял в полную ладонь стакан (компания притихла, Юрка даже перестал болтать головой), поднял высоко над головой, громко и отчетливо сказал:

— Да здравствуют Воздушно-десантные войска Советского Союза!

Выпил до дна, потянулся, взял трехзубую, потемневшую, погнутую вилку, подцепил внушительный шматок сала, куснул и... без замаха, четко и точно воткнул трезубец в ладонь сержанта! Пробил насквозь, впечатав к столешнице, и прошипел сквозь разбитые губы:

— А ты знаешь, что такое Кандагар, чмо болотное? — Отмахнулся, уронив на пол дернувшегo было второго камуфляжника, и, продолжая глядеть в упор на пришипленного, словно бабочка, сержанта, спросил: — А ты сам-то знаешь, что такое ДШБ?

Тоненькая, матово-блестящая струйка крови подтекла из-под прибитой ладони, обогнула щербатую тарелку с развалившимся свиным холццом, всосалась в горбуху черного хлеба, проторила тропиночку далее и закапала с края на пол...

Ночь закончилась спокойно.

Сержанту перевязали, предварительно продезинфицировав рану самогоном, ладонь, а рядовому вправили вывихнутую при падении со стула руку. Еще раз и еще раз дружно выпили, в том числе за молодых дембелей, и, увидев, что в маленьких оконцах уже рассеивается ночная темень, стали прощаться: пора было возвращаться к бабушкиному дому и уезжать в город.

Пасха закончилась.

Нетвердой поступью, придерживая друг дружку за плечи, они вытолкнулись на невысокое крыльцо, оставив позади вонь самопального спиртного, кислой закуски, угар чувств и эмоций и жалкие восхваления и призывы к суровой мужской дружбе побитых и униженных новодельных вояк.

В саду парило. Было прохладно и тихо.

Они долго стояли на крылечке, не решаясь нарушить природный и человеческий покой, трезвея и восстанавливая способность к разумным поступкам.

Загудел — как заревел слон — клаксон импортного внедорожника, ломая вдребезги тишину, и они, вняв призыву, сшагнули вниз.



Ольга АНИКИНА

ДО ЧЕБУРЕЧНОЙ

Карачинская

Провинция. Окраины пусты.
Из крана запах плесени и хлорки.
Чтоб вечером купить себе воды,
ты выйдешь из гостиничной каморки.
Почудится: луна глядит в глазок
и желтый взгляд болит в твоём затылке.
Открутишь крышку и хлебнешь разок
из пластиковой маленькой бутылки.

И на соседнем перекрестке сна
раскинется район, где жил когда-то,
и выплывет из черного пятна
коробка телефона-автомата,
куда ты бегал ночью позвонить.
Темнел напротив дом пятиэтажный.
Крутился диск. И так хотелось пить,
и ты дурел от немоты и жажды.

И выл гудок, некормленный шакал,
и ты из будки рвался на свободу,
и на пути ночной ларек вставал —
там раньше продавали эту воду.
И память закольцует навсегда,
и выстрелит однажды зло и метко:
пятиэтажки, гаражи, вода.
Два лебедя на синей этикетке.

Сквозь подворотен тьму и синеву
больными одинокими ночами
два лебедя по городу плывут,
изогнутыми шеями качают,
плывут и возникают посреди
прокуренной гостиничной хибары.
И человек, растерянный и старый,
от них не может взгляда отвести.

Ласка

Ласка — всегда торжество
настоящей власти,
орудие превосходства,
разыгрывающее покорность.

Хитрая ласка
бежала
лесом твоих волос,
горами твоих коленей.

Огненный зверь
прячется нынче между моих
сжатых ладоней.
Я его крепко держу.

Иди же сюда,
не бойся,
никто тебя здесь
не тронет.

* * *

Пережидали дождь в чужом дворе
вдвоем в автомобильной конуре.
Среди воды, мятущейся и страшной,
летающей из Ноаховых времен.
И на ветру ковчег малолитражный
качался, обездвижен, ослеплен.

В плену у жестяного коробка
 два человека или два жука
 внимали гулу, шуму, плеску, стуку.
 Глухой мотор, холодная ладонь.
 И будем мы прикованы друг к другу,
 пока весь мир не сгинет под водой.

Панельный типовой микрорайон
 тонул в окне — у каждого в своем.
 Минуты плыли — корабли, ладьи ли.
 Прощанье длила черная вода.

...а раньше — так спокойно уходили,
 к поребрику причалив без труда.

Скворечники

На площадке детского сада
 раздается команда:
 «Строимся парами,
 кому я сказала!
 Мы пойдем смотреть скворечник.
 Парами, я сказала».

Я до сих пор не знаю,
 как устроены скворечники.
 А что касается пар —
 даже ботинки
 у меня валяются кучей
 или поодиночке.

Я ни разу не видела
 скворцов,
 живущих в этих высоких домиках.
 Я ни разу не видела
 счастливых детей,
 которые ходят парами.

* * *

Вновь непостижимо и незримо
для гиперборейских злых царей
теплое дыхание Гольфстрима
на листах моих календарей

мне явилось призраком апреля,
мимолетным, как прощальный взмах.
И дрожат тугие параллели,
словно рамы осенью в домах,

и, теплом стыдливо обозначась,
в небе поднимаются со дна
и предзимья тихая прозрачность,
и промытых стекол глубина.

Верлибр

Он очень хрупкий,
но режет стекло
и в древесном огне не горит.

Как ни верти его,
ни перекладывай из ладони в ладонь —
у него всегда отыщутся грани,
пусть даже асимметричные.

И неважно, как он получился:
кимберлитовый это верлибр,
свободно рожденный в земле,
или высеченный ударом
в столкновении небесных тел.

Но даже необработанный,
настоящий —
бывает, что
содержит он рифму и ритм.

В настоящих верлибрах
всегда есть
небольшие изъяны.

23 мая

А. К. Антонову

Давай дойдем до чебуречной,
пока старушка не мертва,
до нашей станции конечной,
где есть «дешевая жратва»,

селедка с луковой короной
и слезы белые в стекле,
чтобы потом стоять на Бронной,
как стопки на пустом столе.

Где сквозь закрытые ворота
скамейки видно и кусты,
но сквозь решетку даже шпрота
не проплывет, не то что ты,

рванина, так что двигай мимо —
какого «сердца и вина»?
У бывшего гардемарина
похмелья нету с бодуна.

...будили криками округу,
не разбирая в этот час,
что крепко-накрепко друг к другу
смерть приколачивает нас.



Всеволод КАЧЕМАСОВ

ЧЕРНУХА

Киноповесть

1.

Июль 1991 года. Последний год СССР, о чем еще никто не знает. И для нашего сюжета это не будет иметь никакого значения. Как всегда, люди в первую очередь озабочены своими собственными проблемами. Вот только способы их решения становятся все более разнообразными.

Например, Тимофей Ревунов верит, что к сорока годам крепко поймал за хвост птицу удачи. В новой всесоюзной газете он ведет рубрику о подростковой проституции. Когда исповедей заблудших овечек в редакционной почте не хватает, он может и сам сочинить леденящее душу письмо. Интерес к жареной теме не иссякает, тиражи растут.

Однако бумажная реальность входит в конфликт с настоящей жизнью, которая является к Тимофею в облике известного режиссера Петросова. Он снимает мрачную драму о все той же подростковой проституции. (А куда же без нее на пятом году перестройки?)

Впрочем, обо всем по порядку.

2.

Тимофей сидит в небольшом кабинете. Это редакция газеты, в которой он зарабатывает себе на хлеб с маслом. От ударной скорописи его отрывают появляющиеся на пороге Петросов и Смыков.

— Разрешите?

— Да ради бога. Только вам, вероятно, нужен Арцимович, а он с сегодняшнего дня в отпуске.

— Нет, нам нужен Ревунов, — говорит Смыков.

— Я Ревунов.

— Эдуард Смыков, киносценарист. А это — Георгий Грантович Петросов, режиссер.

— Очень приятно. Как это я сразу не узнал кумира моей молодости? — спохватывается Тимофей, сообразивший, что разговор должен быть приятным.

— И мы рады познакомиться... Видите ли, Тимофей Харитонович, Георгий Грантович снимает сейчас фильм по моему сценарию. Главная героиня — школьница, заплутавшая, так сказать, душа. Однако у нашей творческой группы есть серьезные опасения, что исполнительнице центральной роли не хватит знания жизни, знания этого типа современной молодежи. Она из весьма благополучной актерской семьи, изнанки действительности не видела... И мы к вам за помощью. Сведите нас с одной из ваших подопечных.

— Ну какие они подопечные?

— Но всё же вы с ними общаетесь, у вас есть письма, адреса. И потом, удалось же вам собрать четырех для коллективного интервью...

— Я не знаю. Это будет трудно. Согласятся ли они или хотя бы одна из них...

— Простите, Тимофей Харитонович, — вступает в разговор Петров. — Я режиссер и, следовательно, немного администратор. И вижу, что проблем здесь нет. Поэтому — сразу быка за рога, чтоб не случилось ненароком тяготящего интеллигентского торга. Девочке будет заплачено, ее покровителям или кому там — будет заплачено. Вам, естественно, тоже. Вы будете значиться как консультант, если угодно. Деньги есть. Времени нет. Тимофей, поработайте по своим каналам. Мы вас ждем завтра на студии. И послезавтра. Дольше уже не ждем. К нашему общему разочарованию. И знаете, более всего нам хотелось бы увидеть ту девочку, Сою из Балашихи, чье письмо вы комментировали в предпоследнем номере. Такая великолепная раскованность! Столь органическое бесстыдство!

Тимофей польщен, но еще более он растерян.

Смыков нажимает с другой стороны:

— Тимофей Харитонович, а, вообще-то, девочки эти в природе, так сказать, существуют? А то, когда мы заговорили на эту тему с главным редактором, он несколько нервически отослал нас к вам. Рубрику, сказал, ведет наш нештатный автор, к нему все письма стекаются — к нему, дескать, и все вопросы.

— Конечно, существуют, — заверяет Тимофей. — Но вы хотя бы немного представляете, что это за публика? Да ей с вами легче, извините, лечь, чем два слова связно произнести.

— А на бумаге они у вас здорово так изъясняются, бойко...

— Я же съемки почти остановил, Тимофей, — перебивает Смыкова режиссер. — Буксуем и буксуем. Никак искру правды высечь не можем. Вы уж постарайтесь, а?

3.

— Ева, это ты? — спрашивает Елена Егоровна, услышав какие-то звуки в коридоре.

— Нет, это не я.

Ева проходит на кухню, где мать стоит возле плиты. Та задает свой обычный вопрос:

— Ну как дела?

— Слушай, какие у меня дела? Я же не дилер, не маклер и не брокер. И даже не докер. Все по-старому. Тянем кота за хвост.

Она роется в сумке и достает из нее конфеты, бутылку вина и красочную открытку: Петросов в позе мыслителя рядом с выключенным юпитером. Рубрика: «Мастера советского кино».

— Евочка, а это по какому случаю?

— Как, а ты не помнишь? Сегодня вторая годовщина моего непоступления во ВГИК.

— Доченька, и сколько же лет ты собираешься предаваться этим воспоминаниям? Душу себе растравлять? Да слава богу, что не поступила! Что сейчас в кино делается — страшно подумать! Стала бы актрисой — в таких бы снималась, прости господи... позах.

— Вот и я говорю: слава богу. Не видишь, что ли, праздновать собираюсь, слова благодарности растроганно произносить. Твоему любимчику. Вот тебе он — на память.

— О, Петросов! Боже, как постарел! А в свою актерскую молодость он был просто неотразим.

— Ну и повесь его на божничку! Будем вместе воздавать хвалы твоему неотразимчику за то, что провалил меня на творческом конкурсе.

— «Провалил»... Там ведь была целая компетентная комиссия.

— При чем здесь комиссия? Все решает руководитель. Эх, правильно девки говорили: надо было с ним тогда переспать.

— Ева, что ты болтаешь? Ну как тебе не совестно?

— А что? Все мое, кому хочу — тому отдам. Надо только с пользой...

— Перестань. Если тебя саму не оскорбляет это... циничное предположение, так не наговаривай хоть на человека. По-моему, на такое он не способен.

— Мама, ты права. Он уже не способен, я об этом просто не подумала. — Ева берет со стола фотографию и водит по ней ногтем. — Морщина на морщине. Поистаскался мужик... по приемным-то комиссиям. Так что я свой шанс два года назад упустила уже окончательно.

— Вот что, Евгения Николаевна, ты совсем, я смотрю, от рук отбилась без отца-то. Я этого фермера новоявленного скоро домой вызову, пусть снова воспитанием займется. Откуда что взялось? Или лучше тебя к нему отправлю, будешь хоть готовить там ему...

— Свежий воздух! Стога! Сеновалы! Как в старых добрых лентах Рижской киностудии!

— И я думаю, что осенью тебе надо будет получать настоящую специальность. А то этот детский драмкружок...

— Драматическая студия при дворце...

— Вот-вот, там ты только играешь в актрису...

— Не в актрису, а в педагога, мэтра актерско-режиссерского мастерства. В Петросова, одним словом.

— Не перебивай, а? Эта работа ничего тебе не дает по-настоящему. Но благодаря ей ты чувствуешь себя этакой развинченной представительницей богемы. Будто уже прошла огонь, воду и постели режиссеров. Зачем тебе это?

— О, моя мамочка решила произнести при дочери слово «постель»! Значит, дело серьезное. Не беспокойся, мама. Как раз эта работа способна лишь убить все профессиональные задатки актрисы. К чему я и стремлюсь. Как убью окончательно — так пойду на службу бумажки перебирать. И за другое можешь не беспокоиться: в спектаклях рядом со своими детками я играю исключительно положительных девиц — Машу-растеряшу, Снегурочку, пионервожатую Клаву. Впрочем, насчет последней у меня сомнения. Судя по тому, как значительно она произносит фразу: «Я пережила это не как простой формальный акт, а как миг взросления!» Это она о том моменте, когда старший товарищ протянул к ее девичьей груди руки... с комсомольским, черт побери, значком!

— Господи, Евочка, что за муру вы там ставите?

— Да эту умопомрачительную пьесу какого-то Смыкова вытащила из пылищи — репертуарного сборника за семьдесят третий, что ли, год — наша директриса. Говорит, пусть немного наивно, зато с идеалами. Этого сегодняшним школьникам как раз не хватает.

— Чушь, бред! Бросай ты эту работу.

— Нет, ну это же жутко интересно. Погоди, я тебе еще процитирую. Клава отчитывает нерадивую девочку: «И чтобы я больше не слышала ни разу, что ты отказываешься! Все делают это и не жалуется — и мама твоя, и все старшие девочки, и даже многие младше тебя! Сними, если хочешь, свою красивую блузку, подоткни юбочку, сдвинь кровати, тут дела-то — на десять минут». Речь о мытье полов в корпусе. Половое воспитание.

Елена Егоровна молча стекает по стенке.

— По-моему, автор, — говорит Ева, — сочиняя, вспоминал, чем они в действительности в пионерлагере занимались. И чисто по Фрейду все это у него отразилось.

4.

Ева в пионерской форме (пилотка, красный галстук, вид лет на пятнадцать) на сцене в обществе пятиклассников. Идет генеральная репетиция «лагерной» постановки.

— Ваня, а ведь постель — это зеркало пионера, — произносит Ева, указывая на незастланную (в ряду образцовых) кровать.

В зале сидит фундаментальная директриса, а в самом его конце, у второго входа, стоят Елена Егоровна и Тимофей.

— Тима, — говорит Елена Егоровна негромко, — это ненадолго, сейчас уже закончится. Успеешь ты, куда тебе торопиться? А девчонка на вокзал может опоздать. А то сам с ней поезжай. Николай только рад будет.

- Елена Егоровна, работы по горло.
- Так ты же теперь лицо свободной профессии.
- Ну да, только это означает, что крутиться приходится в три раза больше и в три раза быстрее. Для чего, вы думаете, я эту колымагу взяла? Чтоб более-менее успевать на все встречи.
- Ну, Тима, я тебя прошу, ты ее дождись все же, а? А я побежала.
- Ладно, Елена Егоровна, все будет о'кей!

5.

В старом «москвиче» едут Тимофей и Ева.

- Отец, говорят, там уже по полной программе ферму отгрохал?
- Не знаю, не была. Первый раз еду.
- Отдых на природе! Что может быть лучше! Ты в отпуске?
- Что-то вроде. Дети постепенно все разъезжаются, заниматься не с кем.
- А кем ты у них там? Примадонной?
- Приходится и режиссером, и педагогом, и все роли исполнять, что старше четырнадцати лет.

Мотор «москвича» внезапно глохнет. Тимофей поворачивается к Еве и смотрит на нее растерянно-застывшим взглядом.

— Слушай, — говорит он медленно, — у меня к тебе предложение...

В это время задние машины начинают сигналить. В небольшие промежутки слышны голоса Евы и Тимофея: «Зачем мне это надо?» — «Пойми, все может раскрыться, Смыков уже намекал». — «Смыков? Эдуард?» — «Деньги ведь тебе не лишние?» Тимофей пытается нашарить ключ зажигания, но вслепую, так как развернут к Еве, говорит горячо и убедительно. Наконец мотор заводится, машина трогается, гудки смолкают.

- ...а режиссер — Петросов.
- Петросов? — сверхвыразительно переспрашивает Ева. — А кто у них исполняет роль главной героини?
- Не знаю.
- Я знаю. Бездарь какая-нибудь. Ну, я ее научу.

6.

На съемочной площадке перерыв, объявленный, по-видимому, из-за того, что Анастасия Кислицина — стандартно-симпатичная молодая актриса — опять готова расплакаться. Она борется с собой в дальнем углу павильона.

— Вероятно, я не знаю, как путаны раздеваются, — говорит неизвестно кому раздраженный Петросов. — В моем жизненном опыте немалые пробелы. Но я же понимаю, что это не Наташа Ростова, а Юлька-малопулька! И позади нее не альков под балдахином, а сиденье от КамАЗа. Спасибо Асе Мансуровне, на какой свалке она его достала?..

Асия Мансуровна, из этого вашего приобретения в самый ответственный момент не выскочит вдруг пружина?

Петросов поворачивается на своем круглом стульчике к Асе, сидящей чуть поодаль в готовности номер один. Рядом с ней на узком диванчике расположился Адамишин, который читает газету и при этом все слышит.

Как бы для себя он задумчиво говорит:

— Всё же они воспитывались на наших фильмах. И привыкли, что если героиня раздевается, то идет крупный план: лицо и верхние две пуговички. И следовательно, надо гримасничать и изображать нечто «психологическое».

— А вы, батенька, философ. Где, кстати, ваш шеф? Руслан! Ты на кого электричество кинул?

— Иду я, иду. А что — там все нормально. Алексей же на месте.

— Он мыслитель, а не осветитель. Всё, перерыв окончен, работаем!

В это время в павильоне появляются Ева и Тимофей. Они немного теряются в студийном круговороте. Стараясь никому не помешать, занимают позицию, с которой мало что видно. Зато им слышна команда «Мотор!», шелканье хлопушки и реплика, произнесенная грубым мужским голосом:

— Ну, давай, давай, не буду же я за свои деньги сам тебя раздевать!

Спустя некоторое время прямо на них из-за чьих-то спин вылетает Петросов. Он совершенно разъярен.

— Всё! Всё! Большой перерыв! Обеденный!

— Георгий Грантович! — обращается к нему Ревунов.

— Ба! Тимофей Харитонович! Неужто?

— Да. Знакомьтесь: Соня из Балашихи.

— А я Жора, — весело представляется девушке режиссер.

Ева хмыкает:

— В таком случае я Софья Павловна. Кто тут у вас шеф?

— Да вроде как я. Эврика! Соня! Соня, вы нам — собственно, Насте, всех прочих попросим удалиться — продемонстрируете, как это в жизни происходит.

— Что — «это»?

— Раздевание перед клиентом.

— Фиги-фиги, барсучок, — находится Ева и для убедительности еще и шелкает языком.

После чего показывает пальцами «мани-мани».

— А, черт! Все в буфет, все в буфет! В буфет, покурить, на производственную гимнастику! Кроме Кислициной.

Говоря это, Петросов шарит по карманам, достает смятые купюры. Обращается к Тимофею:

— Сколько?

Тот разводит руками.

— Ч-черт, не знаешь, а пишешь... Ну вот столько тебя устроит?

Ева пересчитывает деньги в руках Петросова, небрежно раздвигая купюры мизинцем.

— Ну, на столько, боюсь, ты сам не потянешь, Жё-ора. Но много — не мало. Идет, — говорит она и забирает деньги. — Куда идем? У тебя здесь хаза?

— Да нет, при чем здесь это? Ты только разденься. Вон там, у сиденья. Представь, что... Ну разденься, одним словом, как перед... работой будто бы.

— Может, мне еще в витрине голой встать? И что-нибудь представить? Я, слава богу, не артистка какая-нибудь! Вы уж групповушки тут своими силами устраивайте! Тимчик не затем меня сюда звал. А, Тимчик?

— Да, собственно...

— Ты же сказал: научить артистку делу, рассказать ей про себя. С артистами познакомить обещал. А я никого из них в кино не видела.

— Уж ты скажешь! Вон Георгий Грантович в свое время... Чацкого играл.

— Что, монолог весь выучил? Да-а... Я черно-белое не смотрю: глаза устают и мозги слипаются. Ну, мы будем снимать кино или мы не будем снимать кино?

— Послушай, Соня. Раз ты такая принципиальная...

— Вон и Тимчик про меня написал: по-своему честная.

— Понятно. Раз...

— Возьми деньги.

— Хорошо, хорошо. Пойдем тогда в мой кабинет...

— Тогда бабки назад!

— Ладно, бабки назад. Мы...

— Причем вперед, такое правило у нас. Бабки — вперед.

— Я понимаю, специфика профессии. Мы, то есть ты, я, Настя, актриса наша, ее Настей зовут, Тимофей...

— Групповушка все-таки?

— О господи! Вот что: пойдем пока присядем и спокойно все обсудим. Тимофей?

— Мне бежать надо.

— Ладно, тогда завтра позвоните мне. Обо всем договоримся. Настенька, пойдем, детка.

— Нет уж, я как-нибудь отдельно... от сестрички, — отвечает Кислицина.

Петросов с Евой и Тимофей уходят. Настя садится в уголок и там тихо плачет. В павильон вбегает Адамишин.

— Черт, опять переключить забыл... Что с вами?

— Ну как он не понимает?.. Режиссер называется. Кино — это совсем другое... Нельзя же копировать... А он хочет сравнить меня с этой девкой, с этой тварью. Я должна буду с ней общаться, слушать про ее похождения. Малявке пятнадцать лет, мозги как у курицы...

— А вы, Настасья... как по отчеству?

— Сергеевна.

— Настасья Сергеевна, вы представьте себе, что вы журналист. Или врач. Или следователь. И так ее порасспрашивайте — отстраненно, как

для протокола. Не нужно вовсе ее копировать, а вот понять стоило бы. Любопытная во многих отношениях... школьница. Вот вы представьте: она ведь в школу ходит, ей там про Онегина-Печорина, пестики-тычинки, жи-ши — что пиши. А она корябает записку подруге и размышляет при этом: «презерватив» или «призерватив»?.. Что вы улыбаетесь?

Появляется Петросов.

— Асенька! Готовьте сцену пьянки руководителей. Минут сорок вам даю. Анастасия! Иди сюда.

Петросов отводит Еву в какой-то закуток, Кислицина нехотя идет за ними.

— Соня, Анастасия Сергеевна, поговорите о чем-нибудь. Пораспрашивайте друг друга. Вот ты, Сонечка, помнишь, как у тебя было в первый раз?

— А ты теорему Пифагора помнишь?

— Нет, конечно, я ж гуманитарий. Зачем мне она?

— А мне на кой? И я не помню. Давно изучали. Вот тогда-то и трахнулась в первый раз и тоже уже ничего не помню. Помню вроде только: Леха был косо́й-косо́й. Косинус, одним словом.

— Какой еще косинус, бог мой? — недоумевает Петросов.

— Видишь, я лучше тебя помню. Еще что-то держится. Косинус — это черта такая косая в теореме: за нее, как за косяк, другие линии хватаются.

— Так, хорошо, Леха был косо́й — и что?

— Ой, ну не помню я... Да и Леха ли в тот раз был? Ну совершенно все поотшибало. Давай лучше про последнего расскажу.

— Это идея.

— Ой, а про последнего мне Тимчик запретил. Это, говорит, бомба, только в газету, больше никому ни слова, а то конкуренты используют. Не, давай лучше про другое что поговорим. И вообще, мы лучше вдвоем.

Кислицина кривится. Петросов ободряюще хлопает ее по руке и говорит Еве:

— Ну хорошо, я тихо сяду в уголок.

Ева спрашивает:

— Настёнка, а много артистки зарабатывают? Они на ставке или как?

— Шестьдесят восемь рублей за съёмочный день.

— А у меня сотняк за ночь. В общем, хрен на хрен получается. Это у вас тут каждый день съёмочный, а у нас сегодня снимут, а завтра не снимут, глядишь, одна шантрапа вертится, никого солидного, с бабками. По неделям бывает простой — потом вдруг как набегут! Последнее время даже иностранцы.

— Прямо как у нас в кино, — подает голос Петросов.

Но его эта аналогия веселит, а Кислицину почему-то нет.

— Ну ничего, — продолжает Ева, — уже с полгода Валерик клиентов подкидывает, правда, и обдирает сильно. Слушай, — Ева наклоняется ближе к Анастасии, — а у вас тут как? Вот если он тебе говорит вот

с этим, к примеру, ложиться, а тот тебе ну совсем... прямо совсем, — она изображает крайнее отвращение, — не нравится. Тогда ты можешь отказаться? Или нет?

— Господи, несчастное создание! — отвечает Кислицина. — Ты думаешь, тут по-настоящему трахаются? Перед камерами? Да по десять дублей?

— А что — дурите народ?! Вот парням рассказать — они обозлятся. Так чего уж там — нагишом друг на друге бултыхаетесь, а считается вроде и ничего?

Последнюю фразу от нехватки слов она сопровождает жестами. Кислицина закатывает глаза:

— Георгий Грантович, долго еще будет продолжаться этот... сеанс?

— Настя, ты сама смотри, тебе характер уяснить надо.

— Да ясно мне все давно, к чему эти хождения в народ?

— Ты давай хотя бы чисто технические детали выясни. Все эти...

— Слушай, — доверительно говорит ему Ева, — отойди, а? Ну как человеку говорить, когда начальство рядом?

Петросов, усмехаясь, отходит.

— Настя, а он сам-то, Жора, тебя бесплатно трахает?

— Ты совсем дура? Режиссер здесь при чем?

— Так, значит, тебя тот пузатый трет? Вот уж мешок с дерьмом!

«Пузатый» — это Смыков. Он только что появился на съемочной площадке, приветствует всех и ведет себя будто большой начальник. Анастасии он подмигивает и направляется к Асе, которая в центре павильона застилает огромную постель.

— Что может быть поэтичнее и трогательнее картины: женщина, застилающая ложе! — декламирует Смыков. — Это эрос в чистом виде! Нет, это икона эроса!

— Ну, оседлал любимого конька! — говорит Петросов.

Ася, им обоим:

— Вашего конька скоро нечем будет запрягать! Это ж надо, сейчас самый дефицитный предмет в реквизите — большая кровать! Их все, говорят, другие съемочные группы поразобрали. Зато в неограниченном количестве пылятся комбинезоны и верхонки, вагончики строительные и прочий ударный хлам. А также лежат невостребованные рюкзаки, штормовки, вооружение и обмундирование на две дивизии, громадный стол заседаний под зеленым сукном...

— А вот его и надо было приспособить вместо этой... реликвии. Оригинально и ново и поворот в сюжете, — вставляет Смыков.

— ...прядельные станки. Целая линия, — продолжает Ася, передвигаясь вдоль кровати.

— А их ты как приспособишь? — спрашивает Петросов.

— Новаторски, а как же еще?

Стараясь быть незаметной, к Смыкову приближается Кислицина. Тянет его за рукав, отводя в сторону.

— Эдуард, избавь меня от этого чудовища, избавь, прошу.

— От какого? Он же импотент!

— Я не о Борисе, я об этой девке, которую вы откопали на помойке! Поговори с Петросовым, пусть уйдет ее, не надо мне этой школы передового опыта! Я половины слов, что она произносит, и выговорить не могу. Эдуард, я редко тебя прошу...

— Редко, да метко! То роль, то девчонку вот эту убери. А ты знаешь, как Жорж с ней носится? Придется немного потерпеть... Впрочем, я поговорю, может, он уже охладел.

Смыков подходит к Петросову. Тот молча и втайне от всех наблюдает за Евой, сидящей у стены павильона, рядом с Адамишиным. Ева вольно разложила руки и ноги, курит. Адамишин читает газету.

— Эдуард, смотрю на нее и не могу отделаться от мысли, что я ее где-то видел.

— Ты что, малолетками интересовался?

— Да нет, что ты! Но вроде пару лет назад...

— Пару лет назад она еще не знала, что у нее и зачем.

— Господи, Эдуард, ты все об одном... Где Руслан, где свет?

Он уходит, Адамишин, услышав про свет, тоже вскакивает. Смыков подходит к Еве. Садится рядом.

— Меня Эдуардом Кузьмичом зовут. А ты — Соня? А ведь это я был инициатором твоего приглашения сюда.

— Чево?

— Ну, я придумал тебя пригласить. Тебе здесь нравится? Сможешь постоянно здесь бывать. Что скучаешь-то? На-ка, почитай.

Он протягивает ей записную книжку, в которую вложены деньги.

— Соображаешь? Быстренько. Как освободишься. Туда-обратно — на моторе.

— Отвали.

— А, ты такие книжки не читаешь. Тебе толстые подавай. Все сейчас грамотные.

Смыков забирает книжку и делает в ней «дополнения».

— На-ка. А теперь?

— Отвали, сказала.

— Что-то здорово ты ломишь. Смотри, как бы чего не вышло. Зачем тебе со мной ссориться? Подрастешь — в кино будешь сниматься... если со мной будешь дружить.

Петросов все с того же удобного места наблюдает за ними. Затем ныряет под какие-то провода и «огородами» начинает приближаться к беседующим. Наконец слышит их голоса:

— Да ни за какие деньги, успокойся.

— Но почему? Не каждый же день тебе столько предлагают?

— Отвали. Ты озабоченный.

— Как?

— Озабоченный. А с озабоченным, чтоб ты знал, ни одна порядочная путанка не пойдет. Себе дороже.

Ева встает и не торопясь уходит. Тут же на ее место откуда-то сбоку рушится возбужденный Петросов.

— Ты видел? Ты видел, как она тебя отшила? А ведь ты разыграл перед ней эпизод из сценария — с книжкой, я засек этот момент. Так?

— Так. Ну и что?

— А то, Эдуард, что жизнь тебя поправляет. Я тебе еще раньше говорил: местами сценарий неубедителен. Ну что твоя Юлька-малопулька на каждом углу с каждым встречным? Ведь проститутки тоже люди, а не автоматы. У них бывают поступки странные, необъяснимые.

— Нет, ты скажи: что мы снимаем — достоевщину или коммерческое кино?

— Второе. Но я никогда бы не взялся за твой сценарий, если б не нашел в нем добротную литературную основу. Кстати, ты ведь потом налепил все эти... потные сцены. Первый вариант был глубже.

— А что, был и первый вариант? — спрашивает поднявший глаза от газеты Адамишин.

Петросов едва не подпрыгивает:

— Что за черт! Из коробочки. Слушайте, э-э-э... как бишь вас, Алексей, в вас ведь метр девяносто, почему вы столь незаметны? Идите покурите или свет проверьте, что ли. Нельзя же вмешиваться в разговор. О чем я говорил? Да, непредсказуемости героине не хватает. А тут еще твоя Настя играет вяло. Кстати, это же поворот, поворот, его надо затвердить. Асия Мансуровна! Позовите Кислицину сюда.

Петросов начинает быстро-быстро записывать что-то на клочке бумаги.

— Что ты пишешь? — спрашивает Смыков.

— Сцену. Записываю сцену, которую только что нам подарила жизнь.

— А, пустая затея.

— Нет уж. Я... Вот и Анастасия Сергеевна. Проходим эпизод с маклером. Его роль исполнит Эдуард Кузьмич. Но после второго возвращения книжки идет мой текст, вот этот. Эдуард, ты помнишь свои слова?

— Да нет, конечно. Забыл давно. Плюнуть и растереть.

— Тогда подглядывай в шпаргалку.

— Брось, не буду я.

— Эдик, ты меня, зануду, знаешь.

— Ну давай. Скоренько.

Смыков и Кислицина разыгрывают сцену, поначалу немую. При чем сценарист все делает в высшей степени небрежно и «отфонарно», чем только усиливает эффект. Кислицина же, напротив, переигрывает, для чего-то морщит лоб, видя в книжке очередную сумму, и вообще излишне стремится загрузить свое подвижное лицо.

— Да ни за какие деньги, отвянь.

— Но почему?

— Отвянь, я сказала. Ты озабоченный.

Тут Анастасия хихикает и в дальнейшем уже не может сдерживать смех.

— Как так?

— А с озабоченным, чтоб ты знал, путане идти — себя не уважать. Хи-хи.

— Что, — спрашивает смеющийся Петросов, — неужели в точку?

— Да нет, что вы, конечно нет! Просто Эдуард удачно играет.

— Ну, дальше. Встала, пошла.

Кислицина исполняет, Петросов расстраивается.

— Настя! Что ты нам своим задиком очаровательным семафоришь-то? К чему эти сигналы? Ты бы видела, как Сонька встала и пошла — как от пустого места!

— Вот и снимайте вашу шляху!

Анастасия убегает.

— Нет, с твоей протеже надо что-то делать, — говорит Петросов Смыкову. — Кислицина эту роль не сыграет.

— Да, пожалуй, — оживляется Смыков. — Мне она тоже в последнее время... То у нее голова болит, то не в настроении, то просто неохота...

Петросов в этот момент задумывается и говорит как бы про себя:

— Некого, ну некого!

— Слушай, есть одно интересное предложение. Девочка из культпросветучилища. По виду не актриса, но какие глубинные достоинства! Редкое обаяние, редкий голос...

— Редкие волосы, — вставляет Адамишин.

Он опять рядом, расплетая — для виду или по необходимости — перепутавшиеся кабели.

— Да, пепельные, изумительные, — продолжает увлекшийся Смыков.

— Редкие зубы, — дополняет Адамишин.

— Да оставишь ты нас в покое или нет? — взрывается Смыков.

— Что за манера, э-э... Алексей, застывать где-то в охотничьей позе богомола, а потом — хватать по башке! Поменяйте лучше дальний юпитер.

Адамишин уходит. Смыков возмущен.

— Гони ты его в шею! Наглец!

— Послушай, мой старый товарищ за него просил. Не обращай внимания, он странноватый парень. Так о чем ты?

— Я и говорю: кадр что надо. Полное впечатление, что ее из толпы наших серых людей вытянули. Но при этом — талант, талантище. Эффект будет сильнейший, как в документальном кино. Вот только боюсь, уломать ее будет трудно.

— Студентку культпросвета трудно уговорить сняться в кино? Или ты о чем опять? Послушай, Эдуард, нельзя же так. Судьба фильма на волоске, а ты опять собираешься с его помощью обдeldывать свои амурные дела?

— Что ж поделаешь, Гоша, это ты, режиссер, как султан по гарему ходишь, тебе стоит только мигнуть... А я затворник, одинокий труженик. Должен я использовать редкую для меня возможность или нет? По одежке протягиваю ножки. Это же принцип социализма. От каждого по способностям, каждому по труду.

— А кто особо умный — тому, соответственно, по мозгам, — про-
износит невидимый Адамишин.

— Да почему вы снова здесь? — отчасти даже восхищается Петро-
сов.

— А я, пан режиссер, у рубильника. Сами же сказали юпитер сме-
нить, — отвечает Адамишин из-за какой-то перегородки.

— Это ты, что ли, особо умный? — грубо, стремясь обидеть, спра-
шивает Смыков.

— По крайней мере, по мозгам мне доставалось. Я уйду, вы про-
должайте.

— Я вот размышляю, — говорит Петросов задумчиво, — а не по-
пробовать ли нам снимать эту Соню? Такая непосредственность, опре-
деленно актерское дарование. Все это брошено, конечно, в кучу мусо-
ра...

— Отчего бы не попробовать — попробуй. В качестве дублерши
в постельных сценах.

— Э, нет, как раз на постель дублершей можно Кислицину. Все-таки
есть что обнажить. А эта Сонина подростковая худоба никакой эротики
в себе не заключает.

— Не скажи... — неожиданно серьезно тянет Смыков.

Для него это не праздный вопрос.

— Да, я что-то замечтался. Надо готовить завтрашний день. Сни-
маем на прудах. Сегодня ничего, считай, не сделали. Ты зачем, собствен-
но, завернул на студию?

— У меня тут встреча. В вашем подвале открыли кафе «Шампур».

— Нашел где встречу назначить! Там такая публика...

— С ней и встреча. За подлинной жизнью охочусь, как ты и учишь.
Ну, пока.

7.

Снова в кабинете Арцимовича Тимофей сидит за столом и что-то
пишет. Входит Люся — журналистка примерно одних с Ревуновым лет.

— О, ты совсем у нас уже прижился.

— Пока Марк в отпуске. А потом опять негде будет приткнуться.

— Вот это письмо отдали мне, поскольку про кино, но на самом
деле это по твоей части. «А еще ответьте: правда ли, что маленькая Вера
на съемках забеременела и аборт ей делали за счет государства в Вен-
грии?» Недурно?

— Ответь, что всю сумму удержали с ее партнера за непрофессиона-
лизм и потерю бдительности.

— Слушай, а не надоели тебе все эти «трах-трах-трах», «я не де-
вочка с тринадцати лет» и прочее? Взрослому мужику заниматься такой
ерундой.

— Да, конечно, мне уже сороковник ломится, — отвечает Тимофей
раздраженно. — А с другой стороны, я все еще в мальчиках. Вот крепко

в штат заделаюсь, войду в когорту отцов издания — тогда брошу к черту эту конъюнктурную тему.

— Женишься?

— Может, и женюсь.

— Тогда меня имей в виду, хорошо? На молоденьких у тебя все равно, наверное, аллергия?

В кабинет входит Адамишин. Они с Люсей узнают друг друга.

— О, как говорится, сколько лет, сколько зим! Ты откуда такой хороший?

— С киностудии. Я там в осветителях подвигаюсь. Младшим помощником седьмого ассистента из четвертого состава. Здравствуйте, Тимофей.

Тимофей здоровается и, воспользовавшись тем, что Люсю отвлек Адамишин, снова берется за работу. Люся иронизирует:

— А что так — осветителем? Интеллектуалы обычно в дворники подаются.

— Так то интеллектуалы. А мы люмпена. Есть классы такие: белые воротнички, синие воротнички. Так вот мы не белые и не синие, мы — грязные воротнички. Прослойка социальная. Ассенизаторы, осветители, водопроводчики... Тимофей, бойтесь эту даму. Окрутит в два счета.

— Ну, ты не знаешь неприступного Тимофея. Свернулся клубком, как ежик. Его голыми руками не возьмешь.

— Тогда и голыми ногами не возьмешь. Одерни юбку-то.

— А ты все такой же — блюститель. Эта юбка, к твоему сведению, не одергивается, она просто короткая. Мода сейчас такая.

— Сомневаюсь. Вон Тимофей к нам приводил уж на что передовую представительницу современной молодежи, путану патентованную, а юбка у нее была вполне пионерской длины.

— Как, он уже и в личный контакт с ними вступил?

— А что такое? — отрываясь от писанины, говорит Тимофей. — Я ведь делал с ними круглый стол.

— А квадратную постель ты с ними не сооружал? — Люся окончательно оставляет юмористический тон. — Я-то думаю, как это бедный мужик холостякует на старости лет, а оказывается — весьма сочно. С девочками!

— Ну-ну. Не сочиняй.

Адамишин спрашивает:

— Тимофей, вам долго еще писать?

— Да нет, две фразы. Все, закончил.

— Я, собственно, вот зачем. Петросов послал к вам.

— А сам-то он где?

— На режиссерском стульчике. Он просил вас снова эту девочку разыскать. А я бы ее отвез на пруды. Сегодня на пленэре снимаем.

— А что ее искать — она сама ко мне зайдет в двенадцать. О, уже первый час.

Люся встречает:

— А зачем она к тебе зайдет? Опять стол?

— Просто мы договорились, что зайдет и расскажет, как у нее на студии вчера прошло. Насчет денег опять же... — бормочет Тимофей, все еще не в силах расстаться со своим свежееиспеченным текстом.

— Денег?

Входит Ева. Недоуменно смотрит на Адамишина.

— Добрый день.

Она явно не Соня и пока не знает, продолжать ли прежнюю игру.

— Вот опять тебя на студию затребовали, — говорит Тимофей.

Адамишин поясняет:

— Петросов озадачил: езжай, говорит, найди Тимофея и чтоб он Соню из-под земли достал.

— А что там произошло? В чем дело-то? — спрашивает Тимофей.

Люся хочет сказать что-то ехидное, но не может выдумать.

— У меня такое подозрение, — говорит Адамишин, — что Петросов Соню в фильме занять хочет.

— Неужели? — удивляется Тимофей.

На лице Евы можно прочитать и горькую усмешку, и немного злорадства.

Люся вставляет:

— Вот что значит профессионал — везде ценен!

— Ну что — едем?

— Едем. Если закурить дашь.

Сделав ручкой, Ева уходит с Адамишиным.

— Отец родной! Ты девку в люди вывел! Вот что значит настоящий советский журналист, спаситель падших душ! — без паузы начинает ерничать Люся.

Тут дверь открывается и в кабинет вступают двое ребяток весьма уголовного вида. Блондин остается у двери, а брюнет чуть проходит вперед.

— Кто Ревунов? А, значит, к тебе. Это ты опубликовал про Соньку из Балашихи? Что ж ты, гад, имена не изменил? Думал меня ментам сдать? Есть, дескать, у нас в городе некий Сашка, который всех таких девчонок к рукам прибирает...

— Что вы, это чистое совпадение!

— Какое совпадение? Больше в нашем бизнесе Александров нету! Только у меня менты вот где, я их в строгости держу! Так что твоя телега мне побоку. Ну ладно, я добрый, живой останешься. Но если этой Соньки адрес дашь. Чтоб она у меня без лицензии делом занималась — не позволю.

— Ребята, так ведь нет у меня адреса.

— Найдешь.

— Я вам сейчас все объясню...

— Не надо нам объяснять. Адрес давай. Федор, закрой на швабру дверь.

— Парни, — начинает тараторить Люся, — да здесь она, вы ее быстро найдете. На прудах кино снимают. И она там. Вроде консультантки

у них, чтоб артистка на путану походила. Рядом со съемочной группой ее и найдете, она одна там малолетка.

— Да уж свою клиентуру мы насквозь видим. Наши телки деревенские тут, в городе, очень в глаза бросаются.

— Вот ее, кстати, тому хмырю и сплавим, — подсказывает блондин.

— Точно, — радуется брюнет, — и работенка ей сразу нашлась. Спасибо, бабка, выручила своего старичка. У-у! Так бы и врезал. Писарь хренов.

Парни уходят. Тимофей некоторое время утирает обильный пот. Потом вдруг вскакивает:

— Бежать надо. А то козлы эти долго чикаться не станут.

— Да что ты всполошился? Сиди. Ну чего еще нового ей можно бояться?

— Да ты не знаешь всего, — говорит Тимофей, мечась по кабинету в поисках ключей от автомобиля.

— Пожалуй, уже знаю. Ты что, всерьез этой шлюшкой увлекся? Может, ты ее к нормальной жизни вернуть попытаешься?

Тимофей находит ключи и выбегает из кабинета.

— Тима, ну и смешно же ты выглядишь! Взгляни на себя со стороны! — кричит ему вслед Люся.

8.

У берега пруда притормаживает «форд», откуда выходят балашихинские сутенеры. Оглядывают местность. Идет съемка, Ева сидит на надувном матрасе по-турецки и пьет из горлышка вино.

— Она? — спрашивает блондин.

— Не видишь — это артистка.

— Тогда вон та.

Поодаль, за оцеплением, в тени дерева сидит Кислицина в костюме и гриме Юльки-малопульки. Видно, что она только что плакала.

— Она, — соглашается брюнет. — Эх, мотря! Надо же так намазаться.

На съемочной площадке не сразу обращают внимание на происходящее рядом: двое парней тащат Кислицину в автомобиль.

— Вы что? Вы кто? — кричит растерянный Петросов.

— Эти... Из этой... — на ходу отвечает брюнет.

— Из ментовки детской, — басит блондин.

— К папе с мамой доставим, — произносит брюнет уже из-за руля.

Машина уезжает.

— Они ошиблись!

— Это Анастасия!

— Ну уж и Соню я им не отдам! — кипятится Петросов.

— Надо звонить. Из какого они отделения?

— Вы когда-нибудь видели милицию на «форде»? — спрашивает Адамишин. — Догонять надо.

Тем временем в машине Кислицина плачет в три ручья:

— Куда вы меня везете? Я артистка. Мне на съемку надо.

— Все вы артистки, — отвечает брюнет. — Будешь знать, как без лицензии работать. Цены на рынке сбивать.

— На первый раз тебя наказывать не станем... — говорит блондин.

— А оштрафуем, — подхватывает брюнет. — Вот деньги одного пузана — ты с ним сейчас познакомишься. По условию, половина твоя. Но! Я ее забираю, потому как ты налетела на штраф. А у нас тарифы строгие.

Брюнет снова прячет деньги в карман. Потом все-таки достает пятерку и говорит:

— На. Что сверх штрафа — мы себе не возьмем. Чтоб не думала, что тебя грабят. В бизнесе честность — первое дело. Того хмыря быстренько обслужишь — и снова к нам в машину. Мы тебя домой отвезем. Узнаем твой адресок. Так будет спокойнее. Тебе сколько лет-то?

— Двадцать два.

— Ух, сказала. Да в двадцать два вас впору уже на пенсию отправлять. Лет пятнадцать, а, Федор? Пощупай, много у нее тамросло?

Кислицина визжит и мечется по заднему сиденью. Федору лень ее улаживать, да еще перегнувшись через спинку кресла, и он говорит:

— Раз щекотки еще боится, значит, лет пятнадцать.

— Старовата, но в заказ укладывается. Приехали. Выходи.

— Не пойду, не пойду! Я ж не та девка, как вы не понимаете...

— Шума-то не поднимай, — советует блондин.

— Капризы были, когда одна работала, — четко объясняет брюнет. — А сейчас сказано — сделано.

— Не пойду.

— Ты, может быть, думаешь, я деньги клиенту верну? — говорит брюнет со всем возможным ехидством.

Внезапно взгляд Кислициной падает на знакомый подъезд.

— Шестьдесят пятая квартира?

Блондин сверяется с бумажкой:

— Да.

Анастасия стремительно вылетает из автомобиля и бежит в подъезд. Парни за ней не поспевают: еще бы, она шпарит через три ступеньки разом. У дверей 65-й Кислицина останавливается и жмет кнопку звонка.

Одновременно к дому подъезжает машина кинематографистов. Это огромный грузовик с люлькой для оператора, который, кстати, в ней и находится: второпях ему не дали слезть на землю.

Оператор кричит:

— Спустите, наконец, меня!

— Нет, — командует Петросов, — в окно, в подъезд! Снимай!

Прямо с машины оператор перебирается в открытое окно подъезда на четвертом этаже. Шестьдесят пятая квартира на один марш ниже. Оператор снимает, как Смыков открывает дверь... и тут же получает по морде.

— Девочек тебе, значит, подавай?! Помоложе?! Ах ты, дрянь!

Этими словами Анастасия сопровождает свои частые удары по немело уворачивающемуся Смыкову. Растерянные сутенеры топчутся на площадке и вдруг замечают, что их снимают.

— Эй, шеф, разобью камеру, — говорит брюнет и делает движение наверх. — Я не давал разрешения снимать!

— Не рыпайся, ребята, за массовку выпишут по тройку, — успокаивает их до предела увлеченный съемкой оператор.

В это время снизу появляются Петросов, Адамишин, за ними еще двое-трое крепких мужчин.

— За камеру не деревянными плачено, — говорит Петросов. — Лучше успокойтесь, детские менты.

— А мы че, мы ниче, — смиряется брюнет. — И вообще, чуть что — сразу срока навешивать. Трояк, между прочим, только судья назначить может.

Бухтя таким образом себе под нос, он, а за ним и его подельник аккуратно ретируются сквозь строй киношников.

Петросов смотрит на оператора, который уже стоит на пороге квартиры и снимает через распахнутую дверь, и внезапно догадывается:

— Слушай, а ведь это Смыкова квартира.

Оттуда продолжают доноситься звуки Настинного погрома. Оператор, как бы говоря: «Не мешайте работать!», подтверждает:

— Смыкова, Смыкова. Вон и он сам.

Слышен голос Кислициной:

— Вы с Петросовым, значит, на роль твоей любовницы меня приглашали? А теперь выкидываете? Он мне сказал, что с тобой все обговорено...

— Э-э, нет, ребята. Мы здесь явно лишние, — говорит Петросов. Оператору: — Он тебя видел?

— Не-а.

— Тогда сматываем удочки.

— А Настю забрать? — спрашивает Адамишин.

— На общественном транспорте выберется. Дорогу знает.

Киношники спускаются. А сутенеры уже усаживаются в машину.

— Здорово мужик получил! — говорит блондин.

— Да за свои-то деньги! Неслабо! — соглашается брюнет и указывает на грузовик: — Слушай, а может, она и вправду актриса?

— Рвем когти, да ну их всех к...

Последних слов не слышно из-за рева мотора. «Форд» быстро уносится. Чуть погода отъезжает и киносьемочная.

В квартире Смыкова все стихло. Сам кинодраматург сидит в кресле, держится за сердце и сосет валидол. Анастасия поправляет прическу перед зеркалом. Потом достает из кармана «заработанную» пятерку и швыряет ее в Смыкова:

— Это, между прочим, твоя пятерка. Прикупи себе еще девочек.

10.

На съёмочной площадке опять гвалт. Борис апеллирует к Петросову:

— Что она себе позволяет? Исщипала меня всего и даже кусанула!

Ева (сама не ожидавшая от себя такого поступка) сначала растерянно и искренне объясняет, но потом находится:

— У меня случайно... Ей-богу, так вышло... А что он как кулема? Тюха-матюха еле живой. Я и решила его подзавести.

— Ничего себе «подзавести»! Как врезала!

— Ты не видел, как я врезаю! Я джиу-джитсу изучала.

— Тебе-то оно зачем?

— А чтоб не лез кто попало. У нас без этого нельзя. — Петросову, доверительно: — А что, я всегда щиплюсь — их мигом разогревает.

Петросов снисходительно и даже поощрительно улыбается, затем обращается к пострадавшему:

— Борис, а ведь мы не снимали ещё сцену насилия. Там она защищаться должна — тебе, наверное, туго придется?

— Да я что вам, — говорит не на шутку возмущенный Борис, — каскадер? Дублера давайте.

— Ну, мы попросим Сонечку не столь натурально исполнять свою роль.

Борис с сомнением качает головой, глядя на Еву, машет рукой и уходит, потирая при этом то бок, то скулу.

Ева некоторое время мнется, раздумывая, потом говорит Петросову:

— А что, там нормальных этих... эпизодов... совсем нет? Всё вот такая... При вас выразаться-то можно?

— Ну, если невтерпёж, то тихо можно. Кстати, а ты ведь сценария не видела. Вот дырявая башка! Снимаю, называется. Надо у Кислициной взять экземпляр.

— Да неудобно.

— Ты права. Ну так я тебе свой дам, а мне ещё размножат. Прочти, да, может, и не один раз.

— А он, поди, толстый?

— Да нет, страниц семьдесят.

— Ого-го!

— Черт побери, где же сценарий? Где мой экземпляр? Ведь здесь где-то валялся.

Сценарий на коленях у Адамишина, который прямо-таки весь погрузился в него.

— Э-э... Алексей, вам что, в киоске газет не досталось? Возьмите тогда телефонный справочник, он толще.

Адамишин наконец приходит в себя, отдает сценарий и кроит странную физиономию.

— На сегодня всё, завтра общий выходной! — объявляет Петросов.

На скамейке сидят Ева и Адамишин. Ева тербит сценарий и заканчивает долгую речь:

— Вот так, Алексей, и это без всяких шуток называется только одним словом — профнепригодность.

— Да, история увлекательная. Тимофей, гусь, хорош. За передовиков, положим, я и сам писал, но чтоб за путан... А что, собственно, иные времена — иные песни. Ну а почему ты мне обо всем этом рассказала?

Ева делает глубокий вдох.

— Алексей Андреевич, вы уже поняли, наверное, что я человек до неприличия серьезный. Поэтому давайте серьезно меня дослушайте. Я вижу в вас человека порядочного и без этих творческих... сквозняков в голове. Я прошу... я прошу вас сделать из меня женщину.

— Евочка, бог с вами!

— Сделайте мне одолжение! Ну что я — безобразна? Стара? Или еще не созрела? Пусть я не красавица...

— Евочка, да вы дико привлекательны! Свежи. В вас бездна обаяния. Но... это невозможно.

— Вы сугубо верны вашей даме? Нездоровы? И...

— Я здоров. И на данный момент холост и вообще одинок. Только я не могу... — Бьет себя по колену. — Я, конечно, интеллигент драный, хлюпик рефлексирующий и так далее, но для меня это относится все же скорее к духовной сфере. Что-то должно щелкнуть, воспламениться, откуда-то ветер задуть в паруса. Что вы на меня так смотрите? Думаете, этакая дубина стоеросовая, морда совершенно без печати интеллекта — и вдруг такие материи про душевную тонкость? Да я тоже ряженный. Никакой я по профессии не осветитель, просто втерся на студию. Да и надо же где-то деньги получать. А в действительности я литератор, талант непризнанный. И если вам не пятнадцать, а девятнадцать, то мне не тридцать семь, а семнадцать! Потому что я все еще начинающий, юный, подающий надежды — и все без просвета. Евочка, найди другого.

— Кого другого? У меня, знаешь, тоже дури хватает. Я не могу с этими недоразвитыми — сверстниками то есть, если официально выражаться. Да что я размечталась, у Петросова скоро блажь пройдет. Не будет он меня снимать — ну с чего?

— Нет, Евочка, я чувствую, он серьезно намерен сделать фильм именно с тобой.

— Но я-то не могу... соответствовать. Как я все это сыграю — по теории? Нет, я, конечно, не совсем дремучая и фильмов много смотрела, но самозванцы сыплются на деталях, а я зажата вся. Сценарий только что прочитала: там штук десять постельных сцен. Не считая овражных, подвальных, в кабине КамАЗа.

Адамишин прячет глаза и говорит делано безразлично:

— А как тебе вообще сценарий?



— Наверное, так и надо сегодня. Я ведь не знаю кино по-настоящему.
 — Нет, ну а как читателю, зрителю?
 — Да чушь на постном масле! Игра на жареной темке плюс небольшой конференс для связывания воедино... сам понимаешь чего. Народ, я думаю, валом повалит, если рекламу с толком сделать. Да не надо и рекламировать, наши люди клубничку за версту чувят. А с чисто литературных позиций — бездарно.

— Да, тяжелая у тебя ручка. Что ж, сам напросился... Ева, это мой сценарий, Смыковым украденный. И переделанный, конечно. Я ведь от подозрения в осветители пролез — чтоб убедиться, что обокрали. И убедился. Еще недели две назад. Ну а сегодня-то уж определенно все выяснил. Смыков многое замазал, но автор, конечно, свое всегда распознает.

— А как он украл? Что, и это крадут?

— Крадут. Написал его давно, года два, пожалуй, назад. Или больше. Пустил через знакомых в кинематографические круги. Вроде как с черного хода надежнее. Словом, сделал я такую глупость, рукопись нырнула куда-то... И вот вынырнула. Что, там совсем ничего не проглядывает?

— Видишь ли, если Смыков руку приложил... Видимо, он сильно текст измызгал.

— Ну, это ты меня жалеешь. Давай проведем эксперимент: принесу тебе свой, так сказать, подлинник.

— Конечно, давай. Он что — сохранился?

— Естественно. Дома лежит, на почетном месте. В столе, как у порядочного писателя. Завтра не забыть бы только.

— Завтра выходной. А мне что-то жутко интересно. Может...

— Ну тогда... Шеф!

Адамишин и Ева садятся в такси и уезжают.

12.

Скрип открывшейся от сквозняка двери. Удар ручки о стену. В дверной проем видно большое зеркало на стене, а в нем — лежащих в постели Еву и Алексея. Ева поворачивает голову и видит в зеркале «развратную» картину.

— Господи, опять порнография, никуда не спрячешься.

Она встает с постели и выключает свет. «Картинка» пропадает. Время уже к вечеру.

Ева говорит:

— Свет зачем-то был включен.

— Это рок. Тоже профнепригодность. Руслан меня зовет «ходячий перерасход электроэнергии».

— Мы прервались на самом интересном.

— Вот как? Для меня, например, это событие, а для тебя — так, перерывчик?

— Смейся, смейся над соблазненной тобой девицей. Мне понравилась твой сценарий. Конечно, сильно отдает журналистикой, но это интересная вещь. Только странно: у тебя нет этих смыковских нагромождений, нагнетания грязи, а впечатление остается даже более тягостное... Я придумала, что мы будем делать, — говорит Ева после паузы. — Я буду играть твой текст. И буду настаивать на твоих поворотах сюжета. Скажу, что это — по-настоящему, как в жизни, а сценарий далек от нее, как от Луны. Покапризничая — в простоте своей. Петросов, который сам не удовлетворен сценарием, будет этим «находкам» рад. И в конце концов смыковский вариант отбросит, а твой будет ставить. А поближе к концу мы откроем ему глаза.

— Нет, Евочка. Дело даже не в том, что этот трюк годится только для водевиля — я бы даже взялся его написать! — он на самом деле неосуществим. Теперь этот сюжет, эти образы принадлежат Смыкову, и назад их у него не оттяпашь. И Петросов тоже не такой уж наивно-восторженный... серафим, каким ты себе его представляешь. Ты посмотри на титульный лист: он подписан двумя фамилиями — Смыков, Петросов. Но даже не это главное. Через эту свою работу я перешагнул, она сама перестала мне быть интересной. Она плоская. За версту разит непереверенной журналистикой. Я бездарь, ты правильно сказала.

— Послушай, а я? Ведь ты сам считаешь, что этот фильм для меня шанс.

— Ты снимайся, конечно, снимайся. А я уж постараюсь тебя как следует осветить. Если же серьезно — ты единственная, кто может спасти этот фильм.

— А на фиг мне спасать смыковский фильм? Блистать для этого... всеми частями тела?

Слышен внезапный скрежет замка. Адамишин в замешательстве.

— Патриарх с матриархом! Такая погода, а они в город прикатили!

Полуодетая Ева лихорадочно доукомплектовывается. В дверь заглядывает мать Адамишина. Ева скрывается за дверцей шкафа.

— Привет! Спать собрался? Опять всю ночь за столом просидел? Спустись, помоги нам с отцом. Там два ведра ягоды, мешок огурцов, помидоры. Потом машину отгонишь.

— Да не могу я машину отогнать!

Но мать уже вышла.

Адамишин вскакивает и натягивает штаны.

— Сейчас, помогу ему занести. А то он враз все схватит — как в молодости. Подожди посиди. Сейчас страда агрикультурная закончится, и я тебя с родителями познакомлю.

— А что, для них такие... эксцессы, значит, привычны?

— Нет, что ты, я как с Люськой развелся, ни одну женщину в дом не приводил. Так, немножко гастролировал, но все матчи — на выезде.

Адамишин убегает. Ева быстро заканчивает приводить себя в порядок и тоже убегает — на верхний этаж подъезда.

13.

Петросов сидит возле телефона, Адамишин стоит рядом. Режиссер кричит в трубку:

— Тимофей Харитонович! Тимофеюшка! Я перед тобой на коленях стою — ты видишь, нет? Найди мне эту девочку. Христом Богом... А ты мне не советуй, я ж тебе советов не даю! Как так «не то, что мы думаем»? Какая мне разница — то или не то — мне она нужна! Найди ее, голубчик. Или адрес дай. У меня фильм стоит. Ну хорошо, хорошо. Только как можно быстрее. Когда тебе позвонить? Что? Сейчас? Куда? Хорошо. Через полчаса будем.

Он кладет трубку.

— То поищу, то подъезжайте и вместе к ней поедem. Крутит что-то... А вы что без газетки? Так болеете за судьбу фильма? Сейчас вот поеду за нашей красавицей. Но чувствую, предстоит серьезный разговор.

— Возьмите меня с собой.

— А зачем? Вы что — имеете на нее влияние?

— Понимаете, я ей социально близок. Осветитель почти что люмпен. А вы творческий работник, интеллигенция. В душе она вас стесняется.

— Ну, я уверен, что ей случалось находить общий язык и с интеллигенцией.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь.

— Ты починился или нет? — куда-то вдруг срывается с места Петросов.

— А впрочем, как знать, как знать, — говорит Адамишин, глядя на себя в зеркало. — Кстати, творческий интеллигент, может, хватит в дурацкое благородство играть?

Петросов возвращается, докрикивая:

— Не подведи! Я звоню и говорю, что через час будем.

— Георгий Грантович, — обращается к нему Адамишин, — на пару слов. Сценарий ваш и Смыкова украден у меня.

Петросов теряет дар речи.

— Я не говорю, что вы сообщник, он это, конечно, проделал в одиночку, но факт остается фактом: под вашими именами мой опус. Вы говорили, вам знаком первый вариант. Хотите, я вам его процитирую с большой точностью? Ведь так называемый первый вариант — это и есть мой текст, как я понял из своих разысканий. Возможно, Смыков даже поленился отдать его перепечатать, раз он не был уверен, заинтересует ли вас эта работа. Тогда еще проще: припомните, там пишмашинка не пробивала ли, часом, букву «о» навывлет?

— Д-да. Рукопись была вся... как из тира. Я еще сказал: что это за машинка у тебя с вологодским акцентом? Так, значит, это ваш труд... Ударчик за ударчиком. Присядем, надо же обсудить, что делать.

У здания редакции стоит автомобиль, в котором сидят Петросов и Адамишин. К автомобилю подходят Тимофей и спешащая за ним Люся, которая заявляет:

— Ну вот, а ты говорил, что в машине места не хватит. О, опять мой бывший! Привет. А вы — Петросов? Очень приятно, Людмила.

— Люся — журналистка, — хмуро поясняет Тимофей. — О кино пишет. Поедем пока прямо, до самой кольцевой.

— По-моему, для прессы наш фильм еще не созрел, — говорит Петросов.

— А она не как журналист — как частное лицо... увязалась, — отвечает Тимофей.

Люся, конечно, молчать не может:

— Адамишин, а ты-то зачем туда направляешься? Что, тоже соискатель?

— Интересно, за каким чертом, по-твоему, мы туда едем?

— За юбкой. Экзотики захотелось.

— А-а. Ну мы-то ладно, а Георгий что — тоже за юбкой?

— Кто-кто? А, Георгий Грантович. Что это ты режиссера — и так фамильярно?

Петросов оборачивается:

— Да мы тут с ним долго разговаривали на брудершafft.

— Да, — подтверждает Адамишин, — и я теперь говорю — Георгий без отчества, а он в свою очередь зовет меня Алексеем без «э-э-э».

Все немножко посмеялись, помолчали. Но молчать — это не про Люсю.

— Куда мы все-таки направляемся, открой, Тимофей.

— В пионерлагерь. Она туда устроилась.

— Господи! Инструктором по сексуальной подготовке?

— Старшей пионервожатой, — бесстрастно поясняет Тимофей.

— Пионервожатой? Да еще старшей? Ну, это, наверное, принимая во внимание ее стаж...

Тимофей считает нужным немного прояснить ситуацию:

— Вот о чем я вас должен предупредить: ничему не удивляйтесь. Особенно перемене... в возрасте.

— Повзрослела? Посерьезнела? За ум взялась? Не иначе, замуж готовится. А, Тимофей? — не унимается Люся.

Тот молчит.

— За тебя, наверное. Или за моего бывшего?

— Постой, Тимофей, — вступает Петросов. — Ты главное разъясни: чего это она от нас удрала?

— Сейчас вы сами всё от нее услышите. Я знаю, что она вам скажет: в кино сниматься не буду.

— Неужели ты запретил? Тиран. А впрочем, порядочной девушке в артистки нельзя. Там за ними осветители подсматривают, — иронизирует Люся.

— Милка! Ты из-за кого кипишь — из-за Тимофея или по старой памяти из-за меня? — подает голос Адамишин.

— Да зло берет. Глобальное. За всех обыкновенных, как раньше говорили — честных женщин. Свет клином сошелся на какой-то проститутке!

— Пусть она проститутка, — поворачивается к ней Петросов, — но она артистка. Кстати, это не такое уж редкое сочетание. Так вот, это ее из болота и вытянет. Сыграет себе новую жизнь, светлую. И замуж выйдет, а мужу сыграет идеальную жену. Он до самой старости будет в восторге.

— Да, много таких восторженных ходят... рогами позванивают! Вот кому-то подарочек! — оставляет за собой последнее слово Люся.

Небольшая пауза. Петросов, однако, в своих размышлениях не может свести концы с концами.

— Тимофей, а она вам не говорила, почему отказалась сниматься? Может, ей сценарий не понравился?

— А о чем сценарий? — спрашивает Люся.

— Да что теперь об этом говорить? Сценарий мы похоронили.

— Как? — удивляется Тимофей.

— А вот так. Надоело, знаете ли, чернуху гнать. Пьянство, мафия, проституция, наркомания, хеви-метал, мордобой, голобание. Ничего этого в моем фильме не будет.

— Ну, это вы не загадывайте, — говорит Люся. — Мало ли какие средства понадобятся художнику? Все дело в цели, которую он перед собой ставит. Если цель светлая — значит, не чернуха.

Люся увлекается и не замечает, что становится комична.

— Понимаете, само по себе голое тело еще не порнография. Вот я писала рецензию на фильм Рубинчика — помните «Лисистрату»? — где мужики и бабы сплошь бегают голые...

— А что там писать? — прерывает ее Адамишин. — Довольно и полстроки: «Это — генитально!»

Петросов хохочет во все горло — так можно смеяться только над коллегой. Прослезившись, он продолжает мысль:

— Но где взять хороший сценарий? Светлый, как вы изволили подсказать. Слава богу, мы с Алексеем сейчас знаем, где взять сценарий, а если в принципе ставить вопрос? Когда я после перерыва — я тогда сосредоточился на преподавании во ВГИКе — решил взяться за новый фильм, долго был в недоумении. Сценариев куча, да везде просвета нет. Сплошь черновики какие-то, а не сценарии. И вы знаете, наверное, я поддался, решил, что так и надо, что каждый художник обязан испить эту чашу до дна, что применительно к нашей профессии означает — напотче-

вать ею до чертиков народ, зрителя. Вот в чем была моя ошибка. Конечно, я не говорю, что раньше у нас было во всем отличное кино — про борьбу хорошего с лучшим, но... А конфликт плохого с худшим чем качественно отличается? Повернулись на сто восемьдесят градусов — и вся недолга...

— Приехали, сворачиваем, — командует Тимофей.

Машина въезжает под арку с надписью: «Юный дзержинец».

— Да, название, что и говорить... лагерное, — констатирует Петросов.

Тимофей уверенно ведет кинематографистов к одному из корпусов. Войдя в него, они спрашивают, где старшая пионервожатая.

В этот момент Петросов замечает Еву: она на улице, по другую сторону корпуса. Все смотрят на нее через окно.

— Ну разве она не актриса? — восхищается Петросов. — Нет, я же вижу — никакого грима, и тем не менее какое преображение! Правильно, вокруг дети, и она кажется себе очень взрослой. И потом — ответственность. О чем они, интересно, говорят?

К Еве подходит вожатая помладше. Адамишин открывает форточку. Слышится:

— А у меня в отряде всю эту... плюрализм творится. Пятеро ребят из деревни — так у них звездочка октябрятская. А другие на них пальцем показывают. Мы, говорят, никакие не октябрюта, мы февралята. Вот так: пять октябрют и одиннадцать февралят.

— А остальные? — интересуется Ева.

— Два апрелевца и четверо на платформе депутатской группы «Союз»... ой, как же? Я записала... — Достает бумажку. — «Союз Михаила Архангела». Это ничего? Что Михаила?

— Конечно, ничего. Лишь бы не дрались.

Петросов не выдерживает:

— Соня!

Но она не слышит. Тогда он начинает трясти окно. Адамишин помогает его открыть и просит:

— При детях называйте ее Евгенией Николаевной.

— Евгения Николаевна! — выпрыгивает из окна Петросов. — Куда вы пропали?

Ева хмурится. За Петросовым следует Адамишин. Тимофей помогает спуститься из окна Люсе.

— Куда же ты пропала? — продолжает Петросов. — Нельзя такой талант зарывать в землю! Ты же прирожденная актриса. Тебе и во ВГИКе учиться не надо.

— Это я от вас уже слышала.

— Как, когда?

— О, это давняя история. Незачем и вспоминать.

— И все же пойдём повспоминаем, — говорит Адамишин и обнимает Еву за плечи. — Есть интересное предложение.

Столовая лагеря. Несколько квадратных столов сдвинуты, за ними сидят Ева, Адамишин, Тимофей, Люся, Петросов. Вернее, последний лежит на столе всей верхней частью туловища и уже близок к последнему издыханию — от хохота. Наконец он поднимается, вытирает лицо платочком.

— Да... Я давно говорил, что все эти конкурсы, отборы, пробы, опять же... Профанация. И курс тот, набранный два года назад, если честно, слабый. Если б я вас не отсеял, Евочка, вы б, конечно, его спасли. Но я, старый балбес... Ладно. Мы с Алексеем делаем новый сценарий. И там роль, Евочка, только для вас. Вы ее сыграете бесподобно. Соглашайтесь, а?

— Что об этом говорить? Я никакая актриса. Сценарий у вас на стадии прожекта. Словом... я согласна.

— Ура! — кричат Петросов и Тимофей; к ним после некоторой заминки присоединяется Люся.

Адамишин лезет в карман, достает небольшой листочек и, дождав-шись тишины, говорит:

— Тимофей! Вам письмо. Зачитываю. — И продолжает писклявым девчоночьим голосом: — «Уважаемый Т. Ревунов! Пишут вам ученицы седьмого класса. Скажите, пожалуйста, где еще можно получить специальность путаны кроме ближайшего к нам 13-го ПТУ электромонтаж-ниц? И еще ответьте через газету, чем кондом отличается от презер-ватива? Я говорю, что он больше, а Таня Симанович — что прочнее. И еще...» Далее малоцензурно.

За столом — полное веселье.



Константин КОМАРОВ

«ДАВАЙ ПОГОВОРИМ НАРЯДНО...»

* * *

Сказал я спичке: «Спичка, спи», —
и затушил ее о ветер.
И полыхнул пожар в степи,
и дрогнуло письмо в конверте.

Мир стал отчетливей, но злее,
вот серый зрак луны раздут.
Реальность под конвоем зренья
в СИЗО фантазии ведут.

В окно фонарь сочится черный,
я жду один, полураздет,
когда период сей отчетный
отечный завершит рассвет.

Но сабля слабая созвучий
не рассечет песочный плеск.
И в день я вывалюсь, измучен,
переживать его гротеск.

Нет, зла на жизнь я не держу,
я просто слишком ей напичкан.
И сигарету вновь бужу
очередной уснувшей спичкой...

* * *

Это дело парное —
надо на двоих,
это пиво барное —
мы с тобой до сих

пор не обналичены
в данном бытии,
только обезличены
в вечном питии.

После бреда ситного
выйдем, как в сортир,
в заспанный, засыпанный
дивный новый мир.

* * *

Простирается космос косо́й,
намечается новый делирий,
зреют сотни во мне голосов,
тех, что мы с тобой не поделили.

Но сегодня я больше не твой,
растворяюсь в пузырьчатом вое, —
если станешь небесной вдовой,
тебе будет обиднее вдвое.

По периметру мрачных примет
нам брести тропкой берестяною,
чтоб в финале услышать: «Привет», —
и с дремотой совпасть костяною.

* * *

Могилы, о чем ты молила,
свою разеваючи пасть?
Твоя всеобъемлюща сила,
но телу с тобой не совпасть.

Придумай какой-нибудь способ
 в себя существо не принять,
 ведь я обособлен как особь,
 и мне тебя — нет, не понять.

В твою не желаю оправу
 и душу тебе не вручу,
 твою земляную отраву
 я пить никогда не хочу.

Бессмертия выдержав квоту,
 я сам в себе вечно затих
 и чувствую только зевоту
 от гнойных заветов твоих.

* * *

Язык, что неизбежно зыбок,
 взяв, как монету, на зубок,
 вспугнул я стаю мелких рыбок,
 но строчку все же уберег.

Потом еще скопил немного,
 в избу замел бесценный сор,
 и из узилища немого
 на сушу вышел разговор.

В нем был и крика крой кротовый,
 и сладкий щебета щербет,
 и скрежет шепота картонный,
 и рифмы добрый дробный свет.

Вот осыпается он градом,
 ложится как метеорит,
 и воздух между нами гладит,
 и прямо нам в глаза глядит.

Так происходит обученье
 искусству снова говорить,
 так происходит облученье,
 что сокрывают буквари.

Давай поговорим нарядно,
Давай гореть — не будем гнить.
Да светит в слове Ариадны
адреналиновая нить!

* * *

Есть дающие и доящие
в чистом виде, а чаще — смесь,
между них мое настоящее
наступает сейчас и здесь.

Их пустые нововведения
по неведенью моему
ускоряют грехопадение,
погружают меня во тьму.

Я спускаюсь по скользкой лесенке
в полутемный сырой подвал,
покупаю там книжку Лессинга —
ту, которую не читал.

И восходит заря унылая,
как бы шепотом говоря:
«Вот ваш мир опять и умыла я»...
Я читаю, и все не зря.



Андрей ПОЗДНЯКОВ

В МАШИНЕ

Р а с с к а з

— Ну е-мое! Сколько можно-то? — Терпение водителя Алексея лопнуло. — Десятый час уже!

Сидевший рядом Дмитрий машинально взглянул в темное окошко «крузака» и вдруг заметил, что дверной проем клуба осветился.

— Вроде выходят уже, — неуверенно сказал начальник штаба, поймав себя на мысли, что он будто утешает нечаевского шофера, хотя для него самого встреча кандидата с ветеранами деревни Власьевки, затянувшаяся на пару лишних часов, гарантировала неприятный разговор с женой и очередные сутки, когда он увидит дочку только спящей в кроватке.

— Я ж говорил вам, Степанида Аркадьевна, что он здесь.

Обе задние двери открылись одновременно, и в салоне внезапно и очень неприятно вспыхнул яркий свет. Нечаев ловко запрыгнул в салон с правой стороны и сразу переместился влево, протягивая руку и помогая залезть в машину грузной Степаниде. Дмитрий, сидящий спереди, засуетился, но так и не смог придумать, чем еще можно помочь толстой руководительнице районного ДК.

— Вы же меня довезете, Валерий Константинович? — тяжело дыша, спросила Степанида Аркадьевна, когда уселась.

— Конечно! — В присутствии Степаниды Нечаев был сама любезность.

Услышав положительный ответ начальника, водитель украдкой взглянул на Дмитрия, скривил губы и тихонько вздохнул. Начштаба оставил без ответа коммуникацию шофера. Для нечаевского водителя появление Степаниды Аркадьевны Моховой в предвыборной команде кандидата в депутаты областного закса означало дополнительную работу по вечерам и иногда по утрам. Деятельная руководительница районного Дворца культуры, на беду Алексея, жила в городе, но совсем не по пути — на левом берегу, да еще в каком-то глухом спальнике. Удивительно, как она вообще добиралась на работу и с работы в обычные, не предвыборные дни

не имея автомобиля — не иначе, на перекладных, выходя из дома часа за два до начала рабочего дня и прибывая домой не раньше восьми часов вечера.

— Леш, поехали, поехали!

Шофер Валерия Константиновича, будучи человеком опытным, никогда не трогался без команды, а то вечно оказывалось, что кого-то (или что-то) забыли, или сам Нечаев «не успел толком сесть», или обнаружилась еще какая-нибудь помеха.

Машина медленно покатила. В темной, почти не освещаемой деревне, куда Нечаева и его помощников завела избирательная кампания, бизнесменский джип выглядел инородным телом: он был крут, блестящ (местная грязь, налипшая на кузов, не смогла бы никого ввести в заблуждение), комфортен, и да, он светил фарами так, как не светил ни один здешний фонарь, ни одна лампочка, прикрученная под козырьком деревенского дома. Видимо, автомобиль тоже чувствовал свою неуместность здесь, поэтому стремился как можно скорее покинуть чужую территорию.

За ним, уже в кромешной темноте, плелись довольные, напившиеся чаю местные старухи. По задумке Степаниды Аркадьевны, после встречи с Нечаевым они должны были не только сами стать его верными сторонницами, но и заразить новой верой всех окружающих, которые по какой-то причине не попали на встречу с Валерием Константиновичем.

— Дим, что за фигня опять? Ты куда со встречи ушел? — начал негромко отчитывать Дмитрия Нечаев.

— Я всю встречу-то побыл, — стал оправдываться начштаба. — Я только с чаепития ушел: у меня звонок важный был.

— Димочка! — вступила в беседу Степанида Аркадьевна. — Вот на таких чаепитиях все самое важное и происходит!

— Да! — поддержал ее Валерий Константинович. — Мы ж с тобой говорили, что ты должен фиксировать все, что люди говорят.

— Я и фиксирую.

В доказательство своих слов Дмитрий показал рабочий блокнот, который всегда, когда рядом был Нечаев, находился в руках.

— Да на чаепитии они столько всего порассказали! — оборвал его кандидат в депутаты. — Они нам и про Крылова, этого действующего коммуняку, рассказали, и про главу, про Олега Спиридоныча. Кто теперь тебе все это пересказывать будет?

— Хорошо, я больше не буду уходить, у меня просто звонок был очень важный, — попытался в последний раз отмазаться Дмитрий.

Нечаев немного помолчал (его недовольство ощущалось даже в этом молчании) и продолжил:

— И еще. Я тебе уже про это говорил! Очень важен эффект внимания. Они что-то сказали, я тебе кивнул — ты записал, а они увидели, что мы их проблему с тобой зафиксировали. Они уже понимают, что перед ними не какой-то там балабол, а человек слова, человек дела, настоящий народный избранник.

— Это очень важно! — поддакнула Степанида Аркадьевна.

— Я понял, — буркнул Дмитрий. — Валерий Константинович, да-
 вайте для этих целей девочку какую-нибудь возьмем. Я тоже не могу
 на все встречи с вами ездить: я уже разрываюсь!

— Штат опять мне хочешь раздуть?

Видно было, что это не первый такой разговор Нечаева со своим ру-
 ководителем штаба.

— Вот ты мне скажи: что ты сегодня сделал?

— Прямо с утра? В четыре утра сел читать то, что вчера прислал
 наш райтер, Андрей.

— А вчера нельзя было прочитать? Или сегодня — с планшета, с те-
 лефона? Дим, двадцать первый век на дворе, а ты все с утра читаешь?

— Он прислал ночью. Я решил до начала рабочего дня, пока голова
 свежая, все прочитать, правки внести.

Нечаев вновь помолчал и заговорил, будто бы меняя тему:

— Я вообще не понимаю: кто-нибудь эту ахинею всю читает или
 нет?

— Вот тут я с вами не соглашусь! — снова вмешалась Степанида
 Аркадьевна. — Вот вы, Валерий Константинович, пройдите по этим ба-
 булькам, с которыми мы только что встречались. У них у каждой дома
 лежит «Ленинское знамя»!

— Степанида Аркадьевна! — перебил ее Дмитрий. — «Лензна-
 мя» — это районка, у них тираж копеечный, они только в райцентре рас-
 пространяются, в села практически не доходят. Они и так в кампании уча-
 ствуют: мы там двадцать восьмого блоком выходим и четвертого, перед
 самыми выборами!

— Дима, кто тебе это сказал? Бабульки эти смотрят телеви-
 зор, для них телевизор — это все! А где они, по-твоему, программку
 берут? В «Лензнамени»! — торжествующе оборвала Мохова Дми-
 трия. — И второе. Что, ты всего два раза в газете хочешь выйти?

— Да! Там больше не получится. Они под законом о выборах, бюд-
 жетные, у них все площади расписаны.

— Просто надо уметь договариваться. — Степанида Аркадьевна
 фыркнула, добывая оппонента. — Вы приезжаете из города, думаете, тут
 все так же, а тут своя жизнь, деревенская. Вот ты сколько раз с Петром
 Семеновичем разговаривал?

— Да что мне с ним разговаривать? Я ведь знаю, как они должны
 в кампании участвовать! — Дмитрий не мог успокоиться.

— Вот именно. — Голос Моховой стал тихим, спокойным и уверен-
 ным. — А я с ним по два-три раза за день созваниваюсь, и по понедель-
 никам у главы на совещании каждую неделю видимся. Редактор районки
 и директор Дворца культуры — это, считай, самые главные люди в рай-
 оне. После главы, конечно. — Степанида Аркадьевна замолчала и, вы-
 ждав театральную паузу, продолжила: — Зазнайства, Дима, городского
 очень много у тебя. Нельзя так с людьми. Они здесь на земле, в дерьме

этом возьтятся. У них «Лензнамя» да хор мой — это луч света в темном царстве. А ты приезжаешь в хороших ботинках да на хорошей машине — как они к тебе относиться будут?

— Да я-то тут при чем? Главное, как они к Валерию Константиновичу относятся! — не мог никак успокоиться Дмитрий.

— Как это при чем? — вспыхнула Степанида. — Как это при чем? Ты его представитель, ты лицо кандидата. А ты прибегаешь сюда наездами: «А-а-а! Зачем мне этот, зачем мне тот? Зачем Петр Семенович? Кто он такой?» Дима, пойми: ты приехал и уехал, а нам жить с этими людьми, в глаза им смотреть. Тот же Петр Семенович — он «Ленинское знамя» возглавляет уже двадцать три года и до этого корреспондентом здесь проработал лет тридцать. Вот ты это знаешь?

— Знаю я это. — Дмитрий попытался перейти на спокойный тон. — Степанида Аркадьевна, давайте вернемся к теме разговора. Вы говорите, что я не использую всех возможностей «Лензнамени», а я говорю, что в законе четко прописано, как они могут заниматься агитацией — за тридцать дней, предоставляя равные возможности кандидатам. Они ж бюджетные. Я был у них на жеребьевках — и платной, и бесплатной. Поверьте: все, что можно было у них взять, я уже взял.

В салоне повисла тишина, победа в споре вроде бы осталась за начальником штаба. В это время машина кандидата выехала наконец на асфальтовую трассу, ведущую в областной центр. Все притихли, наслаждаясь ровным ходом автомобиля и мерной работой двигателя, но, дожидаясь еще чуть-чуть, Мохова все-таки тихонько ввинтила, как бы заканчивая дебаты:

— Все равно, мне кажется, если с Петром Семеновичем нормально поговорить, можно что-то изыскать. Тираж дополнительный сделать, где-то конкурента замазать случайно по тексту, чтобы не читался. Вы поймите: они здесь любой копейке рады! Это село, это район.

— Ладно! — оборвал спор Нечаев. — Что у нас со вторым номером нашей газеты?

— Вы лучше спросите, что у нас с первым номером, — вновь вошла Степанида Аркадьевна.

— А что у нас с первым? — смутился Дмитрий. — Лег в поля, уже неделю как.

— Вот сейчас я с этими бабушками разговариваю — а они не видели нашей газеты! — начал закипать Валерий Константинович.

— Да как не видели? Сюда, во Власьевку, сто пятьдесят штук отправляли! — так же эмоционально ответил Дмитрий.

— Сколько у нас дворов во Власьевке? — строго спросил Нечаев.

— Не помню, — стусевался начштаба: эта цифра, действительно, вылетела у него из головы.

— Степанида Аркадьевна, сколько дворов во Власьевке? — Валерий Константинович обратился к соседке.

— Ой, дворов пятьдесят, по нашим меркам — большая деревня!

— Вот! Ты на пятьдесят дворов отправляешь сто пятьдесят газет! — Нечаев уже кричал. — Дима, ты голову вообще включаешь или нет? Три газеты на дом? Ты просто решил деньги мои разбазарить?!

— Валерий Константинович! Технология распространения у нас сложная: мы разложили по домам — в калитку, часть тиража лежит в магазине местном, часть — в администрации сельсовета, часть — по трудовым коллективам. В сумме где-то около ста пятидесяти газет пошло. Плюс к сельсовету этому еще Березовка и Кондратьевка относятся — туда тоже что-то пошло из этого количества.

— Березовка и Кондратьевка — мертвые деревни! — заявила Степанида Аркадьевна. — Там по две старушки осталось, которые уже ничего не соображают. Я вообще не знаю: они там голосуют или нет?

— Голосуют, — уверенно сказал Дмитрий. — И там и там участки есть. Избирателей немного, человек по пятьдесят — семьдесят, но участки открываются.

— Кто ответственный за распространение во Власьевке? — продолжал допытываться Нечаев.

— Александр... — Дмитрий замылся и начал листать блокнот, пытаясь спешно и в темноте найти нужный контакт, — не помню отчества.

— Уволить его на хрен! И денег не выдавать!

Валерию Константиновичу нужны были жертвы.

— Нельзя его уволить. Его нам глава рекомендовал, он в сельсовете работает, наш человек. В день выборов помогать будет.

— Дима, на хрена мне такой «наш человек», если приходим на встречу, приносим газету, а они ее в первый раз видят!

— Да как — в первый раз? — Дмитрий опять завелся. — Я ведь раздавал — у меня одна отказалась брать: «Я уже читала», вторая отказалась, третья...

— Они ее не брали, потому что без очков были. Старые без очков ничего читать не будут.

— Савельич, — вдруг вспомнила Степанида Аркадьевна. — Александр Савельич.

— Точно, Савельевич! — согласился Дмитрий.

— Хороший дядька, — сказала руководительница ДК. — Не пьет. По идее, должен разносить ответственно. Сколько вы ему платите, Валерий Константинович?

— Не знаю, — недовольно ответил Нечаев. — Дима всем занимается, я только сметы его подписываю.

— За эту разноску он должен получить шестьсот рублей, — выпалил Дмитрий.

— Ну ты уже совсем, Дима! — сконфузилась Степанида Аркадьевна. — Ты головой-то соображай! Это ж работник сельсовета. Понятно, почему он эти газеты не носил. Он деньги взял, а сам этими газетами сейчас печку топит.

— Степанида Аркадьевна, эти деньги, по четыре рубля за один экземпляр, согласованы с главой района. Крылов, действующий депутат, платит по три рубля — это я точно знаю.

— Крылов вообще может ничего не делать! Он думает, что его все знают и все любят. А это я ему прошлые выборы, считай, все сделала. Правильно, он платит по три рубля. Странно, что еще хоть что-то платит. А Серафиме Ивановне вон не заплатил, девчонок из ДК в Пихтовке кинул! Обещал им оборудование новое купить — и фигурки! Мне тоже не доплатил. Ведет себя как свиненок! Не знает будто, что Бог-то есть и Он все видит. Вот проиграет выборы в этом году, точно, проиграет!

— Ладно, — прервал Мохову Валерий Константинович, и у Дмитрия сложилось ощущение, что и вторую схватку со Степанидой он выиграл. — Дима, наладить контроль за распространением. Обратная связь должна быть. Сделали разноску — через два дня раз-раз, обзвонили, спросили: дошла — не дошла, читали — не читали. Посади девочек...

— Некого сажать, у нас по той структуре, что вы утверждали, не комплект, — возразил шефу начштаба. — У нас как раз технического персонала, штабного, и не хватает.

— Дима! Ты что мне все пытаешься штат раздуть, как в администрации района? Почему я тебя учить должен? Этого своего бери, писателя, как его там? Андрея!

— Он не пойдет, это совсем другая квалификация у человека.

На этих словах Дмитрия Степанида Аркадьевна прыснула.

— Ну, моих девчонок бери с офиса — расчетную группу, секретарей, — не обращая внимания на реакцию Моховой, продолжал Валерий Константинович.

— Ой, из ерунды проблему делаете! — все-таки вмешалась Степанида Аркадьевна. — Я своих девчонок посажу — после выборов им по тысяче, по две заплатите, и все, не надо больше.

— Вот! — подхватил Нечаев. — Выйдет второй номер — отзовишься Степаниде Аркадьевне, дашь количество по селам, она проверит твою работу.

— Хорошо, — недовольно буркнул Дмитрий, решив про себя, что будет решать эту проблему (а взаимоотношения со Степанидой он считал для себя проблемой) потом, по мере ее развития.

В салоне на некоторое время установилась тишина. Машина приближалась к городу, до него оставалось каких-то полчаса езды.

— Леш, где мы едем? — спросил Валерий Константинович у водителя.

— Уже Зеленхоз проехали. Километров сорок осталось.

— Хорошо! — одобрил Нечаев. — Сначала Степаниду Аркадьевну завезем, потом меня, потом Диму.

Алексей покорно кивнул: в принципе, в такой последовательности он всегда всех и развозил по вечерам.

— Валерий Константинович, — минут через пять-шесть возобновил Дмитрий разговор. (Несмотря на присутствие Степаниды, ему нужно было обсудить с шефом ближайшие планы.) — Что у нас завтра?

— Вот ты спросил! — произнося это, Нечаев почему-то начал ерзать. — Кто у меня начальник штаба? Кто все знать должен — ты или я? Степанида Аркадьевна, что у нас завтра?

— Завтра я хотела встречу с моими девчонками, с ДК, организовать. После у меня все свободно, а вечером нам надо в Пихтовку, в совет ветеранов, так же как сегодня.

— Пихтовка — это сто пятьдесят километров только от райцентра, — робко подал голос водитель, поглядывая на Нечаева в зеркало заднего вида.

— Леш, и что? — заорал Валерий Константинович, все так же ерзая. — Твое-то какое дело? Крути себе баранку да крути!

— Нет, — смутился Леша, — я просто к тому, что надо хотя бы часа за два туда из района выехать — там дорога не очень, да еще дожди прошли, — чтобы посветлу дорогу посмотреть хотя бы в ту сторону да не опоздать никуда.

— Не опоздаем, — пробурчал Нечаев, немного смутившись своего всплеска негодования.

И вновь в машине повисла тишина. На горизонте показались первые городские огоньки, а автомобилей на трассе становилось все больше.

Решив, что времени, для того чтобы успокоиться, у Нечаева было достаточно, Дмитрий продолжил:

— Просто Андрей сегодня должен прислать все тексты. Те, что я ему поправил, и остатки все. Я хотел, чтобы вы почитали.

— Хоти.

— Как это сделать? — не обратил внимания на хамство кандидата начштаба.

— Дима, что ты от меня хочешь? — Нечаев почему-то становился все более раздражительным. — Не знаю я, как это сделать!

— Если я по электронной почте вышлю, вы прочитаете?

— Не уверен: я в нее практически не заглядываю.

— Хорошо, распечатку посмотрите? — настаивал Дмитрий.

— Распечатку посмотрю! — Кандидат опять начал ерзать.

— Как ее вам передать? Мне завтра хотелось бы в офисе поработать.

— Дима! — вскипел Нечаев. — Вот сидит Степанида Прокофьевна!

— Аркадьевна! — поправила его Мохова.

— Да! Вот сидит человек, который организывает встречи, если ты их мне организовать не можешь. Я в ее полном распоряжении. Договорись с ней, передай через нее бумаги, я по дороге посмотрю.

Связываться со Степанидой Дмитрию не хотелось. Он прикинул в уме и наконец выдал свой план:

— Я тогда завтра, наверное, с вами прокачусь, по дороге покажу все тексты, поправим на ходу. А потом какой-нибудь попуткой назад в город выберусь. Я вам в ДК нужен?



— Нужен!

— Не нужен!

Нечаев и Мохова ответили одновременно.

— Дима, что ты как маленький? — Интонации Валерия Константиновича становились все злее. — «Нужен — не нужен»... Если сам говоришь, что работать некому, то нужен или не нужен? В ДК он нам нужен, Степанида Аркадьевна?

— Нет, Валерий Константинович! — уверенно ответила Степанида. — Это уже моя епархия, там я начальник. Мне там никто, кроме вас, не нужен.

— Вот в Пихтовке ты бы сильно был нужен! — согласился с ней Нечаев и тут же отпустил Дмитрия: — Но если считаешь, что должен в городе поработать, езжай работай. Я за тебя пофиксирую проблематику, а Степанида Аркадьевна потом тебе все расскажет.

— Хорошо, — согласился Дмитрий. — Леш, тогда с меня завтра начнешь, ладно? Валерий Константинович, Алексей за мной завтра первым заедет, ладно?

— Ладно, — буркнул Нечаев и вновь заерзал.

Машина уже мчалась по городу. Неожиданно по пути встретился дорожный затор, совершенно нехарактерный для этого времени суток. Причиной, по всей видимости, стало какое-то происшествие с трамваем: он стоял поперек дороги метрах в ста и не двигался.

— Что там, Леш?

Валерий Константинович просунул голову между двумя передними сиденьями, пытаясь рассмотреть что-нибудь в лобовое стекло.

— Авария, похоже, — невозмутимо ответил шофер. — Трамвай то ли с рельсов сошел, то ли подбил его кто...

— Объехать сможем? — спросил Нечаев.

— Здесь — еще нет: промзона кругом.

— А по тротуару? Леш, поздно уже. Давай скорее, все домой хотят. — Интонации Нечаева стали жалобными.

Алексей вздохнул, сдал назад, пока автопарковщик, почувствовавший машину сзади, не заверещал, выкрутил руль до упора вправо и начал потихоньку двигаться почти перпендикулярно потоку машин. Водитель слегка постукивал по рулю, короткими сигналами пытаясь разогнать машины справа. Те недовольно дергались вперед-назад в очень ограниченном пространстве, пропуская наглеца; некоторые возмущенно гудели в ответ.

— Да заткнись ты! — орал им, не открывая окон, Нечаев. — Набрали унитаза — хрен по городу проедешь.

Наконец Алексей уперся в какую-то белую иномарку, которая, казалось, не собиралась реагировать на его призывы. Он чуть настойчивее бибикнул, однако реакции так и не последовало.

— Ну сдай ты назад чутка, — вполголоса сказал водитель.

Машина не двигалась. Тогда Леша открыл окно и высунулся:

— Ну сдай ты назад чутка!

Через лобовое стекло было отлично видно, что окно иномарки тоже открылось и в нем появилось усатое лицо:

— С хрена ли вдруг? Ты че здесь — самый умный, что ли?

Слова усатого не на шутку разозлили Алексея.

— А ты здесь самый умный, что ли? Сдай, говорю, назад, не быкуй!

— Сам не быкуй! — ответил усатый и демонстративно поднял стекло.

— Вот козел! — тихо выругался Нечаев.

— Сейчас я!

Алексей распахнул дверь и выпрыгнул из машины.

— Леша, не надо! — вслед ему крикнул Валерий Константинович, но водитель его уже, похоже, не слышал. — Не связывайся ты с этим быдлом!

В это время Алексей подошел к белой машине, сильно ударил ладонью по капоту и пнул переднее колесо. В ответ из автомобиля выскочил усатый. Он что-то закричал нечаевскому водителю, но из-за закрытых окон слов было не разобрать. Алексей недолго слушал оппонента, в какой-то момент резким ударом головы двинул ему в нос, и у того сразу брызнула кровь. Он схватился левой рукой за лицо, а правой все-таки попытался стукнуть Алексея в ухо. Леша перехватил руку и крутанул ее так, что усатый сложился пополам.

— Ой-ой-ой! — воскликнула наблюдавшая за дракой Степанида Аркадьевна. — Что же это делается-то, а?

Тут все машины, стоявшие перед белым и слева от застрявшего нечаевского «крузака», дернулись вперед, высвободив немного пространства, и теперь уже те, кто оказался сзади, нетерпеливо начали сигналить драчунам. Возбужденный Леша метнулся к кому-то из особо ретивых, резко сказал что-то и вернулся к усатому: тот уже распрямился, но продолжал размазывать руками по лицу кровь. Леша говорил ему еще что-то, порывисто дергая подбородком, потом развернулся и направился к своему джипу. Усатый тоже поспешно сел за руль и проехал вперед, освобождая дорогу.

Алексей обогнул белую машину, поравнялся с ней, открыл окно и смачно харкнул на лобовое стекло сопернику. После этого, бибикнув, сдал вправо и с усилием перевалил через бордюр. Оказавшись на почти пустом тротуаре, джип быстро набрал скорость и за несколько секунд доехал до трамвайных путей, где чуть притормозил, так что все пассажиры смогли увидеть аварию. Трамвай, действительно, был протаранен какой-то невнимательной красной машинкой, из-за чего у машинки теперь в гармошку был смят весь передок, а трамвай, судя по неестественному расположению вагона, сошел с рельсов.

— Это сейчас до утра... — спокойно и тихо прокомментировал Алексей.

— Леша, не делай так больше, ладно? — так же спокойно сказал Нечаев.

— Хорошо, Валерий Константинович!

— Ну, вообще-то, не понимаю, чего он стоял — не мог, что ли, сдать? — вступилась за Алексея Степанида Аркадьевна.

— Я ему, главное, по-человечески говорю: не быкуй! — Леша посмотрел в зеркало, ища глазами Степаниду.

— Ладно, ладно! Наказал — и все, молодец! — перебил Алексея заерзавший Нечаев. — Давай быстрее, Леш, домой уже всем надо.

Дальше машине ничего не мешало — «крузак» понесся по городским улицам, лишь слегка притормаживая перед светофорами. Так же стремительно он вылетел на один из городских мостов, быстро преодолел его и, едва оказавшись на противоположном берегу, свернул в какой-то проулок: Алексей знал более короткий путь к дому Степаниды. Покружив по левобережным новостройкам, он наконец оказался около нужного здания. Но неожиданно для всех Нечаев не дал Алексею захватить во двор, как обычно.

— Мы вас около магазина высадим, Степанида Аркадьевна, ладно? — Валерий Константинович похлопал Лешу по спине, отдавая таким образом команду остановиться, и стал нетерпеливо дожидаться, пока неуклюжая и грузная руководительница ДК выберется из машины.

Та с трудом вылезла и тут же начала мило улыбаться и махать на прощание ручкой пассажирам. Впрочем, смотрел на нее только Дмитрий: Леша искал глазами место для разворотного маневра, а Нечаев всматривался куда-то в пустоту. Вот автомобиль кандидата развернулся и стал выруливать к ближайшей улице, чтобы направиться к другому мосту.

— Валерий Константинович... — начал было Дмитрий, посчитавший, что теперь, когда в салоне нет назойливой и сующей всюду свой нос Степаниды, он сможет продолжить обсуждать с кандидатом текущие планы, однако визг Нечаева заглушил его:

— Заткнись, Дима, не сейчас! Гони, Леша, давай... У-у-у, как ссать охота!

Услышав слова шефа, водитель, напротив, притормозил:

— Может, в кустики куда-нибудь, Валерий Константинович?

— В какие кустики, дурак?! — так же визгливо оборвал Нечаев. — Что я тебе — бомж, что ли? Газу давай!

Леша кивнул и прибавил газу. «Крузак» летел по кривым улочкам Левобережья, шустро пробираясь к выезду на второй мост. Оказавшись перед ним, машина встала на красный свет светофора. Валерий Константинович тихонько заскулил, и Дмитрий невольно повернулся к нему. Вид у кандидата был жалкий: глазки бегали, на лбу выступили капли пота, а сам он будто уменьшился в размерах.

— Лешка, гад, гони давай, сука!

Алексей не стал дожидаться зеленого света — едва увидев, что помех движению машины больше нет, резко вдавил педаль газа в пол. Джип взревел и выскочил на мост. За окном замелькали фонари, богато украшавшие мостовой переход; впереди виднелся правый берег, центр города.

— Стой, короче, Леша, стой! — вдруг закричал Нечаев.

— Нельзя здесь, Валерий Константинович, это ж мост! — отчаянно возразил водитель.

— Стой, говорю, я сейчас обоссусь!

Выполняя требование шефа, Алексей сбросил скорость — при этом в него чуть не влетела пристроившаяся сзади легковушка — и начал выискивать просвет, чтобы втиснуться между машинами и проехать в крайний правый ряд.

— Леха, сука, я тебя уволю! — уже шипел Нечаев.

Водитель невозмутимо лавировал, пробираясь к краю моста.

— Все, капец! — наконец промолвил Нечаев.

— Что, Валерий Константинович? — Алексей оглянулся на шефа и, все поняв, тем не менее спросил: — Тормозить, нет?

— Да все уже! — обреченно выдохнул Нечаев. — Вези домой, к подъезду!

Услышав последние слова, Дмитрий вжался в кресло и закрыл глаза. От пережитого свидетельства кандидатского конфуза он готов был провалиться сквозь землю и сгореть со стыда одновременно. Леша украдкой посмотрел на него и мерзко улыбнулся.

Машина вернулась в крайний левый ряд и продолжила свой путь по направлению к нечаевскому дому. «Крузак» ехал быстро, только теперь в его движении не было суеты. Сидевший сзади Нечаев выдавал невнятный поток матерщины, комментируя случившееся с ним, но время от времени переходил на отчетливую речь:

— Вот, Леша, кто тебя просил с этим мудаком связываться? Время терять? Эта еще, сучка! (Дмитрий не сразу понял, кого имел в виду Валерий Константинович.) Нашла себе таксиста...

По салону постепенно распространялся запах свежей мочи. Алексей одним коротким и почти незаметным движением приоткрыл оба передних окна, однако ворвавшийся со свистом ветер сразу все выдал, и матерное бормотание Нечаева усилилось. Он решил еще разок отчитать водителя:

— Алексей! Давай так. Я сказал: «Остановливай!» — значит, все. Стой! Мне плевать, что ты там думаешь и как считаешь. «Стой!» — это значит: стой!

Машина наконец достигла правого берега; по широким и ярко освещенным проспектам и улицам она следовала все дальше и дальше, к престижному тихому кварталу, где находился элитный дом, в котором жило семейство Нечаевых.

— Консьержка же еще... — вдруг вспомнил Валерий Константинович. — Есть вода у кого?

— У меня пустая. — Алексей ловко вытащил пластиковую бутылку из кармашка на двери и показал ее шефу.

— Пустая! — Нечаев выхватил бутылку и изо всей силы ударил ею Лешу по голове. — А чего молчал? Я бы в нее поссал!

— Вы ж не говорили... — растерялся Алексей.

— У меня есть вода, — рискнул подать голос Дмитрий.

Он раскрыл рюкзак, достал наполовину полную бутылку и, стараясь не присматриваться, передал ее кандидату. В нос снова, несмотря на приоткрытые окна,шибануло запахом мочи.

Нечаев нервно открутил крышечку и стал поливать свою голову, пиджак и сухие участки брюк остатками воды. Начштаба не сразу понял, зачем он это делает, но потом догадался, что таким образом Валерий Константинович пытается изобразить попадание под дождь. «Если быстро мимо консьержки пройдет, то даже похоже будет», — подумал Дмитрий.

Джип въехал под шлагбаум, заходя поднятый охранником, сидящим в будке. Алексей медленно прокатил по нешироким аллеям, будто всматриваясь в случайных пешеходов, и остановился около нужного подъезда.

— Поближе подъезд! — скомандовал Валерий Константинович, после зайдем выскочил из машины — не попрощавшись и даже не прикрыв толком дверцу — и юркнул в дом.

Алексей сходил захлопнул дверь и не спеша вернулся на свое место.

— Вот же мудила! — изрек водитель, едва усевшись за руль, и тут же закурил. — Вот засанец-то, а? Нет сразу сказать, намекнуть как-нибудь! Проехали же миллион заправок, кучу кафешек всяких! Чего терпел, спрашивается? Эту высадили — так там, на левом берегу, хоть весь его обоссы!

Дмитрий даже не повернул головы к водителю. Ему начало казаться, что тот тоже пропитался едким запахом нечаевской мочи.

— А на мосту? — продолжал возмущенный Алексей, уверенно крутя руль и регулярно подгазовывая. — Вот с чего он решил прямо на мосту тормозить? Я сам чуть не обосрался! Скорость — за сто, а этот: «Давай тормози!» Вот как я ему заторможу на мосту?.. Теперь еще в химчистку ехать, салон отмывать, сушить...

Дмитрий покорно ждал, когда машина довезет его домой, и никак не реагировал на слова Лешки. Дорога становилась для него уже невыносимой, поэтому в конце концов он перебил шофера:

— Леш, останови, пожалуйста, около гастронома, найду молока куплю.

Алексей понимающе кивнул и ловко подъехал к магазину за квартал от Диминого дома.

— Не работает уже вроде, — пригляделся к темным витринам водитель.

— Пофиг, — ответил Дмитрий. — Прогуляюсь.

Он вышел из машины и зашагал домой, жадно вдыхая влажный осенний воздух. Он шел и понимал, что завтра уже никуда, ни к какому Нечаеву на работу не поедет. «Видимо, придется этот сезон пропустить, отдохнуть с полгодика, — с грустью подумал уже бывший начштаба и вдруг улыбнулся про себя: — Ладно! Все лучше, чем с этим ссыкуном».

Александр РУДЕНКО

ПОЛЫНЬ, ПОЛЫНЬ...

* * *

Из далёка-далека
задувает ветер вольный,
пролетают облака
над высокой колокольней.
И один звонарь честной
шлет оттуда — по канону —
в мир небесный и земной
переливчатые звоны.
Ладя со своей душой,
путь надежды душам дарит;
если час придет — в большой
грозный колокол ударит...

Но, канонам не служа,
чувствовать,
как в братстве кровном
породняется душа
то с косым лучом,
то с громом,
и над храмами посметь
в бликах темноты и света
с облаками пролететь —
это тоже путь поэта.



Полынь

Полынь, полынь шумит,
прильнув к блестящим рельсам.
В полыни облаков пылает полынья.
Полынь, полынь поет мне голосом нетрезвым,
что трезвым забытjem был долго болен я...
Железный путь в степи попал в полон полыни:
подкатится к ногам полынная волна,
и с нею, как любовь забытая, прихлынет
тяжелый аромат полынного вина...
Отстав от скоростей своей судьбы повинной,
один стою, полынь вдыхая глубоко:
мой поезд убежал по колее полынной
и в полынье исчез — в полыни облаков...
Душе, принявшей вдруг полынное причастье,
не защитить своих построенных твердынь:
полынь, полынь поет,
что нет больше счастья —
сойти с блестящих рельс в вечернюю полынь.

* * *

Что за блески,
что за плески
разрывают полумрак?
Это обрывает леску
светлоперый царь-судак.

Это звезды задувает
серебристый ветерок.
Это тянет над Дунаем
с тонким присвистом
нырок.

Это косы
мелей желтых
протянулись к островам.
Это заревые волны
хлещут катер по бортам.

Это ухает о днище
пульс неровный глубины...

Это сердце
гребень ищет
новой жизненной волны —
в солнечном
слепящем створе
свой разгадывает путь:
то ли выйти в сине море,
то ли к берегу свернуть.

* * *

Рассвет с песчаных дюн крадется тихомолком,
и взглядом древних лун, пронзительным и долгим,
глядят глаза совы сквозь ближние деревья...
И посреди судьбы — за ней и перед нею —
стоишь еще в былом под замутненной высью,
но тянешься крылом невидимым за мыслью —
без суетливых смет, без масок и обличий —
на проблеск, на просвет, на тонкий просвист птичий...
Чтоб — ветром по лицу — познать земное время,
но отвечать Творцу на языке творенья.
Чтоб отвечать судьбе — в исканиях взаимных
узнав ее в толпе и в сумерках совиных,
приняв на острие лучащегося дара
короткие ее и длинные удары...

Кощей

Водку пьет, начальство матюкает,
добывает острогой лещей
и глядит, как Волга утекает,
мужичок по прозвищу Кощей.

Отрицательный герой...
И речи,
может, вовсе б не было о нем,
если б здорово не клал он печи —
между браконьерством и питьем.
Если б ветер,
что в карманах свищет,
жадностью Кощея заразил...

Если б не был он похож на тыщи
непутевых мужиков Руси.
Если б каждую весной не слушал,
рот разинув,

шум гусиных крыл...

Если б человеческую душу
до конца в себе изmaterил...

Но пока —
ветвистый дуб над Волгой
до ларца корнями достает —
там яйцо лежит,
в яйце — иголка,
где душа Кощеева живет.

* * *

Молчи, пожалуйста. Вслух — ни слова.
Не наш ли иней осенний снова
прилег на травы и начал таять?
Почувствуй, сколько вместила память
цветов увядших, цветов расцветших...
Давай не будем считать ушедших,
которых здесь не увидим боле:
недолог путь от любви до боли...
С тобою рядом, с тобою вместе
хочу я сердцем дослушать песни
ручьев бегущих, ветров открытых —
за всех отживших и забытых...



Юрий ВИСЬКИН

СОЛНЦЕ И НОЧКА

Р а с с к а з

1.

Это было настолько неожиданно, что Костя замер на месте, и его два раза подряд толкнули шедшие сзади. Потом толкали еще, но он продолжал стоять, в оцепенении глядя на дисплей сотового, где на голубоватом светящемся фоне чернели буквы сообщения, всего два слова... Еще вчера он поставил телефон в режим «без звука» и сейчас достал только затем, чтобы узнать время. А тут, оказывается, вон что!

Наконец Константин опомнился, поднял взгляд на людей, идущих на него и от него меж двух рядов торговых палаток, пестрящих разноцветной одеждой (левый ряд в тени, правый — на солнце), сунул сотовый в карман и пошел, высматривая впереди коричневое пальто жены и все думая: «Не может быть... Неужели...» И вместе с тем слыша, как изнутри волной поднимается радость, придавая ногам легкости, а дыханию — глубины. Сразу обострились все чувства — и вокруг ярче заиграли краски, гуще заголубело небо в редких хрустально-прозрачных облачках, веселее заискрило солнце в лужицах на асфальте, а воздух еще больше посвежел; в мешанину запахов тающего льда, выхлопных газов и мокрых ветвей с набухшими почками на несколько мгновений ворвались ароматы парфюма из проплывшего мимо контейнера со множеством флакончиков на полках.

Костя пел про себя: «Мне хочется ласки и теплого слова, мне хочется женской горячей любви...» — и с наслаждением смаковал этот момент сладостно волнующего ожидания, желая продлить его подольше. Он уже догнал жену и живо, даже с интересом спрашивал, куда бы она хотела двинуть сначала: к женским плащам в китайский ряд или к курткам в кавказский, — но внутренне жил совершенно другим, умудряясь с одинаковой ясностью пребывать и здесь — сейчас, и там — в прошлом годичной давности.

Тогда он, так же весной, шел в одиночестве по рынку — не по этому громадному Левобережному, а по тому небольшому, что у них в Новоселовке. Сигнал сотового тогда был включен, в кармане время от времени звучала мелодичная трель; Константин доставал телефон, останавливал-

ся, читал сообщение, тут же набирал и отправлял ответ, и вереница эсэмэсок все удлинялась и удлинялась...

Первотолчок этой переписке дал телевизор — точнее, музыкальный канал, где в основном показывали клипы, а в нижней части экрана почти всегда чернел прямоугольник с белыми, то и дело меняющимися строками мобильных сообщений от телезрителей, на удивление однообразными: молодые люди предлагали девушкам знакомство для «и/о» — интимных отношений, девушки искали состоятельных мужчин с авто, кто-то изъявлял готовность осчастливить ласками даму средних лет... Попадались и желающие познакомиться с серьезными намерениями, но таких было немного. Переключая каналы, Костя иногда задерживался на этом и читал эсэмэски, надеясь увидеть то, что давно и безуспешно искал в газетных объявлениях службы знакомств: ему хотелось найти женщину такую же, как и он, семейную и такую же внутренне одинокую. Он знал, что это возможно: замужние женщины иногда давали объявления, и он даже как-то раз звонил по одному из них, но ничего не получилось.

Одинокость с годами угнетало его все больше и больше, хотя он был женат уже больше двадцати лет. Женился, еще когда учился на четвертом курсе политехнического института. Даша была родом из деревни, ей было всего семнадцать, когда они познакомились. Костю привлекла в ней, а вернее — затянула, цветущая пышнотелость — в ту юную пору это казалось ему самым важным качеством в женщине. Не высокая — как раз наоборот, небольшого роста, — но со сдобной деревенской дородностью, плюс густой румянец на миловидном лице, голубые глаза и эти пушистые светлые колечки, нежно вьющиеся на висках... Она только что окончила профтехучилище и работала штукатуром-маляром в строительном-монтажном управлении, которое проводило отделочные работы в строящемся доме, куда студентов политеха пригнали «на прорыв». Костя помогал замешивать штукатурку, подавал на козлы тяжелые ведра, а Дарья, ловко, с видимым удовольствием орудуя шпателем, говорила без умолку, то и дело игриво косясь на него и звонко всхохатывая над собственными словами, и эта живость, непосредственность, эта легкость в общении тоже пришлись ему по душе. Друзья посмеялись над ним, а один даже сказал на ухо: «Да ты что, Костян? Такая простота чревата... э-э-э...» Осекся, наткнувшись на его взгляд, и уже без улыбки добавил: «Хотя, конечно, дело твое...»

Костя и впрямь влюбился в Дашу, и ему даже в голову не приходило поразмышлять, какой она человек, поэтому он не придавал значения многому, чему следовало бы придать. Например, тому, что из всех искусств ее интересовали только индийские фильмы, а из книг она читала лишь поваренную. Через полгода, едва девушке исполнилось восемнадцать, они поженились и сразу въехали в отдельную комнату общежития того СМУ, где работала Даша. Жилищная проблема быстро решилась благодаря ее профессии: когда через год родилась дочь, они сразу получили новую двухкомнатную квартиру, а рождение сына — через четыре года — было ознаменовано переездом в трехкомнатную.

Довольно скоро выявилась проблема другого рода — абсолютная неспособность Дарьи понимать людей, какая-то чудовищная внутренняя омертвелость, не позволявшая хотя бы в мизерной степени откликаться на чувства ближнего. Это не было ни эгоизмом, ни черствостью, просто некая отстраненность от всего и вся, заложенная в ней изначально, а Константин не понял этого сразу, не разглядел из-за своей слепой влюбленности. Но потом ему со все большей отчетливостью стало открываться это Дашино существование по неким внутренним законам, простейшим, но делавшим ее недоступной ни для какого душевного контакта. Возникло ощущение, что даже во время разговора рядом с Костей пребывает лишь то, что можно видеть глазами: лицо, руки, ссутулившаяся спина, когда Дарья, например, сметает в совок мусор с пола; а то главное, что отличает человека от прочих живых существ: интерес, участие, чувство единения и тому подобное, — если и есть, то находится невесть где; и возникало сомнение: а было ли в ней все это когда-нибудь?

Жена никогда не слышала его, не слушала и частенько начинала говорить, отвечая не ему, а себе — тому, о чем только что думала. Потом эту ее особенность обострили «перестроечные» девяностые, когда они оба остались без зарплаты: завод, где он работал начальником участка, остановился, а Дашино СМУ больше не получало заказов на строительство. Сыну было всего два года, дочери — шесть, а в доме ни крошки, и Константин метался по городу в поисках любого приработка, искал, у кого бы занять, и всякий раз, возвращаясь домой, заставлял Дарью сидящей у телефона в обнимку с детьми, в ожидании звонка из СМУ. Лицо ее было неподвижно, глаза темны. Он пытался ее расшевелить, она не отвечала и только иногда со вздохом, ни к кому не обращаясь, говорила: «Работы бы... Скорей бы...»

А потом еще и сын заболел — наверное, от плохого питания: исходил криком, ненадолго умолкал и лежал пугающе-белый, с синюшными полукружьями под глазами, и все слабел, слабел... Участковый врач направлял в больницу, но Дарья отказалась. Она вызвала из родной Сухановки мать, та приехала со знахаркой, и втроем они почти две недели выхаживали мальчика какими-то травами, снадобьями... Выходили.

Константин в это время сутками торчал на товарной станции: вместе с такими же безработными ждал вагоны, разгружал мешки с сахаром и мукой. Он надорвал поясницу, но, преодолевая боль, продолжал вкалывать. А Дарья все сидела у телефона, повторяя: «Работы бы...»

Работа со временем появилась, а потом, когда строительство начало стремительно оживать и город на глазах обрастал подъемными кранами, — даже с избытком. Жена стала хорошо получать, но веселость, украшавшая ее в юности, так и не вернулась: осадок гиблых лет, похоже, уже невозможно было вытравить из ее души. А у Кости ничего не менялось: завод стоял. Правда, руководство не возражало против того, чтобы работники во время вынужденных отпусков устраивались в какие-нибудь другие места. Костя и устроился — ночным сторожем в детский садик; зарплата — слезы. И ужасно обрадовался, когда жена впервые принесла



получку неизмеримо большую, чем та, что приносил он. Чувствуя и большое облегчение, и радость, он воскликнул:

— Ну вот мы и выкарабкались! — и предложил: — А что, если нам сообразить тефтели? Можно и сухого винца взять! Давай-ка я схожу в магазин...

Дарья ворчливо ответила:

— Нужны они, тефтели! Никто их, кроме тебя, не ест. — И только он открыл рот, чтобы возразить, резко осекла: — Ладно! Разберусь, что стготовить! Без винца обойдешься...

И дальше уже вела себя как полная хозяйка в доме.

Потом было и хуже: упреки в том, что Костя не может найти нормальную работу, напоминания, что квартиру получала она и квартиросъемщица тоже она... Но тот случай с тефтелями, первый выплеск ее новоявленной властности, запомнился особо.

Сильней ударил только эпизод с книгами. Дарья взялась регулярно, не реже одного раза в полгода, делать ремонт. Денег хватало теперь даже на самые дорогие обои, краску, белила... Ремонт ей был в радость: она всегда любила свою работу; Константин ни разу не видел на ее лице усталости, когда она приходила вечером, — напротив, лицо светилось довольством, как если бы она развлекалась и отдохнула. И все же он не мог взять в толк: делать ремонт чуть ли не каждый квартал — зачем?

Однажды он не выдержал:

— Еще под теми обоями клей не высох, а ты уже новые лепишь!

Даша со злостью ответила:

— Не твоего ума дело!

А когда он пришел домой вечером на следующий день (на заводе временно появилась работа), то увидел, что в его комнате нет самодельных стеллажей с книгами. На вопрос, куда они делись, жена холодно ответила:

— Тебе не нужен мой ремонт, а мне не нужны твои книги.

Костя онемел. Смотрел, как она, стоя на табуретке, выдавливает на стену из большого тюбика белого червяка шпаклевки, слышал ее негромкий голос:

— Это когда-то на книги была мода, считалось — красиво... А теперь такой моды нет...

Он долго не мог вымолвить ни слова, потом заорал:

— Где они?! Куда ты их дела?!

Дарья не ответила. Константин повернулся к Маше, дочери, которая шпаклевала противоположную стену:

— Ну ты-то, ты-то хоть скажи! Ты же должна это понимать! Неужели и тебе не нужны книги?!

Дочь только пожала плечами:

— А мне-то они зачем? — И ему показалось, что и это произнесла жена, до того одинаковы были их голоса.

Дочь работала в одной бригаде с Дарьей; она не оканчивала училище, просто после девятого класса пошла ученицей к матери и быстро освоила профессию. Они были очень похожи: почти на одно лицо, одного роста, одной комплекции (Маша годам к восемнадцати догнала мать по до-

родности). Из-за молоджавости Дарьи многие принимали их за сестер. Они и одевались одинаково: летом — простенькие платья бесформенного покроя, зимой — темные пальто с дигейковыми воротниками, весной и осенью — пальто демисезонные, уже разного цвета, но фасона опять же одинакового. И неизменные платки, которыми жена и дочь закутывали голову, завязывая их сзади: то серые пуховые, то цветастые матерчатые. Когда Маша и Дарья шли рядом, шагая размеренно, с легкой раскачкой, их можно было принять за сельских жительниц, по какой-то надобности приехавших в город. Но Константина это не отталкивало и даже чем-то нравилось, что-то милое виделось ему в этом. А вот со временем отковавшееся в них солидарное отношение к нему — этакое спокойное равнодушие с легкой примесью недовольства, как если бы он был для них не отцом и мужем, а, к примеру, нерадивым квартирантом, — это он переносил с трудом. Сначала безуспешно пытался повлиять на них, потом терпел, но после «книжного эпизода» задумался всерьез.

Видно, пора уходить. Но куда? И на что жить, когда работы так и нет? Конечно, если бы Дарья напрямую гнала его, он бы ушел, приткнулся бы на время у матери, а там, глядишь, что-то бы и нашлось. Сам же он, как ни тяжело было, пока уходить не хотел: какая-никакая, а все же семья. Ну и сын ведь еще был, Олег, — совершенно не такой, как Дарья с Машей; правда, и на отца похожий только лицом, а в остальном ничего общего: какой-то апатичный, вялый. Дарья купила ему к тринадцатилетию компьютер, и он так и играл на нем все свободное время уже третий год.

Вот с такими жизненными итогами подошел Константин Емельянов к тому моменту, когда стал читать эсэмэски в чате музыкального телеканала.

2.

Однажды, в один из дней узаконенного безделья, он сидел в одиночестве перед телевизором, от нечего делать переключал каналы и, как обычно, задержался на музыкальном. А там в череде штампованных сообщений в черном прямоугольнике вдруг появилось одно, заставившее Костю мгновенно схватить ручку и записать на полях газетной страницы со сканвордом номер сотового телефона. Он шел после слов: «Женщина тридцати пяти лет, замужем, ищет человеческого общения. Только SMS».

Оторвав клочок с номером, он сходил в другую комнату, взял свой сотовый (бэушный, выданный на заводе — единственно для того, чтобы начальство могло найти Константина в любой момент, если вдруг появится работа). Настучал кнопками на дисплее: «Привет!» — и отправил. Минут через пять телефон издал мелодичную трель, и Костя прочитал: «Привет! Я Анна, жгучая брюнетка. Хочется доброго душевного общения, а не скотских и/о».

У него радостно дрогнуло в груди, впервые за долгое время он улыбнулся. И написал: «Солидарен. Был бы рад знакомству с серьезной женщиной. Константин».

Она ответила: «Не знаю, права ли, но жду чего-то живого и яркого. Устала от однообразия, обыденность убивает».

Его удивило, как точно она сформулировала то, чему он сам не находил определения. Усталость от однообразия. Да-да, вот именно!

Так завязалась их телефонная переписка. Сначала Анна рассказала о себе, а он — о себе. У нее двое детей: дочь-старшеклассница от первого брака и шестилетний сын — от второго. Муж — подполковник милиции, служит на Чукотке, откуда сама Анна недавно вернулась, выдержав там только год.

«Последний раз он был здесь девять месяцев назад, — писала она. — А через полгода, где-то в начале октября, вернется насовсем. Он деспот, но любит меня. Любовь у нас однобокая: только с его стороны. С первым разошлась, потому что бил и бил. И у этого рука тяжелая, я его боюсь. Живу с ним только ради сына».

И дальше пошли пулеметные очереди эсэмэсок, которые напрочь разметывали однообразие. Усталость стремительно утекала, сменяясь бурно прибывающей энергией.

Анна писала: «Осел фундамент, крепок дом, а то, что понято с трудом, то нам дороже...»

Константин отвечал: «Браво! Сама?»

«Я еще и вязать могу, и крестиком вышиваю, и вообще я королевишна хоть куда, в полном расцвете сил! Шутка. Ты как к юмору?»

Но летели от нее и нотки отчаяния. Раз написала: «Жизнь разбита пополам, хрупкое стекло, исправления ошибок время истекло».

Костя призвал на помощь студенческий опыт сочинения рифмованных поздравлений и ответил: «Но взгляни вокруг скорей, солнцу улыбнись — и почувствуешь тогда, как чудесна жизнь!»

Ему тут же прилетело: «Солнце ты золотое! Оживляешь и греешь!»

Она так и стала его называть — Солнце. А он, памятуя о том, что она жгучая брюнетка, называл ее Ночкой.

Потом были и другие рифмованные строки, и настоящие стихи. «Люблю рубаи Омара Хайяма, — писала она. — “Пусть буду я сто лет гореть в огне, не страшен ад, приснившийся во сне; мне страшен хор невежд неблагородных, — беседа с ними хуже смерти мне”. Здорово, верно? А ты читал Хайяма?»

«Мне больше нравятся газели Джамии. Но наизусть процитировать не могу, а книг у меня больше нет».

«Куда же они делись?»

«Долгая история, при встрече расскажу. Пойдешь со мной в театр?»

Он отправлял и читал эсэмэски дома, на улице, в магазинах. Когда в кармане раздавалась знакомая мелодия, его сердце сладко замирало; он нарочно медленно вынимал телефон. И как же славно было ощутить в руке после нажатия на кнопку упругое вибрирование, похожее на то, с каким вытаскиваешь пойманную на удочку рыбу, и смотреть, как на дисплее закручиваются спиралью и рассыпаются, исчезая, серебристые звездочки, а потом появляются черные буквы слов...

Переписка длилась почти два месяца, до середины мая. Костя был вынужден занимать деньги на сотовый, а потом и сотового не стало: его пришлось вернуть заводу, поскольку Константина неожиданно сократили в числе многих других. День за днем он обзванивал в поисках работы сначала все подряд предприятия по справочнику, потом своих институтских друзей. В конце концов один приятель позвонил в ответ и сказал, что его знакомому срочно требуется хороший специалист в фирму по поставкам сварочного оборудования. Константину положили солидный оклад и сразу выдали аванс.

Он купил новый сотовый и впервые позвонил Анне.

— Аня, — сказал он, прижимая к уху телефон. — Это Костя. Привет.

— Ой, Солнце! — обрадовалась она. — Куда ты пропал?

— Были кое-какие дела. Ну так как насчет похода в театр?

— А можно! Только скажи когда.

На другой день он ждал ее на площади у театра. Солнце уже низко стояло над крышами, хотя светило еще ярко, искрясь в витринах супермаркета напротив и в стеклах киоска «Роспечати» на автобусной остановке, с которой Константин не сводил взгляда.

Но Анна пришла пешком. Он узнал ее сразу, как только она появилась из-за угла старого, с квадратными кирпичными столбами и железными прутьями-пиками, ограждения сада. Она была, как и предупреждала, в коротком белом плаще и округлых тонированных очках. Короткая стрижка, полноватые, но стройные, красивые ноги, симпатичное лицо... Немудрено, что от мужиков отбоя нет!

Подойдя ближе и увидев Костю, Анна улыбнулась и сказала просто: — Это я.

Пока поднимались по ступенькам крыльца, проходили между колонн к дверям театра, Костя рассказывал Анне, как последние три недели вникал в новую работу, трудился без выходных, каждый день возвращаясь домой к ночи. Он уже не чувствовал волнения, ему стало легко, радостно. И какое-то томительно-сладостное чувство все росло в нем с той секунды, как он вдохнул запах ее духов, ощутил исходившую от нее свежесть, нежность, что-то еще, таившееся в изящных очертаниях мраморно-белой и необыкновенно мягкой руки с розоватыми облатками ногтей, которой он коснулся, когда она отдавала ему свой плащ у гардероба; в молодом, почти юном лице с гнутыми бровями, чуть курносом носом с милой картошкой на кончике, с живыми глазами, глядевшими на Костю сквозь очки открыто и весело; в скульптурно выточенной шее, охваченной ожерельем из черного жемчуга, и ложбинке груди в глубоком вырезе бархатисто-черного вечернего платья, — словом, не поддающееся никаким рациональным истолкованиям и описаниям качество, именуемое женственностью и почему-то обошедшее жизнь Константина. И это при том, что женщины подобной внешности были не в его вкусе и при других обстоятельствах он, скорее всего, даже не обратил бы на нее внимания! Как, наверное, и она на него.

Но сегодняшние обстоятельства были особыми, их обстоятельствами, и разговор между ними, когда они стояли среди людей в театральном фойе, тек легко, сам собой; глядя на них, можно было подумать, что они хорошо знакомы. В сущности, почти так и было: за время своей телефонной переписки Костя и Анна успели не только многое поведать друг другу о себе, но и вместе прожить пору знакомства, все более укрепляющегося и переходящего в заочную дружбу. Во всяком случае, в их эсэмэсочных отношениях уже случались и легкие раздоры, быстро сменявшиеся примирением, и диалоги с острой, волнующей начинкой, которые всегда затевала она: «Посылаю тебе на ночь легкий нежный поцелуйчик», — и которые она же и обрывала: «Ну что ты такое пишешь! Забыл, что я одна, без мужчины, уже целых десять месяцев?» И сейчас их разговор был, по сути, продолжением налаженного общения, просто перенесенного в иные условия.

А они, эти условия, как нельзя более подходили и ему, и ей. По тому интересу, с которым Анна разглядывала разноцветные афиши, фотографии и портреты актеров на стенах, видно было, насколько ей здесь по душе. Константин подумал: «Давно, должно быть, не была в театре». Оказалось, так и есть: не была несколько лет, как ни жаждала, — мужа тянет только в кабаки. Константин бывал, хоть и без жены: институтский друг, не пошедший в инженеры, а ставший журналистом и театральным критиком, иногда снабжал его пригласительными билетами.

— Что ж на Чукотке-то не пожилось? — спросил Костя Анну, когда уже сидели в зале.

— И вспоминать не хочу! Эта сплошная зимняя ночь, месяц за месяцем... А я люблю день, свет, солнце!

— А я когда-то мечтал побывать на Чукотке. Мне даже хотелось уехать туда жить. Так и не получилось...

— Ничего не потерял!

— И все-таки желание повидать эти золотиносные места у меня остается до сих пор... А кем он там, муж-то?

— Заместитель начальника райотдела. Деньги зарабатывает на новую квартиру. А мне там дела не нашлось — с моим текстильным институтом. Здесь, конечно, тоже не разгонишься: вся легкая промышленность загублена. Еле устроилась менеджером на оптовом рынке. Работа невыносимая для меня, но пока держусь...

На них уже шикали, потому что свет в зале погас и медленно разгорался на сцене.

Разговор продолжился в антракте, в буфете. Они сидели за столиком и пили кофе, она — с пирожным, он — с бутербродом. И Константину казалось, что в его жизни никогда ничего подобного не было, что он до сих пор только в кино видел, как двое вот так сидят за столиком... Он подумал: «Тяжко будет с ней расставаться».

— Пока муж далеко, я живу спокойно, — говорила Анна. — А придет — как напьется, будет скандалить, руки распускать...

— Даже без повода?

— Повод для него — сам факт, что я без него оставалась.

— А тебе, как ты писала, так хочется «пошапоклочить»!

— Ага! — засмеялась Анна, откусывая пирожное. — Не терплю скуки, серости! — Тут она посерьезнела. — Но с ним — постоянная тоска... Ревнует все время ужасно!

— Говорят, лучше быть обижаемым, чем обижающим.

— Но когда тебя обижают незаслуженно, тоже ничего хорошего.

Я понимаю, надо молиться за обижающих и гонящих нас, но...

Она, не договорив, замолчала, и Костя спросил:

— Как у свекрови-то со здоровьем?

— В больницу положили. Хожу к ней каждый день.

— Ну ты героиня!

— Для меня помогать — естественно, делать людям приятное — удовольствие.

— Прямо в полном соответствии с учением Аристотеля.

— Раз ты говоришь — так и есть. А куда твои книги делись?

— Да... Не хочу об этом. Лучше анекдот расскажу театральный, слушай...

Потом они снова сидели в зале, смотрели второе действие истории о больном одиннадцатилетнем мальчике, которому оставалось жить не больше двух недель, и поэтому каждый день он считал десятилетием...

— Просто до слез пробирает! — сказала Анна, когда вышли на улицу. Было уже темно, горели фонари, светились окна в домах. — Никогда бы не подумала, что это такой хороший театр... Спасибо, Солнце!

3.

Следующая встреча случилась в начале июня, ясным солнечным днем, в воскресенье; это был первый Костин выходной на новой работе. Они с Анной стояли на набережной у моста, уже вволю нагулявшись и наговорившись. Он опять пьянел от запаха ее духов и волос, от нежности руки, которую держал, пропуская свои пальцы меж ее пальцев и бережно их перебирая. С реки легкими порывами тянул ветерок, обдавая лицо сыроватой свежестью; дрожали, искрились, разбегались солнечные блики на светло-зеленой рябящей воде, по которой скользил голубой катер с белой рубкой. Все вокруг виделось Константину по-новому ярко и красочно, голова слегка кружилась. Поглядывая на тонированные очки, за которыми из-за солнечных отсветов почти не было видно глаз Анны, на переливающиеся на солнце короткие завитки ее смоляных свежеподкрашенных волос, он слышал частый стук своего сердца, прибойный шум пульсирующей в висках крови и жадно ловил каждое слово, не вполне веря, что это происходит с ним наяву. Мгновениями накатывал настоящий страх, что сейчас все исчезнет и больше никогда ничего подобного не случится.

Анна жаловалась, как много несправедливости ей приходится терпеть от начальства на работе. Константин сочувственно кивал и в шутку пригрозил:

— Правоохранительные органы бы на них натравить!

Она вдруг встрепенулась:

— О, я же фото захватила! Как услышала «правоохранительные», так и вспомнила, — высвободила руку из его ладоней, открыла висевшую на плече, сверкающую на солнце черным лаком сумочку, достала снимок: — Вот, смотри!

На фото была она сама, ее дочь — почти взрослая девушка, ее сын — стриженный «под чубчик» маленький мальчик в матроске... И ее муж — смурной коренастый человек в милицейской форме, показавшийся знакомым.

Вглядевшись, Костя его вспомнил.

...Четыре года назад стачечный комитет их завода организовал акцию протеста. Рабочие, не получавшие зарплату восемь месяцев, валом выкатывали из проходной, на ходу строились и длинной, казалось, нескончаемой колонной хмуро шли по улицам города к центру. Был такой же солнечный летний день. Поражало мертвое молчание идущих, слышалось только шарканье подошв по асфальту. Люди пришли к недавно возведенному из белого камня громадному зданию областной администрации и быстро затопили площадь перед ним. Константин и еще двое начальников участков из других цехов должны были вручить губернатору письмо с требованиями.

Но просторное крыльцо окружали трубчатые никелированные ограждения, сверкавшие на солнце. За ними, на нижней ступеньке, плотным строем стояли в ряд десятка полтора бойцов в камуфляже, в касках и бронежилетах, с автоматами в руках. Зловеще поблескивали поднятые вверх стволы. Вдоль этого строя, заложив руки за спину, прохаживался бронзоволицый человек в милицейской форме. Вот этот самый, с фотографии. Муж Анны.

— Товарищ подполковник, — сказал ему Константин. — Мы уполномочены встретиться с губернатором. Пропустите нас.

Подполковник остановился перед Константином по другую сторону ограждений и, вскинув на него из-под козырька фуражки колючий взгляд прищуренных глаз, негромко сказал:

— Во-первых, товарищ тебе — васюганский волк. Во-вторых! — Он повысил голос, словно предупреждая возражения, и поднял руку с выставленным вверх указательным пальцем. — Никто никого никуда не пропустит. Всё! Свободны!

— Мы действуем в полном соответствии с законодательством, — спокойно сказал Константин. — Наша акция санкционирована. Можем показать документ...

— Ничего-о-о мне-е-е пока-а-азывать не на-а-адо, — тягуче заговорил подполковник, вновь заложил руки за спину и принялся ходить туда-сюда, зло поглядывая на стоящих за ограждениями людей. — Пока-а-азывать они будут... Бабам показывайте! Мне — нечего...

Он говорил безостановочно, в его речи то и дело проскакивали бранные слова, которые звучали невнятно, но легко угадывались. На него



— Ну, не так чтобы очень, но люблю.

Договорились, что Константин встретит ее на конечной остановке автобуса, почти за городом.

— Приеду на велосипеде, — сказал он. — А там посажу тебя на багажник — и двинем на Иртыш.

Он ждал поодаль от остановки, прислонив к березе велосипед. Перед ним свинцово поблескивала на солнце асфальтовая площадка, редкие автобусы и маршрутки останавливались на ней, а когда из них выходили люди, разворачивались и подъезжали к старенькому зеленому остановочному павильончику из фанеры и шифера, возле которого топтались в ожидании рейса новые пассажиры. За павильончиком над бетонным забором высились панельные дома военного поселка, а за спиной Константина шла под уклон пыльная дорога, терявшаяся среди березовых околков. Он ждал долго, уже подумал: «Не приедет», — и пожалел, что не взял сотовый. Но вдруг услышал сзади:

— Эй, Солнце!

Обернулся и увидел Анну. Она стояла, положив руки на руль велосипеда. На ней была красная спортивная куртка, красная, с какой-то черной надписью, кепка-волан, синие с красными лампасами спортивные брюки. За спиной — рюкзак. К раме велосипеда был привязан спиннинг.

— Заплутала немножко, — сказала она, смеясь. — Ну что? Вперед!

Они не торопясь проехали по лесным дорогам, а выбравшись на асфальтовую, понеслись наперегонки мимо дач, пересекли Южный тракт и помчались вдоль засаженных овощами огромных зеленых полей; там под широко раскинутыми паутинистыми крыльями поливочного трактора клубилась, переливаясь на солнце радугой, водяная пыль. Слетели вниз по крутому асфальтовому спуску к селу, немного попетляли по улочкам среди его домиков и наконец съехали с яра к широкой протоке с высокими ивами на берегу.

Анна налаживала спиннинг. Костя, разматывая удочки, сказал:

— Здесь не берет на блесну.

— Смотря у кого, — ответила она, уходя выше по течению по прибрежной тропе в густой осоке. Умело и сильно бросала блесну, крутила катушку то быстрее, то медленнее, и где-то на пятом забросе воскликнула: — Ну вот, а ты говорил! Я же знаю, у них жор!

Вываживая крупную щуку, кричала со смехом:

— Борись, родная, напоследок!

Принесла мокро сверкающую жемчужную рыбину к кострищу среди ив, бросила на траву, весело сказала:

— Помогай! Дров собери!

Пока Костя таскал сушняк, она достала из рюкзака котелок, топорик, вырубил из ивовых ветвей стойки и перекладину, набрала из протоки воды в котелок, приладила его над кострищем и быстро почистила, выпотрошила на газете и разрезала щуку.

— У тебя дергает, — кивнула на удочки, поднося горящую спичку к сухой траве под обломками толстых веток в следах засохшего ила.

Костя спустился по глинистому берегу к воде и вытащил чебачка. Сняв с крючка, бросил ей:

— Для комплекта... Где научилась-то?

— Да первый, пока человеком был, занимался. Брал меня с собой, я и пристрастилась. Потом, на Чукотке, это была единственная отдушина...

Когда сварилась уха, Анна налила ее маленьким черпачком в стальные миски и достала из рюкзака двухсотграммовую бутылочку коньяка с двумя надетыми на горлышко крохотными пластмассовыми стаканчиками.

— Ну что, Солнце, мы с тобой еще не причащались. За знакомство, что ли?

Потом они сидели по разные стороны костра, время от времени подбрасывая в него сухие ветки. Задумчиво глядя на огонь, Анна говорила:

— «Не таи в своем сердце обид и скорбей, ради звонкой монеты клонов не бей...» Как сказано!

От ее коньяка было какое-то особенно приятное опьянение. Константин смотрел на нее сквозь сизый дымок костра и думал, как бы сказать главное, да поосторожней, потактичней — так, чтобы она сразу поняла, но чтобы ненароком ее не задеть.

— Знаешь что... — наконец произнес он.

— А ты? — перебила она, засмеявшись. — Ты знаешь что? Знаешь, например, что у меня за надпись на волане? Я специально такой заказала. На нем написано по-английски: «Солнце».

— А-а... Ну а я, может, сделаю себе трафарет на майку по-французски: «Ночка!» — тоже засмеялся он и сказал: — Послушай, я...

— Не надо, — опять перебила она, поправляя тальниковой веточкой головешки костра; ее лицо теперь было серьезным. — Я чувствую, что ты хочешь сказать, но... Не надо сейчас. Мне очень давно не было так хорошо. Да и ехать пора, еще ведь нужно в больницу к свекрови!

Сказать Анне главное Костя смог только в самую последнюю встречу, уже в конце сентября, в тот день, когда прилетела эсэмэска: «Думала, еще неделя, а он приезжает завтра. Сегодня прощаемся». Он тут же позвонил ей. Они договорились, что она будет ждать его на ближайшей от ее дома автобусной остановке. Константин попросил у директора фирмы машину — тот с большим недовольством отпустил его на полтора часа: как раз шли онлайн-переговоры одновременно с четырьмя заводами, в том числе с двумя зарубежными, — продрался через городские пробки, потратив на них большую часть отпущенного времени, подъехал к остановке, открыл дверцу и крикнул:

— Анна Васильевна!

Вместе с ней к нему повернулись все стоявшие на остановке. Глядя, как она, заулыбавшись, спешит к машине, как трепещет на ней легкое сиреневое платье и колышутся от ветерка изрядно отросшие волосы, как живо и радостно блестят ее глаза (в этот раз на ней не было тонированных очков), Костя почувствовал, что к горлу горячей волной прихлынуло



чувство чего-то своего, родного... Анна легко вскочила в машину, села рядом на переднее сиденье, крепко сжала ему руку, ткнулась носом в плечо. Он срывающимся голосом сбивчиво объяснил, что времени у него нет, быстро повел машину к скверу и там припарковался.

Они зашли в сквер и сели на скамейку. Стоял теплый солнечный денек бабьего лета. Вкусно пахло пожухлой травой и дымком от костров, в которых сжигали опавшую листву.

Костя говорил, с трудом подбирая слова:

— У меня, возможно, скоро кое-что изменится... и появятся перспективы... с жильем и вообще... Понимаешь? Так вот, если получится... если... — Тут он вдруг разозлился на себя, подумал: «Чё мямлить-то?» — и заговорил решительно и твердо: — Получится, не получится — все это можно решить. И я решу! А ты ответь: пойдешь ко мне? С дочерью, с сыном — насовсем? Ну, то есть — пойдешь за меня замуж?

Он замолчал и ждал, глядя на Анну, а она сидела, низко опустив голову, и было видно только, как мелко дрожат ее загнутые ресницы. Она долго не отвечала. Наконец тихо заговорила:

— Ты как-то обмолвился про свою жену, что она, дескать, глупа. Я думаю, это не так. Она живет своим умом, сумела добиться, что вы не бедствуете. У меня бы, наверное, не получилось. Ты не обижай ее, пожалуйста.

Он молча кивнул, мягко взял Анну за плечи, повернул к себе и спросил, заглядывая ей в глаза:

— Ну так как же?

Она отвернула лицо, высвободилась из его рук, произнесла сухо и чуть надтреснуто:

— Что-то мне за тебя беспокойно, — и встала со скамейки. — Начальство тебя ждет, ты опаздываешь, а сегодня потерять работу — раз плюнуть. Давай-ка будем прощаться...

— Я подвезу тебя, — сказал он, тоже вставая.

— Нет. Пойду домой через сквер. Езжай на работу.

— Но ты мне ответь!

Анна вскинула на него взгляд красивых, полных слез глаз и с горькой усмешкой тихо проговорила:

— Я бы, конечно, пошла, но... Он не отдаст мне сына.

— Ого! Как Каренин! У него что, есть такое право?

— У него есть связи.

— Но можно...

— Нет-нет, ничего не выйдет! Ну все. Иди. Спасибо тебе, Солнце! Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты... был... Счастья тебе!

Она быстро приблизилась к нему, коснулась губами уголка его губ, задержалась так на две-три секунды, обдавая его лицо жаром, потом отпрянула, вскинула руку в прощальном жесте, повернулась и, хрустя гравием, торопливо пошла прочь по аллее. Он успел увидеть пролившиеся из ее глаз и сверкнувшие на солнце слезы.

Как-то так получалось, что в каждую из их встреч светило солнце.

Первое время было трудно: Костю очень сильно тянуло к Анне. Несколько раз он не выдерживал, звонил на ее сотовый, но слышал только холодный голос автоответчика: «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети». На эсэмэски тоже не было ответов. Постепенно он свыкся и перестал звонить.

Позвонил только после конкурса, который проходил в большой аудитории строительного института, где заполненные людьми закругленные ряды амфитеатром понимались вверх. Это напоминало защиту дипломных проектов. Претенденты на поставку сварочного оборудования новому железобетонному заводу выходили к доске, расклеивали на ней специально приготовленные, похожие на цветные афиши рекламные проспекты и с указкой в руке рассказывали о своих комплектах оборудования. Константин потрудился не зря: его подбор аппаратов, станков и машин для разных видов сварки и всего прочего, необходимого заводу, оказался самым лучшим, и когда их фирма была объявлена победителем, все аплодировали ему стоя.

— Ну спасибо, брат! — обнимал его на радостях директор. — Честно говоря, не верил, что получится! Все будет, как я обещал: сегодня-завтра оформляем сделку — и десять процентов твои!

Таким образом через два дня Костя стал обладателем целого состояния. Дарье он об этом не сказал, но в банке открыл два счета: один для себя, другой для нее — и положил на них деньги поровну. Теперь он мог свободно купить такую же квартиру, в какой они жили сейчас.

Немного подумав, он снял со своего счета приличную сумму и принес домой.

Взяв пачку купюр, жена спросила:

— Откуда столько? — и посмотрела на него подозрительно: — Ты там ни в какие махинации не ввязался?

«Дура!» — хотел сказать Костя, но вспомнил просьбу Анны и улыбнулся:

— Это честно заработанная премия.

И потянулся, чтобы обнять Дарью, но она, как обычно, оттолкнула его:

— Ладно тебе... Подъезжаешь...

В его личной жизни ничего не изменилось. Зато менялось на работе. После победы в тендере фирма получила несколько очень выгодных заказов. Директор ввел в штат должность коммерческого директора и утвердил на ней Константина, повысив ему оклад в полтора раза. Константин удивлялся своей неожиданной везучести. Он позвонил Анне, но в ответ вновь услышал голос автоответчика. «А в главном-то все-таки не везет», — грустно усмехнулся он и вдруг представил, каково ей сейчас... с тем, бронзоволицым... Что-то острое и зябкое, как зазубренный лед, пришлось по сердцу, и Костя решил: надо найти ее и встретиться!

Он понимал, что нужно хорошенько подготовиться, ведь, если настоящему начать борьбу за Анну, придется столкнуться с серьезными



препятствиями, главное из которых, конечно же, подполковник. Ясно, что с ним мирного разговора не получится, как не получилось тогда, у здания администрации. А Константину хотелось разойтись именно так: мирно, цивилизованно, по-джентльменски. Он посоветовался с юристом фирмы, пожилой, очень опытной в своем деле женщиной, и она полдня сосредоточенно просматривала какие-то документы, а потом, просветлев лицом, сказала, что у Анны есть все шансы отсудить сына, если муж в случае развода попытается его не отдать, и сама вызвалась быть адвокатом в суде. Это обрадовало Константина. Он тут же присмотрел через риелторскую компанию квартиру — трехкомнатную, в хорошем месте. Потом нанял частного детектива, чтобы тот как можно быстрее раздобыл ему адрес Анны.

Провел и предварительный разговор с женой.

— Слушай... — сказал он, когда они были на кухне вдвоем. — А если я уйду?

— Что? — Дарья обернулась от плиты.

— Я говорю, если я от тебя уйду, как ты к этому отнесешься?

Она, вскинув голову и уперев руки в бока, резко ответила:

— Ой, ну надо же, он меня напугал! Нашел чем достать! Иди! Я только рада буду!

— Так, может, мне прямо сейчас уйти? — сказал он, глядя в ее зло блестящие глаза, и подумал: «Скажет: уходи — сразу уйду!» Но она ничего не сказала, только отвернулась к плите и, сильно скребя ложкой, стала мешать лук на сковороде.

А на другой день предложила, настороженно глядя на него исподлобья:

— Ты вот что... Вместо того чтобы плести всякую ерундень, хоть раз помоги. Надо одежду новую купить на лето Машке, мне, да и тебе тоже. Завтра воскресенье, давай-ка съездим в «Торговый город»...

И вот он идет за женой по торговым рядам, уже нагруженный пластиковыми пакетами с одеждой. Вокруг торжествует весна. Примерно год прошел с тех первых эсэмэсок от Анны и полгода — с их последней встречи.

Телефон снова оживает. Константин уже снял его с «бесшумного», и в кармане раздаётся короткая мелодичная трель. Он знает, что это опять она. Перед глазами стоит первая сегодняшняя эсэмэска, всего из двух слов: «Привет, Солнце!»

Он отстает от жены, берет пакеты в одну руку, другой достает телефон и на ходу читает: «Ну что же ты, Солнце?! Почему не отвечаешь? Я так соскучилась, мне так много надо тебе сказать! У меня большие перемены, наверное, важные и для тебя... Отзовись!»

Он отзовется — чуть позже. Вот сейчас они выйдут с рынка, подойдут к остановке, Костя положит на асфальт пакеты — и... Что же он ей ответит? Пока не придумал, хотя уже что-то мелькает...

Ага, может, вот это: «Жизнь подарит нам новые свежесть и свет! Впереди будет все по-другому!»

Алексей ДЬЯЧКОВ

ОТКОС И ОБЛАКО В РЕКЕ

Кулик

*Моему деду
Куликову Петру Владимировичу*

За ночь столько воды утекло,
Что и сам ты течешь, а не куришь...
Тонкой пленкой покрыло стекло
Серебро, что за деньги не купишь.

Поднимается с облаком воз
Или выдоха медленный шарик.
Но без слова оставил склероз,
Или музыка думать мешает.

Как травинка, твой воздух горчит.
Лесопилка запустится скоро
Или Брамса концерт — отличить
Ты не сможешь одно от другого.

На лужайке в саду припечет,
Пустит дерево крону в огранку.
Оцарапает веткой плечо —
И вся кровь утечет через ранку.

Екатерина Клыкова

В саду, где антоновке негде упасть,
Слепая овчарка разинула пасть,
Студентка-училка разулась —
Прошла к очагу, прижилась, как душа.
Осунулась и растворилась, ушла.
О боже! Зачем же вернулась?



За время, что не было рядом тебя,
 Я мир по слоям от себя отделял
 И падал, как дождик, отвесно.
 И вот ты вернулась в запущенный дом,
 Стоишь, улыбаясь, в проеме дверном.
 А я... Я уже не воскресну.

Я — жертва, разрубленный сталью Исак,
 Прохладный источник, который иссяк.
 В саду повзрослела инфанта.
 Кровавую ватку на лоб прилепи —
 Меня богадельня ждет после любви,
 Тьма после второго инфаркта.

Ночные походы, кап-кап и тик-так,
 А утром шипящей глазуни диктант,
 Я не повторяю шипенье —
 Смеюсь, как рахитный, картавлю, как жид,
 Но море в ракушке моей дребезжит
 Протяжней, тревожней, нежнее.

Как небо без тела ждет птицу свою,
 Я жду тебя, жизнь, повторяя: «Люблю!» —
 Но рай нас пугает телами.
 Терраса, Таруса среди облаков,
 К излучине окской тропинка богов,
 Граненый стакан «телиани».

Как легкая радость мне брезжит закат,
 Дом пасеки розов, а лес розоват,
 Угасшая тлеет аллея.
 Другая, ты страх не спешишь утолить,
 Рыдаешь, не можешь меня разбудить.
 Зачем я тебя не жалею?

Студентка

И здесь такой, как вдалеке, —
 Зарос крапивой дом разрушенный.
 Откос и облако в реке —
 Небесный перламутр, ракушечник.

Повис, как желтый лист, вопрос.
 И тянутся простоволосые
 Дымки от пары папирос,
 Пока молчат, потупясь, взрослые,

Которым радость не к лицу.
Они — родные и товарищи.
Оставь вокзальный поцелуй
Конфузливому провожающему.

И сжалившись, махни — пока!
Пообещай понятным почерком
Писать о виде из окна
С платформой пыльной и обходчиком,

С леском опрятным на пути.
Так жизнь пугает переменами.
Так медленно состав гудит,
Как многолюдная пельменная.

Ходасевич

За то, что мы ныряли в речку с мостика
И плавали с открытыми глазами,
За то, что вырезали имя гвоздиком,
Нас не пустили в сад и наказали.

А здесь не рай, идет кино без зрителей.
Вечерний воздух пахнет проявителем.
И тучи в речке утки теребят.
И никому нет дела до тебя.

...такого цвета небо из-за смога.
...с годами мы становимся глупее.
...теперь со мною будет все в порядке.

Восточный порт

Было сказано: люди придут без числа...
Прислонившись спиною к решетке моста,
Проплываю двухпалубных мимо я —
До Берлина турист без пехоты дошел,
Где ряды новостроя, как с белым флажком,
С белым облаком капитулируют.

Как не вспомнить на ветреной Шпрее дедов,
На руинах, в пыли, из своих котелков
Пивших шнапс под бордовыми флагами —
За друзей, за победу любой ценой,

За себя, избежавших с Костлявою той
Встречи. И магаданского лагеря.

Как не вспомнить посылку в разгар боевых
Девяностых — с какао, с пакетом еды —
С разрешенною гуманитаркою,
Полароидный снимок семейства в авто,
Как на шумной толкучке сухим молоком
Торговал, был обманут татаркою.

И — счастливое детство, футбол, променады,
И такое же в сумерках облако над
Обезлюдившей площадью рыночной.
Нет в гостинице с праздничной музыкой мест.
За зеркальной стеной кто-то лобио ест,
Кто-то пьет, в холодец тычет вилочкой.

Как пехоты солдат — сам себе господин,
Без судьбы, без медальки, без звезд, как один
Из немногих — дошедших и выживших,
Я грущу — постаревший, уставший, седой.
Я проплюсь, я проспуюсь, чтоб вернуться домой,
В «Инстаграм» фотографии выложу.

В незашторенных окнах за тихой рекой
Польхают закаты, как вечный огонь,
Отражаются пустоши с безднами.
На воде серебрятся обрывки газет,
Раскаленный турецкий кольшется серп,
Звезды светятся красноармейские.



Валентина ПЕТРОВА

ПТИЧА

Р а с с к а з

В проходную комнату хрущевки, если переоборудовать ее под офис, сядет одиннадцать человек (но воздуха всем не хватит), да еще шесть в маленькую комнату. Сегодня Юля сидит здесь одна и выпивает. На работе треть денег за месяц дают открыто, а остальное — в ладошку и тайком. На справку о зарплате стыдно смотреть. На работе семнадцать человек проводят в квартире целый день, солнечный или дождливый. Но начальник знает дело: он сносит сюда все подарки или же покупает сам — на кухне в баре всегда есть алкоголь. Вечером алкоголь успокаивает, ложится на голову одеялом, а утром будет слишком сухо во рту для бунта.

На середине первого стакана Юля ощущает, что понимает своего начальника, свою мать и всю улицу вплоть до Александровских казарм; после первого — что она молодой профессионал; а к концу второго тупеет так, что и наливает с трудом. Пока не пьешь до шести вечера и после полуночи, ты, считай, держисься. Нам нужна хотя бы маленькая дисциплина, которая поможет не волноваться, если голова кружится. Чистить зубы. Не терять кошелек по пятницам. Носить только чистые штаны.

Юле двадцать пять. Она воздерживается от случайных связей, наркотического угара и растраты всей зарплаты за день, но надеется когда-нибудь наверстать. А пока осваивает энергетику. Сейчас Юля изучает геотермальные электростанции; к завтрашнему полудню должна быть статья.

Она наливает себе еще (завтра будет слишком сухо во рту, чтобы кричать, однако нужно же как-то пережить вечер) и скучает по Ане. Та вообще-то должна сидеть напротив, верстать допоздна и пить то же вино, но сегодня к ней наконец-то приезжает любовник. Удалось вымолить. Сидела бы сейчас напротив Аня, смотрела бы голубыми глазами, может, и бутылка бы кончилась раньше, зато Юля могла бы что-нибудь сказать. Услышать свой голос и получить ответ.

Пока выключается компьютер, она успевает обойти весь офис, проверяя, погашен ли свет и закрыты ли окна, на всякий случай отсоединяет чайник от розетки. Она запирает дверь и дважды дергает за ручку.

Время около десяти. Юля все еще под алкогольным одеялом, оно мягко легло на голову и прикрывает ей уши, так что почти не слышно лая собачки, крика детей, пения старухи между двух эскалаторов. Если бы одеяло еще согревало, Юля была бы полностью счастлива. А так она переминается на остановке и из-под одеяла смотрит на себя. Она заглядывает себе в лицо. «Удобное лицо, — думает Юля, — глаза глубоко в глазницах и брови на их уступе, волосы рамкой. Удобное тело: легко пролезает в щели между запаркованными машинами, между киосками, хотя может пройти и напрямик». Оптимально приспособленное для недели лицо, оптимально приспособленное тело. Юля считает себя эволюционировавшей городской формой.

Подруга Аня — несчастный человек. Она живет одна и целыми днями на стенку лезет, вымаливая себе любовника. Юля — счастливая. Она одна из шестерых: дома мама и двойняшки, бабушка и любимый мужчина.

Они живут в четырех комнатах. Дел хватает всем. Сейчас диспозиция такова: Юля зарабатывает, младшие по очереди ходят в магазин, бабушка готовит, Антон ходит на работу, мама учится ходить. По стеночке, выдыхая, но уже снова ходит. Наконец-то. До этого она три месяца пролежала в кровати, пытаясь двигаться. Юля работала из дома, занималась кухней, убирала, составляла списки покупок, делала внутримышечные уколы и обтирала маму мокрым полотенцем, собирала по дому стирку и развешивала тяжелое белье, драила сантехнику, выносила из-под мамы ведро, не давала ей плакать, растирала ей спину змеиным ядом, который разъедает руки, не давала себе плакать, мыла маме над тазом голову и передевала ее в чистую ночную рубашку.

Как вспомнила, так сразу и устала. Пока Юля ищет ключи от квартиры, она думает: «Войду и сразу лягу на ковер. Пусть все вокруг ходят и уговаривают встать. Разложу волосы по красному ковру и буду слабо дергать ногой». Но из открытой двери сквозняк выносит в подъезд рой белых перьев.

— Это что? — Юля смахивает пух с плеч.

— Мы подушку порвали, — отвечает сестра, стоя в коридоре. — Мы ею дрались, а она порвалась.

— Никак не могут убрать, — откликнулся сдавленный голос.

Юля проходит по красному ковру, к которому прилипли белые перья, чтобы заглянуть в комнату, и обещает дать себе умереть, если мама снова слегла.

— Тебе опять плохо?

— Нет, нет. — У мамы низкий смех, смех из середины груди, он разгорается постепенно, а не вырывается сразу. — Ты такой цирк пропустила! Просыпаюсь оттого, что они ко мне пытаются дверь закрыть, а сквозь нее врываются перья. Бабушка уже спит, иначе бы тут началось.

— Я сейчас переоденусь и поучаствую в хеппинге, — обещает Юля.

Ее комната в конце коридора. Самая маленькая, зато своя собственная. И с рыжими шторами. Диван не застелен, он занимает почти всю комнату, а на нем сидит Антон с ноутбуком на коленях.

- Привет, птичка, как ты?
- Слышал, там младшие подушку разодрали?
- Какой-то шум слышал. Там все в перьях?
- Как в курятнике.

Эту подушку собирала и шила когда-то вторая бабушка — для сына, Юлиного отца, только теперь ни отца, ни бабушки, ни подушки. Все-то от нас убегает. Собрано по любви, на совесть: во всей квартире не нашлось ни стерженька пера, ни единого стебля, за который можно было бы его поднять. Только пух пристал к полу, к диванам, шторам, пух запутался в волосах у близняшек. Пух щедро укрыл салат, который теперь нельзя было есть. Когда Юля пытается сбросить в мусоропровод пушистый, колеблющийся ворох, пакет вдруг взрывается сквозняком. Пух сначала встает белым столбом у крышки, а затем разлетается по подъезду. Ветер, который растревожил его, не дает ему упасть — белые мягкие звезды качаются над полом.

Юля позволяет себе рассмеяться. Смех, расцветающий, вырывается из середины груди, а потом она идет за веником, чтобы еще раз собрать перья.

Выпить после работы на следующий день не удастся: оказывается, вечером деловая встреча. Оказывается, после конца официального рабочего дня начальник возьмет Юлю за руку и повезет к энергетикам. То есть не к энергетикам, а к мужчинам в костюмах: они не то чтобы знают, как вырабатывается энергия, зато умеют ее продавать. Продавать акции компании, продающей энергию. Продавать имидж растущих акций компании, продающей энергию.

Очень удачно, что Юля сегодня хотя бы в рубашке. «Я — молодой профессионал, — молится она за компьютером, а ладонь скользит по мышке, оставляя влажный след. — Я уверена в своем профессионализме. Уверена в своей работе. Уверена в своей неотразимости. Уверенно хочу накачать». Она не чувствует под собой ног: будто встанет — и ноги подломятся.

В шесть по Москве начальник подпирает Юлю плечом и упаковывает в такси; он ездит на такси, потому что всегда хочет накачать. Полчаса до офиса он рассказывает о конференции во Франции. Черт его знает почему. Наверное, убеждает себя, что он старый профессионал.

У начальника сложное отчество и залысины по возрасту в угольного цвета волосах. А еще густые брови. Раз в месяц, например сегодня, он кажется Юле очень сексуально привлекательным. Это, скорее всего, овуляция: именно в этот момент женщин привлекают ярко выраженные самцы, пусть и немного вышедшие в тираж. Юле нравится ехать в такси. Она надеется на хорошую пробку. Или, может быть, предложить ему: «Едем дальше», взять в заложники таксиста и заставить его сначала везти, сколько сил у машины хватит, а дальше толкать и тянуть, пока машина не застрянет на обрыве над рекой — там, где кончается дорога, где начинается ночь, и она наконец потрогает густые брови пальцем.

Офис оказывается стеклянной башней, холл в ней белый, а лифт, судя по блеску, из горного хрусталя. Зелеными дорожками Юля с начальником идут к переговорной. Там за алмазным столом в черном-черном кресле в черном-черном костюме сидит пузатый мужчина с хорошими зубами. Живот не дает ему придвинуться к столу или выпрямиться, поэтому мужчина беседует с потолком.

— Успешный контент, — говорит он потолку. — Разработка инфографики. Система клиентского журнала с отраслевым порталом, экспертиза профильного сообщества.

Все еще молодой профессионал, но она уже оглядывается по сторонам. За фианитовым окном желто светится набережная. Река вбирает желтые блики, унося их под мост. На парапете сидит человек и ест шаурму. Хочется сесть рядом с ним, и откусить от его еды, и дать ему напиток из своей бутылки. Вот это все: стекло и горный хрусталь, алмаз и фианит, белый матовый и белое сияние, мужчина со слишком коротким галстуком, имиджевый проект — не имеет никакого отношения к ее жизни. Не имеет. Одна голова вмещает не более одной жизни, а Юлина уже начата. Складывай ее из грязных автобусов, набережной, шаурмы, из воли сидеть на асфальте — только не отступай. Юля думает о пухе из подушки, летящем, как звезды, навстречу. Главное — не быть молодым профессионалом: лицо порвется.

Чтобы обсудить счета и долги, мужчины отправляют журналистку домой. Юля еле находит выход из башни, заблудившись по дороге дважды, и пишет Антону: «Купи выпить, а не то буду орать. Встреть меня».

Когда она видит его фигуру у подъезда, ее вдруг начинает беспокоить: с каких пор вид мужчины с бутылкой превратился в такой приятный раздражитель? Может, перестать пить после двадцати двух ноль-ноль?

Следующий день был пятницей. Начался он под звездой бабушки. Каждую зиму бабушка приезжала из Читы и устраивала ад: сама маленькая, волосы редкие, как пух на ветру, бессильная, а так хорошо умеет убивать. Или по-другому: трое детей и мама были отлично сонастроены, но бабушка разрывала пространство, свет и звук, перемешивая все. Если она давала в долг, то только под расписку. Еще бабушка генерировала недовольство. Когда пришла ее эсэмэска, Юля как раз пыталась понять: как же сбывают излишки собственной генерации энергии на розничном рынке?

«Юля он все еще спит не вставал вообще», — сообщила бабушка свежие новости из жизни Антона.

«Разбуди его, пожалуйста».

«Мне то зачем. Это ему на работу».

Экран показывал час дня. Ни на какую работу Антон уже не шел, видимо. А Юля подхватила Аню и отправилась обедать. По дороге они не разговаривали: слишком ветрено; обе — счастливая Юля и несчастная Аня — сунули руки в карманы и упрямо шли против ветра. Только в кафе удалось разомкнуть рот, так чтобы губы не треснули.

— Че, как? — одновременно сказали они и тут же уступили друг другу: — Давай ты.

— Вчера опять Миша приходил. Говорит, очень тосковал без меня, спать не мог. А ночью домой ушел, чтобы завтра на работу — в свежей рубашке. А у тебя что?

— Пишет мать моей матери: Антон снова на работу не пошел. А ведь был так счастлив. Всегда, говорил, мечтал поработать кузнецом.

— А что у кузнецов с финансами?

— Проездной, сигареты и не более одной зажигалки в месяц.

— А выгони его. — Аня легла на стол грудью, волосы упали вдоль тарелки и немного в нее. — Зачем тебе он?

— Ну что ты? Забыла, что ли? Я же счастливая женщина. И мама наконец-то на ноги встала, и бабушка в гостях, и любимый мужик из Архангельска приехал. И повысили зарплату, чтобы содержать всю коуду. Как я ликовать-то буду?

— Да, как же я забыла-то? Жизнь — веселый карнавал. Правда, жизнь — веселый карнавал?

— Конечно, — подтвердил официант.

В руках он держал две тарелки и две чашки кофе, отчаянно пытаясь это не уронить.

Сначала нужно найти баланс, чтобы твое счастье не сломало тебе шею, чтобы не упасть под его весом, а потом уже можно смеяться. Юля подумала: «На шесть человек четыре комнаты — где бы найти место, чтоб поплакать от радости?»

— Сегодня пьем?

— Конечно.

Вечером оказалось, что белое вино уже кончилось и красное кончилось, поэтому пили коньяк всей конторой. Десять человек бессемейных или беспечных еле влезли на узкую кухню.

Домой Юля ушла рано: работать среди общей пьянки было очень уж... жалостно. По дороге она купила вина, чтобы выпить его с семьей. Две бутылки. Если руку втянуть в рукав, то ветер по ней не хлещет, пусть и раскачивает пакет. Если бы еще втянуть голову в плечи, то, может, по ней не так будет сильно бить.

Она собрала бы всех возле мамы, но бабушка уже ушла спать, Антон — черт знает куда, а младшие — в кино. В квартире темно. Юля, сидя на полу, выпивает, а мама — мама гладит ее по плечу.

Мамин диван бесшумно расстелен уже несколько месяцев. Ложка для болеющего человека что-то вроде острова, на котором он живет: вместо душа — обтирания лежа, вместо прогулки — открытое окно. Иногда мама жалобно смотрит в окно. Ей впервые в жизни хочется гулять. Юля рассказывает ей о деловой встрече, о пятнице, о диком ветре сквозь улицы — будто в степи живешь.

— Я не хочу быть молодым профессионалом. Я лучше совершу какой-нибудь подвиг. Можно, мама, я совершу подвиг?

Если маме нельзя сказать то, что думаешь, вообще непонятно, зачем вам она.

— Лучше не надо. Ты же маленькая птичка. Зачем тебе подвиг?

— Чтобы как-то провести время. Или, может, семью заведу. Хочешь внуков?

— Я пока что с детьми не наигралась. Да и от кого будешь рожать?

— От Антона, вестимо. Он же здесь.

— Что-то его нет здесь. И здесь ничего его нет. Он напивается, он вонючий, ничего не делает. Он противный.

Дочь смотрит на мать круглыми глазами. Как же так? Ведь всегда было — «главное, чтобы тебе нравилось». Мама двигается к краю дивана и кладет голову ей на плечо. Она сорвалась.

Юля тоже хочет сорваться:

— Пойду на кухне посижу, пока никого нет.

— Извини. Побудь со мной чуть-чуть, я сказала лишнее, я нечаянно.

— Но ты же так думаешь?

— Какая разница, что я думаю?

Щелкает замок в прихожей: возвращаются младшие; потом возвращается Антон; бабушка просыпается среди ночи и идет пить чай: она никак не сменит часовой пояс. Всюду зажигается свет, шумно закрываются двери и дверцы, в ванной кто-то заперся. Антон включает музыку. Соседи включают музыку. Этой ночью никто не спит. Юля понимает, что не сможет провести здесь субботу, а идти некуда. Нет никаких сил говорить, смотреть в глаза, кивать, слышать шепот. Если не сойдет с ума, завтра она сорвется.

Надо найти для себя остров, даже самый маленький, — хотя бы подушку на голову надеть.

На следующий день она готовит рыбу с картошкой. Никто не откажется от рыбы с картошкой. Это мягкая еда, нежная и горячая, в самый раз для зимней субботы. За рыбой Юля бежит сама, и не в ближайший магазин, а в дальний.

Когда обед готов, она сама раскладывает его по тарелкам. Она очень старается, чтобы и рыбы, и картошки, и бульона — всем поровну. С тех пор как Юля читалась о сталинских лагерях, у нее на этом небольшой сдвиг. Будто кто-то не выдержит и не выживет, если ему не хватит еды.

Все едят за столом, только маме Юля несет поднос к дивану. Раньше поднос было страшновато ставить на мягкий диван, теперь же она привыкла: должно бы упасть, но не падает, не падает, наверное, дивану можно доверять.

— Прости, мам.

— За что?

— А вот за это.

— Главное, чтобы тебе было хорошо, — твердо говорит мама.

Она подпирает голову одной рукой, чтобы есть второй, и кажется, что она задумалась над едой.

Сама Юля сегодня обходится без обеда, хочется только чаю. Целая кастрюля разошлась по тарелкам без остатка, а она не чувствует никакой радости от того, что кормит свою семью. Просто ест пирожок с черемухой и ждет.

Бабушка сдается первой:

— Пойду прилягу, очень спать тянет.

— Вы, как всегда, правы, Татьяна Валерьевна, — зевает Антон.

Брат с сестрой благодарят одновременно и из-за стола выходят тоже вместе. По случаю уплотнения они живут сейчас в одной комнате, которую до сих пор называют детской, и туда вроде бы и прячутся.

Пока Юля моет посуду, вода у нее течет тонкой-тонкой струйкой, чтобы не мешала прислушиваться. И все равно вода затекает прямо в рукава. Ей кажется, что стоит принять воду как должное: она так сегодня перед всеми виновата, но сердце просит острова, хотя бы временного, пока его не размоет прибой.

Домыв посуду, она выходит из кухни. Квартира молчит. Юля заглядывает во все двери. Бабушка укрыта одеялом и громко храпит. Внуки за глаза называют ее «тигром в клетке». Антон не дотянулся до одеяла и лег, как был, поперек кровати. Свет он не выключил, лампа высвечивает золотистые волоски на животе. «А хороший все-таки мужик, — умиляется Юля, — когда спит и молчит».

Двойняшки уснули влетом, как не ложились, наверное, лет с трех, когда они жили в комнатке с высоким потолком и спали все вместе. Вряд ли они легли так специально, скорее просто попадали — как рассыпавшиеся из короба спички.

Мама по-прежнему лежит на животе, только положила голову на скрещенные руки. Около дивана мамы Юля долго стоит на коленях; как когда-то в детстве, она прислушивается и вглядывается в тревоге: дышит ли? не умерла ли во сне?

— Прости, мам, мне сейчас хорошо.

У Юли осталось еще снотворное, если бы она вдруг захотела уснуть, но сегодня она не ляжет до утра. Она проходит по комнатам, выключая всюду свет и задергивая шторы. Как минимум на двенадцать часов она будто бы одна. Можно сидеть посередине коридора и никому не мешать, принимать ванну сколько угодно, рыдать в полный голос, смеяться из сердцевины груди. У нее двенадцать часов, чтобы быть маленькой птицей, которая, уже падая, по ломаной линии садится на дерево, открывает клюв и издает писк, прося, чтобы над ней хоть кто-нибудь сжался.

Александр ТИТОВ

СТРАСТИ ПО КАРТОШКЕ

Р а с с к а з

В деревне Тужиловке настоящий потоп. Тысячи больших и малых луж расплзлись по лугам и окрестностям. Дождик припустит — и они быстро превращаются в шипящие озера, соединяются меж собой протоками, все сплошь в мутных лопающихся пузырях. Иной раз притихает небесная вода, ленивеет. Озера отступают в прежние границы, и Митя снова понижает их в звании до обыкновенных луж, опутанных со всех сторон змеистыми блестящими ручейками.

Земля давно уже не впитывает влагу. Без сапог дальше порога не сунешься. Воздух отмяк, разбрюзг. Улица похожа на темный предбанник. Редкий прохожий прохлопает в резиновых сапогах по разбухшей тропинке.

Живой солнечный сентябрь, проблеснувший первыми денечками, зачеркнулся глупой стихией. Трактористы гремят железками под гулкой крышей мастерской. Фыркает, озаряя хмурые лица, электросварка, вспышки ее отражаются в грязи.

Сидит в грядках нетронутая картошка, развалила в стороны желтую, в черных пятнах ботву. На полях гниет скошенная в валки пшеница.

И день и ночь — все вода. В глазах у Мити рябит от мокрых, словно остекленевших деревьев. Засыпаешь и просыпаешься под плеск воды, потоками льющейся с крыши в переполненную, с шапкой пены кадушку.

Никто не умеет пить больше и жаднее земли, но теперь, кажется, и она напилась вдоволь. Рассказы о мудрости природы, о равномерности круговорота жидкости в атмосфере кажутся Мите давней школьной сказкой.

Седой ручей, собирающийся со всей деревни, ухает в крутобокий глинистый овраг. Бурлит, гудит понизу, мчится к речной излуке. И речку тоже не узнать. Свинцового оттенка вода накрыла островки, торчат макушки лозин. Широко по низине дышит мутный, рябчатый разлив.

Митя ходил за грибами, шлепал в сапогах по сверкающей водяной пленке, воображая себя последним жителем планеты. Ни машин, ни пешеходов; лесные тропинки сделались ручьями. Дождливый убогий шум наполняет рощу, просветлевшую из конца в конец, обезлиствевшую в макушках.

По упавшим желто-зеленым листьям прыгают искрящиеся капли, алмазно светятся на узловатых корнях дубов. Жалобно цвикает невидимая, скрывшаяся в сухости нижней листвы одинокая птичка. «Ведь я!

Ведь я!» — попискивает тонким обнадеживающим голосом. Себе чего-то утверждает.

Листва бесконечно разнообразная под ногами, в пятнах зеленых, бурых, черных — так ее разрисовали дождевые кислотные вещества, налипшие к небесным тучам дымы заводов. Митя наклонялся, ворошил листу палкой; холодные капли шлепали по воротнику, по горячей шее. Так и не приметил ни одной пахучей шляпки. Знобко грибам, не растется им.

Попалась веточка застарелой костяники. Бледно-розовая мутная ягода — разбухшая, сросшаяся треугольной брошкой. Митя осторожно выковырнул ее из твердой зеленой оправы, кинул поскорее, чтобы не расползалась в ладони, на язык. Кислая, словно фруктовое мороженое, с едва различимой сладиной — слизистая, полумертвая мякоть.

Выплюнул косточки. Вздохнул, вспомнив о лете, закончившемся несколько дней назад. Отпросился в школе на неделю — убирать картошку. Дело святое, всех отпускают, а тут вдруг дожди...

Скучно в маленькой деревне. Митя часто навещает соседа-дурачка по прозвищу Джон, живущего под присмотром бабки в маленькой хате. Бабка хлопочет по хозяйству, бормочет, ругает погоду, которая не позволяет убрать картошку, иногда покрикивает на непредсказуемого Джона. Настоящее имя четырнадцатилетнего балбеса — Георгий, и она сокращенно зовет его Ёркой.

Сидят они с Джоном день-деньской на полу, на расстеленных газетах, играют в карты. За окнами сплошные потоки. Стекла гудят от напористых струй. Зато голова при такой погоде работает хорошо. Митя поглядывает на окна, по которым будто тающий холодец струится.

Джон почесывает лохматую голову, жадно хватая карту за картой. Глаза дурака, обычно тусклые, горят азартом, в уголках губ выступила слюна. Карта падает, скользит по засаленной рубахе, словно лыжа по склону.

Идиотам всегда везет: то два туза к нему придут, то две десятки привалят, а то вдруг сразу три семерки — очко! Джон с наслаждением отвешивает Мите щелчки. Радостно скалит желтые зубы, сияет лоснящейся физиономией. Лупит по Митиному лбу, не жалея пальцев. Митя и без зеркала видит, как на его голове горит и краснеет кожа, вспухают плотные на ощупь шишки.

Дурак гыгычет от удовольствия. Но вот и Мите повезло: у Джона перебор.

— Ага! — радостно восклицает Митя. — Теперь моя очередь... Подставляй, глупота, лобешник: два горячих тебе!

Джон испуганно швыряет карты в сторону, закрывает лицо ладонями, хнычет, ерзает на рвущихся хрустких газетах.

— Чаво там у вас? — оборачивается от печки бабка.

Она поставила чугунок со вчерашними щами, разогревает. Вспыхивают в топке быстрые соломенные огоньки, потрескивают щелчки, струится влажный парок. Хата наполняется душистым теплом.



— Митя обизаает. Плохой Митя, хоѐт бить Дзона...

Дурачок суслит кулак, чуть ли не грызет его, заливаѐтся слезами. Вся газета с крупным заголовком: «О достижениях и провалах демократии» покрылась мокрыми пятнами.

Митя вздыхает. Отец Джона то ли в тюрьме, то ли на заработках, мать в начале перестройки сошлась с челночником и тоже где-то сгинула. Приезжала из райцентра комиссия, хотела забрать Джона в дурдом для малолетних, но бабка упростила оставить: дескать, она еще на ногах, пенсию получает и пособие на внука. Картошка уродилась, жить можно... Вот только как ее выкопать по такой грязи?

Митя обещал помочь этим бедолагам убрать картошку.

— Да не трогаю я его... — ворчит он.

Напрасно бабка опасается, что подросток обидит убогого. А так порой хочется двинуть Джону по уху, съездить разок по пухлой, как тесто, физиономии. Однако это невозможно: воплей на всю Тужиловку не оберешься.

— Будя, будя тебе хныкать...

Бабка подходит, гладит внука по спутанным волосам. Хрустит запутавшаяся в них травинка — старушка быстрыми движениями выбирает ее, отбрасывает к печке.

— Грех вам, робяты, ссориться, не маленькия. Уставайте лутше щти хлебать.

— Ага! Щти! Давай!

Джон опять счастлив, улыбается во все лицо. Слез как не бывало.

Митя с хмурым видом присаживается за стол. Бабка подает кислые, припахивающие тухлым салом щи. Она считает своей обязанностью кормить Митю — работник! Обещал помочь выкопать картошку. Митя из вежливости хлебает щи, стараясь не морщиться.

Старуха довольно поглядывает на него. Вот снова встала, пошла в чулан принести сольцы, а Митя тем временем, не удержавшись от соблазна подразнить дурака, поднимает руку, будто собирается отвесить щелчок.

Джон перестает грызть ложку, напрягается, бледнеет. Отшатывается назад всем корпусом и грохается на пол вместе с табуретом.

— Угомонитесь, идолы! — ругается бабка. — Митькя, опять дразнишь малого?

Вот хитрая! Когда Джон выигрывал и отвешивал Мите щелбаны, она молчала. Всегда заступается за своего глупого внука.

— Я пошутил.

Митя помогает Джону подняться. Дурак скулит, цепляется обеими руками за гнутую алюминиевую миску — не отпускает, хоть и горячая.

Перед тем как поесть самой, старушка молится на иконы, бормочет горестное о своей несчастной жизни. Догорает последнее лампадное масло. Просит бабка, молит Бога, чтобы окоротил потоп и всяческое человекам наказанье.

...Лампадка догорела, копотнула на прощание красным фитильком. Джон огорчился, всхлипнул.

Митя вздохнул, надел болоньевую куртку и побрел, оскользаясь на обочине, в бывшую колхозную мастерскую. Поговорил с трактористом

по прозвищу Профессор — тот сказал, что лампадного масла нет, за ним надо ехать в райцентр. Тракторист посоветовал залить в лампадку трансформаторное масло, разбавленное соляркой: надолго хватит.

Вернулся Митя, заправил лампадку самодельной смесью, чиркнул спичкой. Хорошо загорелось, ярче прежнего. Веселый огонек покачивается в темном углу перед лицами угодников, рассыпает, потрескивая, оранжевые искры.

Бабка этих искорок боится, велит потушить лампаду:

— Упаси бог, Митька, успыхня разом твой бянзин!

Она крестится, сокрушенно покачивая маленькой головой, обвязанной выцветшим платком с едва заметным узором кремлевских башен. Красивый был когда-то капроновый платок, подаренный председателем по итогам прополки сахарной свеклы.

— Спалишь избу — и где нам зимовать?

Вот старая тетеря! Всего-то она боится.

Мать поначалу была недовольна, что Митя помогает этим двум сиротам убирать картошку, школу из-за них пропускает. Но сильно не ругалась. Понимает, что, кроме Мити, помочь никому.

Едва окоротится дождь, как Митя тут же бежит к Джону, тащит его в огород, ставит на грядку, заставляет копать вилами картошку. Земля вязкая, тяжелая, словно застывающий цемент.

Широкоплечий косматый Джон с вилами в руке похож на огородное пугало. Работает с лентой — не хочет понимать, что для себя запас делает. Часто отдыхает. Он, хоть и силач, то и дело упыхивается.

— Копай, Джон! — подгоняет Митя. — Шевелись, а то опять вон дождик собирается, небо хмарит...

Почесываясь, нервно подергиваясь всем телом, Джон отбрасывает вилы — лентяй невозможный! — оборачивает плоское лицо к плывущим косматым облакам, взывает густым, волчьим басом.

— Чаво скулишь? — приструнивает его бабка. — Ежели уморился, присядь на ботву отдохни.

— Да когда же он успел умориться? — возмущается Митя. — Ни одного разочка не копнул.

Дурак, чувствуя покровительство бабки, обрадованно пятится от постылых грядок, толкает воздух растопыренными руками, как фокусник, передвигающий предметы на расстоянии. Он хочет отодвинуть от себя огород с надоевшей картошкой. Взгляд у Джона будто и вправду магический: вилы, воткнутые в землю, вдруг шлепаются, взметая фонтанчиком землю, сверкают отполированными рожками.

— Некогда сидеть, — говорит Митя нарочито строгим голосом, — того и гляди опять раздождится.

— Плохой Митя! — ноет дурак, трет глаза грязными ладонями.

Неохота ему вставать с кучи подсохшей ботвы и вновь приниматься за работу. Однако встает, берет вилы, нацеливается ими в картофельную грядку, налегает на рукоятку вихлявым и в то же время крепким, словно



дубовая колода, корпусом. Вилы пищат, всаживаются в землю, слышен хруст: опять, наверное, проколол крупную картофелину.

— Ты не в куст пырай, а чуточку сбоку! — учит его Митя.

Джон внимательно слушает, рот его открывается во всю ширь. И все равно ничего не понимает.

— Таперича его не научишь, хучь кол на голове теши, — вздыхает бабка и смотрит на внука жалостливым взглядом. — Ежели папка с мамкой не узяли к сабе жить, не понуждалися глупым дитем...

Старческий надтреснутый голос идет снизу, от комковатой, дымящей паром грядки, по которой бабка медленно ползет на коленях, подбирая в мятое ведро выкопанные клубни. Ее фартук в грязи.

Набранные ведра Митя относит в покосившийся сарайчик, стены которого трещат, качаются при малейшем прикосновении. Надо подкрепить его доской, иначе рухнет когда-нибудь и завалит старушку.

Митя угостил Джона жвачкой — купил в киоске еще до дождей, когда ходил в школу.

— Жуи, но не глотай! — предупредил Митя дурака.

Тот сдернул с пакетика бумажку с куклами и пятиконечными звездочками, запихал жвачку в рот, радостно зачавкал. И тут же нечаянно проглотил — судорожно задергался кадык, словно у курицы, заглатывающей поэтапно червяка. Ветер выхватил из неуклюжих пальцев обертку, понес вдоль грядок в кусты. Джон, мыча и вскрикивая, помчался догонять фантик, запелелся хлобыстающими резиновыми сапогами, разодранными в нескольких местах, упал, уробно крикнул, завопил во все горло.

— Опять убили! — Бабка побежала с дальнего конца грядки, испуганно взмахивая руками.

Помогли Джону подняться. Дурак, забыв, о чем он так горько плачет, облизывал губы, лоя языком пропадающий заграничный аромат.

Ночью из сарая неизвестные воры украли два мешка картошки, крупной и отборной. Так жалко! Бабка собиралась продать ее, чтобы купить внуку к зиме валенки. Сквозь чуткий сон старушка услышала скрип сарайной дверцы, отпираемой чужой бесцеремонной рукой.

С трудом растолкала Джона:

— Уставай, унучок, там картошку нашу крадут!

Сама тряслась от страха, боялась, что грабители прибьют. Но и картошку, выкопанную с таким трудом, тоже было ох как жалко!

— Подымайся, унучок, шуми с порога на анчихристов, авось уедут...

Джон бурчал, потягивался, однако встал, вышел в сени, не понимая, чего от него требуется. Чесал лохматую шевелюру с такой яростью, что в ней трещали и полыхали искры, как на кошке. Приложился широким, обезьяньим ртом к щели, трубно, по-коровьи рывкнул на всю улицу. Еще и бабка вдобавок ухо ему трясущейся рукой подкручивала для громкости.

Уехали супостаты: загудела машина, два мешка успели забрать. Утром известие было, что и по остальным деревенским сараям тоже пошерстили.

Обнаглели, воры проклятые. Скоро, наверное, посеред дня будут по избам бродить и забирать все, что им понравится...

Снова день и снова длинные грядки картошки. Митя копает их практически в одиночку. И сам же относит в сарай. Здесь Джон, правда, ему помогает, хотя и с неохотой, часто бросает мешок на полдороге.

В сарайчике вырыт погреб — темная, полуобвалившаяся яма. Квадратный лаз, обметанный заплесневелой, в желтых грибах, деревянной рамой, дышит влагой и земляным холодом. Погреб до половины заполнен водой, сверкает маслянистой зеркальной пленкой.

— Близо не подходи — сваишься, — предупреждает Митя.

Но Джон ухитрился пройти по самой кромке — деревянные трухляшки из-под ног посыпались, заплясали по воде. Испугался Митя, схватил Джона за рубашку, прищемив нечаянно кожу. Тот взвизгнул, ринулся вперед, замахал руками. Везет дуракам! Никуда они не падают, ничего с ними не случается.

На огороде, раскапустившись посреди невыбранных грядок, тихо причитает бабка. С неба опять сыплет мелкий напористый дождик.

Бабка последнее время тоже все чаще льет слезы, словно соревнуясь с непогодой. Ей кажется, что вся картошка так и останется лежать в земле. Вот тогда и завопит народ с голоду. Совсем чокнулась старая — сшила заранее из мешковины большую сумку с ляжкой через плечо, вроде почтальонской. На всякий случай. Вдруг придется, как в сорок шестом году, побираться? Мешок иностранный, из-под неведомой гуманитарной помощи, доставшейся неизвестно кому, — красивый, изрисованный зелеными и красными буквами. Добрые русские люди увидят пестрый мешок да и скорее сунут в него горбушку хлеба, рассуждает себе на уме старуха.

Воду из погреба вычерпывали ведрами. Сухой стал погреб; бабка радовалась, заглядывала вниз, придерживая большую поясницу. Но едва убрannую и подсохшую под крышей сарая картошку спустили на дно, как небеса опять будто прорвало — и картошка снова оказалась в воде. Решили вынимать ее обратно, иначе пропадет. Вода прибывала в яме с каждым часом.

Бабка отыскала драные рабочие рукавицы, вручила Мите — так ловчее выгребать мокрые клубни, грязь под ногти не набивается. Так и сказала:

— Надевай, а то засеницы будут!

Через дырявую крышу сарая пробегают навесистые капли, шлепают по лицу звонко и пугающе. И на вкус дождевая вода противная, невкусная, точно с другой планеты, к тому же, говорят, радиоактивная: тут всего пятьсот километров до Чернобыля. Джон взмыкивает, отбивается от капелек ладонью, словно мух прогоняет.

Бабка бродит по двору чуть живая от горя. Везде ей мерещатся призраки забытого российского голода. И сама будто позеленела от сырости, как речная коряга. Прожила на свете восемьдесят пять годов, но такой обвальнoй страсти не помнит. Для кого Господь заготовил этакий потоп, для каких грешных человеков? Она-то, бабка — всю жизнь в бедности, всю жизнь в колхозе за трудодни, — она-то кого прогневила?

Митя ведрами затаскивает картошку в дом, выхлестывает ее, мокрую и грязную, прямо на пол.

Работать вместе с Джоном — морока великая. То и дело захлопывает над Митиной головой крышку погреба. Бряц! — и Митя в полной темноте, и не видно вихрящихся по воде соломинок. Мрак такой, будто в могиле очутился. Вода журчит под ногами, холодит через резину сапог пятки.

— Открывай быстрее, осел! — кричит Митя, не узнавая своего испуганного голоса.

А Джон стоит на крышке и не уходит, пока его не позовет бабка.

Наконец последнее ведро картошки вынуто из погреба, доставлено в дом. Сверкающие от грязи клубни глухо и скользко чумкают о доски пола, закатываются под кровать и в чулан. Хату заполняет запах сырости, гниения, раздавленной картофельной мякоти.

Джон тоже уморился — забрел в хату, отломил горбушку хлеба, раскользился на гнилой картофелине, упал ровно бревно, даже потолок загудел. Закатился под койку, завопил жутким голосом. Митя выкатил его поскорее оттуда.

Бабка голосит наперегонки с дождем. Бойтся нечаянно помереть. Тогда внука заберут в лечебницу для дураков, сделают «смертельный укол», чтобы не жил бестолковый идиот на свете. Слез в ней как в осенней туче. Грозит черным костлявым кулаком в небо, навстречу темным клубящимся облакам.

— Как жить, Господи? Смилуйся, батюшка...

Дом, и без того тесный, стал совсем непроходным. Дурак под ноги не глядит, высыхающая картошка хрустит под его огромными сапогами, лопается, раскатывается в стороны. Джон хохочет, чихает, трет покрасневшие от пыли глаза и похож в этот момент на грязного медведя.

На стене растрескавшееся зеркало: Джон однажды въехал в него головой, чуть не вышиб из рамы. Желтые треугольники дают множество отражений — маленькая комната превращается в многопространственный фантастический мир.

...На большой чугунной сковороде бабка затевает яичницу. Колдует над коптящей керосинкой, с треском колотит о подоконник яйца, пересчитывает негнуцимся пальцем шкварчащие желтки: не много ли вбила? Сковородка несполоснутая: вбухала яичницу в старый жир. Грязные скорлупки крошатся, падают на сковородку, но старуха не замечает. Комната полнится шипеньем и чадом. Поверх яичницы крошит свежий зеленый лук — издали кушанье выглядит вполне симпатично.

На стол хозяйка для себя выставляет початую бутылку мутного самогона, заткнутую бумажной пробкой. Крестится, глядит на иконы. Потом в темных пальцах появляется замызганная толстостенная рюмка.

— Спасибо тебе, Господи, — говорит бабка, — что дал убрать картошку. Вот и живем себе дальше...

Александра ШАЛАШОВА

ПОЧЕМУ У НАС НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ

Р а с с к а з

Она позвонила впервые за полгода. Спросила: приду заберу теплые ботинки?

Зима уже кончается. Я сказал: приходи.

По дороге домой покупаю шоколадные конфеты, которые она любила. Достая с дальней полки черную заварку.

Ботинки. Узенькие, замшевые, на каблучке. Я предлагал купить другие — теплые. Но Наташе почему-то понравились эти.

Отходила в ботиночках два сезона, а на третий ушла из моей и маминей однокомнатной. Не маминей уже.

Наташа звонит один раз. Раньше у нас было три условных. Забыла.

— Похудел как! Привет.

Обнимает меня. Отстраненно. Полгода. Она пахнет дешевыми духами — мокрым деревом. Состригла тоненькие белые косички, губы подвела темно-фиолетовым. Уходила девочкой, пусть и тридцатилетней, полноватой, — вернулась женщиной.

— Я чай заварил.

Хочу проводить в кухню, останавливаюсь: она знает, куда идти. Полгода. На столе китайский сервиз, который покупали вместе.

— Бардак по-прежнему, — говорит.

Сама разливает темную заварку. Я потихоньку наливаю себе в чашку побольше кипятка. Убираю рассыпанную овсянку, вермишель. Вытираю плиту.

— Теперь хорошо?

Сажусь напротив. От скатерти пахнет тряпкой и мылом.

— Был у врача?

Чай заварился слишком крепким — но Наташе ничего. Я пью воду, подкрашенную желтым. Хоть бы не заметила. Однако она замечает.

— Был.

— И что?

— Здоров.

— Ну да.



Она заглядывает в пустой графин (я забываю наливать кипяченую воду, поэтому на дне белый осадок). Вертит в пальцах чашку из китайского сервиза. Для дорогого зеленого чая покупали, а я завариваю «Принцессу Нури». По ободкам коричневые полоски пошли — не отмываются. На них-то и смотрит.

— Может, ты забереешь сервиз? Хоть не весь. Мне-то одному за чем?

— А мне?

Глаза отводит. Если одна — к чему запах мокрого дерева, синтетическая белая блузка?

— Для гостей оставь, — говорит.

Это она из жалости. Напоминает:

— Миш, а ботинки-то нашел?

— Они на антресолях, в коробке. Сейчас достану.

— Может, я сама?

Несу табуретку в коридор. Стремянок не водилось отродясь, но я высокий — и с табуретки дотянусь.

— Смотри, эти?

— Ну ты чего, это старые. Еще посмотри. А эти — отдать или выкинуть.

На антресолях лежат боксерские перчатки, книжки — фантастика в советских изданиях. И мои деревянные поделки: грибочки, некрашенные зайчики, заготовки для качелей, фанерки, перекладинки.

Их тоже — отдать или выкинуть. Дачи у нас не было.

Передаю коробку — там оказываются нужные, новые. С трудом слезаю с табуретки.

— Миш, ты чего?

— Ничего.

Все хорошо. Голова только кружится.

Садимся опять за стол. «Принцесса Нури» заварилась до черноты — наливаю Наташе вторую чашку.

— Пыльца у тебя, — повторяет. — Под столом, везде. И бутылки.

Бутылкам полгода — не выкидывал. Стояли, пылились, пахли кислым. Пью мало, а водку вообще не могу. Мужики советуют: полстакана натошак. Как рукой, говорят, снимет. Пробовал — опаздывал к первому уроку, приходил с запахом. Дети заметили. Болею, объяснил директрисе. Не поверила.

— Диван унес?

— Да. В комнату.

А кровать мамину выбросил — вынес к помойке и оставил. С одеялами и покрывалами. Через час забрали.

Мы с Наташкой жили в кухне, оставив маме единственную комнату. Я купил маленький раскладной диван. Наташа убирала вещи в ящик для постельного белья, на кресло и в коробки.

Сейчас, когда мамы нет, мы могли бы занять комнату.

— Я пойду, Миш, ладно?
 Чего приходила-то? Да. За ботинками.

Два года назад Наташа устроилась гардеробщицей в мою школу. Полненькая, милая, с обесцвеченными тоненькими косичками.

Тетя Ната. Малышня называла. Я однажды случайно окликнул — обиделась.

Стали вместе ходить курить. Курила смешно — быстро и не затягиваясь.

Потом пришла ко мне с двумя чемоданами. Постелил на кухне, и так и остались на кухне.

Детей не хотели, потому что им было бы негде спать.

Моя мама ходила, хоть и медленно, — по квартире, иногда до лифта. На улице терялась, близоруко щурилась, не узнавала дом. До поликлиники мог довести, дальше — нет. Кричала, оглядывалась. Не узнавала.

Мама заходила на кухню, трогала вещи Наташи. Удивлялась.

Мыла чашки — не выключала воду. Мы два раза приходили домой — вода. Счастье, соседи спокойные. Поорали — сговорились на двух тысячах. Во второй раз я им просто купил и сам поклеил потолочную плитку.

Все было хорошо.

Потом Наташа стала оставаться ночевать у родителей, но зубная щетка еще стояла в пластмассовом стаканчике, а джинсовые юбки и перстрые кофточки лежали в картонной коробке.

В ту ночь ее не было дома, а я читал «Загадки истории», поэтому не сразу услышал, что мама перестала ходить по комнате.

Утром я подошел к школьной раздевалке, дождался, когда прозвонит звонок на первый урок. Подождал, пока последний лоботряс-шестиклассник переобует на скамеечке кроссовки, сплюнет жвачку в мусор и хлопнет дверью.

Наташа была в голубой майке, которой я раньше никогда не видел. На запястье фальшивые золотые часы, сломанные.

— А у тебя нет урока разве?

У нее невымытые волосы, собранные в хвост, и усталые глаза.

— Нет. Мне ко второму... Наташ, мама умерла.

— Да ты что? Когда?

— Ночью. Увезли. Я позвонил, машина приехала.

Наташа тихонько выглянула в коридор, потом вышла, закрыла раздевалку.

— А что ж на работу пришел?.. Нужно в «Ритуал» позвонить. Звонил?

— Нет еще. Подумал: надо тут сказать, что не приду.

— Позвонить мог.

— Не знаю. Не хотел по телефону.

Кивает.

— Пойдем в каморку — кофе заварю.



Каморка — там тряпки хранятся, ведра. Для уборщицы — маленький холодильник. Чайные пакетики. Мы в свое время прибрались, принесли туда электрический чайник, сахар, банку «Нескафе». Я отремонтировал два стула — сделал новые спинки, ошкурил и покрасил.

Наташа кипятит воду.

— Поминки на квартире будем делать? Ты обзвони всех, а я приготавливаю.

— Спасибо.

Я пью кофе — уйдет ли мерзкий привкус во рту? Однако привкус не уходит, и после бессонной ночи болит в подреберье.

Из-за мамы плакал только той ночью, а при Наташе — никогда. Смешно, но подумал, что теперь она перестанет уходить ночевать к родителям.

Сейчас Наташа не предлагает помочь прибраться — а ведь видит пыльные подоконники, сухие мамины цветы, пожелтевшие занавески.

— Проводишь?

Иду к двери, хотя она должна помнить — и ручку, которая плохо поворачивается, и крючок, привинченный низко-низко, чтобы маме было удобнее вешать сумки. Крючку лет двадцать. Сломается — привинчу заново. Хотя с чего бы ему ломаться? Не покупаю ничего тяжелого. Все в руках. Хлеб, кефир. Сладкое. С Наташей к зефиру пристрастился.

— Сходи к врачу, Миш, ладно? — Застегивает черный пуховик, надевает шапку с помпоном. — Врешь ведь, что был? Тебе бы в больницу.

— Я что, на больного похож? Нормально все.

— Ты на скелет похож. Дойди до поликлиники.

— Там утром нужно за талоном. Не отпрашиваться же? В мае расплююсь со школой — пойду.

— Так до мая сколько.

Она уносит ботинки в белом прозрачном пакете, а больше ей незачем приходить.

Иду через мамину комнату на балкон: там стоит заготовка для книжной полки, которую мы завтра с Денисом хотели лакировать. Я обещал принести хороший спиртовой лак.

Денис поделился: маме для книжек хочу сделать. Они недавно переехали из области, а мама любит покупать в киосках романы в бумажных обложках. К Восьмому марта, сказал Денис. Поможете, Михаил Робертович?

Потрепал его по волосам: помогу, конечно. И уже три дня вечерами шлифую на балконе светлое дерево.

* * *

Я останавливаюсь у пятиэтажки на улице Космонавта Беляева. Жду. Денис идет — в черных кроссовках по снегу.

— Три минуты до звонка! — смотрю на мутноватый разбитый экран «Нокии». — Поднажми! Айда короткой дорогой.

Денис, конечно, быстрее — но хочет бежать без тропинки, где грязного снега по колено. Тропинку чистят, остальное — нет. Даже я раньше с лопатой выходил, помогал дворничихе.

— Пошли через спортзал: у меня ключи.

Сделал дубликат когда-то, потому что за спортзалом и раздевалками — кабинет труда и каптерка, где мы раньше с Наташей сидели.

Мы быстро идем через спортзал — задыхаемся: Денису тринадцать, мне — сорок восемь. У него алгебра.

Заснуть сегодня не мог, зато сделал-таки большую книжную полку. Еще и фурнитуру заготовил — железку с ушком, за которое полку можно повесить. Теперь голова кружится и над бровями ломит, зато Денис несет на вытянутых руках подарок маме. До Восьмого марта еще месяц. Можно было не торопиться.

— Не грохнись. Тут пол моют.

— После уроков моют — утром-то чего?.. — сомневается.

Откидывает челку за ухо, чтобы не мешала. С полкой бежать неудобно, однако мне не отдает. Сказал: до мастерской донесу, и спасибо вам, Михаил Робертович. И «ух ты» сказал.

— Минута. Математичка разозлится. Давай мне полку.

Но Денис упрямо тащит к кабинету, кладет на пороге — так хорошо? Дальше сами справитесь? Справлюсь. Беги.

— У меня восемь уроков. Восьмой — музыка. Но с нее можно свалить.

— Свалить?

— Ладно. Тогда после восьмого.

Я не хочу, чтобы Денис «сваливал» — пусть даже и с музыки, хотя они там ничего не делают: пацаны садятся вместе на последние парты, ржут, семечки достают. Учительница включает им Рахманинова, только не слышно из-за гама. Одна Валька-отличница садится вперед, да и ей скоро надоест Рахманинов.

Денис приехал сюда из Кадникова — со справкой из прежней школы, с белокурой полной мамашей.

Мамаша сразу явилась к Валентине Васильевне. Села на стульчик в канцелярии, пахла духами — мокрым деревом: дешевым, Наташиным запахом.

В городах женщины часто пахнут одинаково. Когда учительницы передавали друг другу красивый пестрый каталог Avon, до Наташи он обычно не доходил, потому что гардероб — после кабинетов, зала и столовой. Так и пахла деревом.

Я ждал квитка о зарплате от секретаря, когда маму Дениса позвали в кабинет к Валентине Васильевне. Я услышал, как женщина села, повозила по полу стертými каблуками.

— Что ж вы в середине учебного года переехали? — слышу голос директрисы, тяжелый, сипловатый.

— У нас регистрация есть. Мы не таджики.

А теперь в каждом классе таджики. Валентина Васильевна наверняка сняла золотистые очки и смотрит на женщину. Двадцать лет назад она не была директором и не завивала волосы. Я давно здесь.

— Так что ж, что не таджики? Мальчику тяжело будет влиться в коллектив, понимаете? Возраст самый жеребчий. Какие оценки по русскому и математике были?

Слышу: всхлипы. Щелчок — позолоченный истертый замочек на сумочке под кожу. Шелест — бумажный платочек. Сморкается.

Льется вода: Валентина налила из графина. Женщина долго комкает бумажную салфетку, потом берет стакан.

— Хорошие оценки: тройки, четверки... Вы что, думаете, у меня есть деньги репетиторов нанимать? Я мать-одиночка, только-только работу нашла...

— А где вы работаете?

— В Кадникове? — быстро спрашивает женщина. — Я уволилась.

— Почему в Кадникове? Здесь.

— Я только устроилась. С понедельника выхожу — в детский сад прачкой... Оператором на стиральных машинах.

— Хорошо.

Обычно молодые женщины устраиваются, у кого маленькие детишки очереди в садик ждут. Идут нянечками, уборщицами, потому что иначе не дожدهшься.

Видимо, Валентина о том же подумала.

— У Дениса братья, сестры есть?

— Дочка у меня.

— Хорошо. Для личного дела копию регистрации принесите. И по-лиса. Пусть приходит завтра. У нас сменная обувь.

— А форма?

— Формы строгой нет, но у мальчиков белые рубашки.

— Белая рубашка...

Стул скрипит: поднимается, прощается. Запах мокрого дерева: женщина выходит из кабинета, останавливается возле стола секретаря, глядит на меня.

Она грубо и ярко покрашена. Бормочет. Белая рубашка. Белая рубашка... Думаю, она не знает, где взять.

Через неделю на уроке труда замечаю новенького: сидит спокойно, точно учился с первого класса. Его не сразу и заметили. Новенький и новенький. Темноволосый, невысокий, неприметный.

Рабочий халат болтается — да он и на одиннадцатиклассниках бы болтался. Выдали древние, советские. Я ругался — сказали: сами шейте, Михаил Робертович.



Тогда я пришел на труд к девочкам, предложил: мы бы вам табуретки новые смастерили, а вы нам — халаты. Учительница отказалась. В программе — сорочка.

Поэтому ходим темные, длинные, пятнистые. Краска, лак. Не отстирываются.

На уроке новенький сидит тихо. Не нравятся его глаза — синие полукружья, точно не спал несколько ночей подряд.

После, на перемене, увидел его в гардеробе. Наташа работала, хотя мы почти не виделись. Сидела на стульчике, молчала. Стульчик я сделал. Удобный, маленький.

— А он чего здесь? — тихонько спрашиваю.

— Да вот — никто дежурить не хотел, а девчонок с урока еще не пустили. Мальчик вызвался. Денисом зовут.

Новенький мальчик не похож на мать — грузную, что в кабинете директора сидела и плакала. Где ты, неизвестный мне отец? Остался в Кадникове? Спился, умер от тромба, заснул за рулем?

Я мать-одиночка, сказала женщина. Были ли у отца Дениса такие же темные, отросшие за зиму волосы?

— Как ты?

Мы отходим дальше. Старшеклассники уйдут, Денис не слышит.

— Да вот — новую работу нашли. Тут три недели дорабатываю.

— Я не знал. А какую работу?

— В «Спортмастере», упаковщицей...

На ней вязаное платье, шлепанцы, теплые носки. Безрукавка от бабушки с рынка. В раздевалке холодно от металла, от бетона: первый этаж, сквозняки. Вечно на коленки жаловалась, на поясницу.

— А зарплата?

— Обещают пятнадцать.

Здесь платят восемь. Я бы тоже ушел.

— Тетя Ната, можно идти? — Голос детский, тихий.

Мы и забыли: сейчас звонок будет.

— Беги, — улыбается.

И мне пора.

— Откуда он знает, что ты тетя Ната?

— Я сказала. А как еще? По имени-отчеству, что ли? Я же не учительница.

И застегивает свою старушечью жилетку.

* * *

— Перчатки надень.

Упрямится. Мотает головой. В волосах клей, мусор. Протягиваю перчатки — чистенькие, новенькие: позавчера в хозяйственный магазин заходил.



— Денис, ты не понял? — Киваю на стенд безопасности: — На первом уроке говорил, просил запомнить. Перво-наперво — перчатки. Ты не слышал?

Мы собираем скворечник. В марте рановато, но Денис нашел какую-то елку в роще, где старый скворечник прогнил и раскололся. Нужно взять лестницу, осторожно убрать ржавые гвозди, скинуть вниз трухлявые дощечки, а потом и новый можно ставить — птицы привыкли, станут жить.

— Ты всем пацанам говорил.

— И что? Тебя не касается?

На полу, на старых номерах «Голоса Череповца», лежит готовая передняя стенка с вырезанным летком, деревянные планки, молоток.

— Они над тобой ржали потом. В коридоре. Я слышал.

— Почему?

Под ложечкой колет, но это ничего, привычно. Кто надо мной не ржал за двадцать-то лет?

— Они под батареей бутылки увидели.

Бутылки? Я встаю — гвозди падают с колен, с фартука. Как они нашли?.. Да я и выбрасывал вроде.

— Нет ничего.

Наклоняюсь, гляжу. Под батареей чисто, даже вымыто словно.

— «Нет ничего»! — Он дразнится — обидно, тоже встает, хочет снять фартук. — Конечно, ничего, я ведь на следующий день пришел и все на помойку отнес. А то они подговаривались пойти Валентине Васильевне рассказать. Или классной — я не знаю.

— Это старые бутылки.

— Да хоть какие — ребята говорят, что ты алкаш. Что ты с гардеробщицей живешь, что вы в каморку эту вонючую вместе ходите...

Каморка — чистая: Наташа ее сама мыла. И мы там просто сидели. Ничего такого.

Неделю назад Денис стал говорить мне «ты». Без имени-отчества, просто — «ты». И я не знал, как поправить, — принял. Даже нравилось. Пока никто не слышит, конечно, — вот как сейчас, после восьмого урока, когда есть скворечник и пахнет свежеструганым деревом.

У меня перед глазами лицо Дениса — мрачное, волосы растрепались. Он слушал мерзости эти, стоял с ними в коридоре, бегал курить за гаражи...

Я хотел купить ему нормальные сигареты. Он отказался.

— С гардеробщицей, — повторяет.

Не договаривает.

Я даю ему оплеуху. Дениса качнуло назад, прямо на парту. Хватается судорожно за край, прижимает руки к голове. Щека красная. Глаза красные.

Дурак. Она тебе яблоки мыла.

Наташа его жалела — бесхозного, неприкаянного. Раз мать на целую неделю оставила Дениса одного с маленькой сестренкой. Он позво-



нил — сестренка плачет, захлебывается, а на кухне нет манки, нет молока, картошки. Ничего.

Мы собрались с Наташей, зашли в супермаркет, принесли три пакета всякой всячины: молоко, кефир, фрукты. Наташа передела девочку, организовала постирушку.

А после каждое утро совала мне в сумку пару яблок — для Дениса.

Мать Дениса потом вернулась домой, и брать яблоки он перестал. Ел только в школе — вот за этой партой, на которую почти упал, когда я его ударил.

Денис быстро собирает на полу вещи, швыряет в черный рюкзак, вытирает глаза и выбегает из мастерской.

...Домой возвращаюсь поздно, останавливаюсь у аптеки. Три ступеньки, старушки в очереди, пахнет йодом и сладким шампунем.

Усталая девушка-фармацевт смотрит на меня. У нее под глазами голубое.

— Здравствуйте. Чем могу помочь?

Вышkolено, отрепетировано.

А я не знаю, как сказать.

— У вас есть что-нибудь от боли в желудке?

Я покупаю пять пакетиков «Смекты».

* * *

Утром иду на работу, но все не так. Не жду Дениса у пятиэтажки, не проваливаюсь в снег. Размокли мартом дорожки; птицы дебоширят в голых кронах, выклеивают сухую рябину. Жалко, что мы так и не сделали скворечник.

Не стал его убирать. Гвозди рассыпались, и столярный клей лужицей растекся. Скворечник лежит мертвый на газетах.

Поэтому мне страшно открывать дверь кабинета.

Может, его мыть приходили? Увидит молоденькая нерусская уборщица: мусор лежит, деревяшки.

В гардеробе нет Наташи.

Сухая злая женщина в тусклых очках смотрит сквозь.

— Здравствуйте.

Не отвечает. На коленях пестрая пряжа, звенит спицами. Что вяжет женщина в тусклых очках — сейчас, когда мы строим скворечники?

В школе нет Дениса.

У него темно-синяя джинсовая куртка, застиранная, неприметная. Ее нет в гардеробе. Я знаю, два раза приходил смотреть.

Жду урок, перемену, развожу «Смекту», но никто не приходит. А ждал его маму, милицию, скандал. Может, он никому не сказал? Может, он не знает, что кому-то нужно говорить?

Жду еще урок (из-за мыслей «Смекта» не работает) — стучится Машенька, секретарь. Когда нужно ксерокопии сделать, распечатать



что-то — она всегда. Тайком, говорит. И подмигивает. Приношу ей шоколадки «Россия», оставляю на столе. Ну что вы, не положено, тараторит. Краснеет. И мне стыдно за то, что двадцатилетняя девушка в этой дурацкой школе вынуждена краснеть, принимая дешевые шоколадки от пятидесятилетнего мужика. Ей бы в институте восстановиться.

— Михаил Робертович, вас Валентина Васильевна просит на минуточку.

Все-таки позвонили? Встаю и шутливо кланяюсь: что бы я без вас, Мария, делал? И вдруг горечь поднимается от солнечного сплетения — как замер в нелепом поклоне, так и остался. Ладони. Ладони мокрые. Машенька, не смотри.

— Михаил Робертович, вам плохо?

— Сейчас.

Выдыхаю. Боль уже можно терпеть, хотя горечь остается.

— Маша, идите — через минуту приду.

В учительском туалете курили — в форточку, но запах чувствуется. Раковина в растекшемся хозяйственном мыле, синяя тряпка для мытья посуды висит на трубе.

Открываю холодную воду, полощу рот, промываю глаза — сразу промокает спереди рубашка. Жжение не проходит.

Валентина Васильевна ждет. В зеркале — я, щуплый и жалкий.

— Доброе утро, Валентина Васильевна. Что-то случилось?

Позвонила мамаша. Уже написала заявление. Через полчаса придет участковый. До этого времени отстранить от работы.

Думал о разном — плохом, нормальном. Обычном.

А что хотел-то? Он не придет больше.

Мать у него молодая, видная — выйдет второй раз замуж и приведет в квартиру нового отца. Все. Денису незачем слышать необработанное дерево.

Отсижу свое — много ли там выйдет? Заслуженный учитель. Почти пятьдесят лет. Ранее не судим. Ученики участвуют в городских и областных конкурсах. И Денис участвовал.

На Валентине Васильевне светлый костюм — жакет и юбка.

— Записку прислали. Детки. Я бы выбросила, но там про вас. Читайте. Они теперь передач насмотрелись, свои права знают. Да вы садитесь.

Сажусь. Вероятно, на то же место, где сидела и плакала мама Дениса.

Обрывок листа в клетку. Хотя бы целый вырвали, чтобы директору написать. Обормоты.

«...и постоянно остается с одним учеником при закрытых дверях, а если кто-то заходит, то ругается. Потом однажды мы нашли у него под батареей пустые бутылки из-под пива, но на следующее утро их кто-то украл. Наверное, этот — его любимчик. Мы его спрашивали, а он молчит.

...Мы хотим, чтобы администрация приняла меры, потому что он, наверное, извращенец, а наш одноклассник его защищает. Мы не станем говорить кто, потому что это нехорошо».

Знаю, кто писал: почерк ровненький, крупный, как у первоклассницы. Рома. Ушастый. Белый. К столярному верстаку сначала подойти боялся.

Возвращаю листок директрисе. Она складывает вдвое и рвет на клочки, бросает в урну у стола.

— Еще кто увидит, — поднимает глаза на меня. — Михаил Робертович, я не вправе...

— Да, сейчас вы тоже скажете, что я старый извращенец — потому что никогда не был женат, жил с мамой...

Валентина Васильевна оглядывается на дверь, но Машенька догадалась — прикрыла. Она хорошая. Снаружи не слышно, о чем директор говорит с учителем труда.

— Зачем так?

Валентине Васильевне очень идет светлый костюм. Смуглая кожа, седые волосы, уложенные, вдовье кольцо. Красивая. И даже сейчас, в пятьдесят, вполне могла бы снова выйти замуж.

— Этот «один ученик» — семиклассник новенький, да? Замарашка?

Он не замарашка. Портфеля нового пока нет, и куртки тоже. Но белую рубашку я ему купил. Попросил продавщицу подобрать — сыну, мол.

— Мальчик заброшенный.

Не заброшенный уже. Денис тогда позвонил — и мы с Наташей пришли.

В их съемной однушке нет детской кровати для маленькой сестры Дениса — только толстый матрас на полу. Денис спит на диване. Где спит мать — неясно. Она не работает в детском саду, приходит утром, часто — не одна. Думаю, что она отсыпается на том же диванчике — днем, пока сын в школе. От простыни пахнет сладкими прокисшими духами.

Спросил его: чего не постираешь? Руки есть, вода есть. Развел бардак.

А мама ему велела не стирать. Постельное-то белье одно. А матрас грязный.

Наташа тогда молча сняла простыню и наволочки, отнесла в ванну. Нашла кусок хозяйственного мыла, показала Денису, как стирать. Вернулась в комнату, вытерла мокрые руки о футболку. Покачала головой.

Мы думали: вызвать милицию, сообщить в школу, в органы опеки? Ждать мамашу, чтобы серьезно поговорить?

Мы сидели четыре часа, успокаивали девочку, кормили ее детскими творожками. Потом сварили супу на три дня и ушли.

— Это все Интернет. И эти, меньшинства, которые за права борются. Из-за них порядочного человека черт знает в какой пакости обвиняют. — Директриса злится. — Раньше бы детям в голову ничего подобного

не пришло. А вы... — без надобности поправляет цепочку от крестика, — не оставляйте его больше после уроков, хорошо? Не зовите к себе. Этим должен заниматься социальный педагог. Ах, как меня мамочка его облапошила, ну! Думаю: нормальная баба, работать будет. Двое детей. И в школу сразу привела — не в автосервис на работу... Вот ведь.

— В школе его бесплатно кормят, — перебиваю. — По справке. Из-за желудка и привела. И что ей с ним дома делать — отделаться, сбегать надо. А куда? В школу.

— Михаил Робертович, этим займутся. А вам не надо. Вам бы отдохнуть, выспаться, а может, и к терапевту сходить... А?

Это заметно. Это чертовски заметно, если Валентина из своего кабинета видит.

— До каникул дотянем, — улыбаюсь.

— Маша сказала, что вам плохо было.

— Было. Пойду?

В канцелярии Маша. Сидит в телефоне, однако сразу поднимает голову — боится, что за игрушкой застанут. Ничего, Маш. Парни в классе тоже часто в телефонах сидят. Раньше ругался и отбирал, теперь махнул рукой.

Маша, наверное, чувствует себя предательницей, потому что улыбается криво и жалко. Рассказала — но ведь вам на самом деле плохо стало? Бледный стали, серый...

Когда Валентина Васильевна уходит к одиннадцатиклассникам на историю, мы с Машей тихонько звоним Денису домой. Номер есть в личном деле.

Только не говорите никому, Михаил Робертович. Не скажу, Машенька.

Трубку никто не берет. Мамаша шляется. Сестренка в садике. А Денис где?

Этим займется старушка — социальный педагог. Придет, станет смотреть на грязный пол и матрас. Поохает над жареными холодными макаронами, будет ждать мать полдня, не дожидется, заполнит протокол и пойдет домой.

Из-за этих мыслей, от горечи во рту хочу подойти к гардеробу, увидеть Наташу, спросить, не пойдём ли сегодня домой вместе, — но вижу женщину в тусклых очках, которая сидит на табуретке вместо нее.

* * *

Он стоит без куртки у пятиэтажки, словно ничего не случилось. Я сегодня вышел поздно, вот он и ждет.

Щека припухшая немного.

— Болит?

Качает головой. Идем молча: весна лужи развела — успевай под ноги смотреть. Пахнет нагретой землей.



— Я про тетю Нату ничего плохого не хотел говорить. Ты извини.

— Я понял. И ты извини.

— Да ладно. Ты скворечник-то доделал?

На подоконник положил, не прикасался. Гвозди только прибрал, чтобы малышня не растащила. Нет, за все эти дни ни разу не захотелось доделать, хотя раньше терпеть не мог оставлять незаконченное.

Когда два дня Дениса не было в школе, хотели уже в милицию, но позвонила мамаша: болеет. Температура, мол. Горло. К телефону подойти не может.

Потом пришел, прятался в рекреации, на мои уроки не ходил.

И вот идем. В рубашках оба: Денис — в белой школьной, грязноватой уже порядком, а я — да, тоже в грязной. Не привык без Наташи к машинке, подступиться боюсь.

— Как теперь уроки наверстаешь? — смеюсь. — Твой-то далеко ушли.

— Ты скворечник доделал?

Глаза упрямые.

— Нет.

Хмуро кивает.

Мои ботинки в грязи — размокнут совсем, пока дойду до школы, зато горечь во рту поутихла, поубавилась. Отступи сегодня, чтобы хватило времени на свекольный салат и суп из кубика в столовой, на компот с мягким изюмом, который можно достать столовой ложкой из пустого стакана.

Возле школы семиклассники — друзья, с которыми он не дружит. Рома стоит — отмытый, ушастый, белобрысый. Учительница русского языка будет долго помнить его красивый, ровный почерк.

«Мы хотим, чтобы администрация приняла меры, потому что он, наверное, извращенец...» Кулак не сжимается от проклятой слабости, появившейся после ухода Наташи в прошлом году. Дрожат пальцы.

Рядом с Ромой стоит Карапет — оперся локтями о перила, плюет вниз. Азербайджанец. Они пропускают нас молча — под взглядами Денис поднимает подбородок, идет смело, с вызовом.

— О, петушок припожаловал, — еле слышно говорит Рома.

Денис останавливается, сутулится — как от окрика, оглядывается на меня, медленно идет к Роме и бьет его в лицо.

Кровь на белых школьных рубашках. Карапет орет на своем языке, но никто не понимает.

Я хочу подняться до конца лестницы. Я бегу. Взрослый и сильный — я смогу их разнять.

Но на последней ступеньке боль в солнечном сплетении, которая была почти переносимой, почти привычной, вдруг становится невозможной, страшной. Сгибаюсь пополам и дышу, точно и меня ударили.

У Ромы капает кровь из носа. И кто-то вызывает «скорую».

* * *

Линия занята. Линия занята. Механический женский голос.

Кто ты? Я не хочу слышать тебя, я хотел поговорить с Денисом.

В понедельник санитарка мыла палату и коридор. Все лежали, а она материлась и просовывала швабру под кровати. Будто мы неживые.

Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

Может, мама увезла на дачу? Или в Кадников на каникулы? Где он, Кадников? Пять улиц и хлебопекарня.

За пять дней звонил я ему пятнадцать раз. На шестнадцатый трубку взяла мать.

— Телефон вы ему купили?

Голос хриплый, грубый, заплаканный. Не здороваются — узнала.

— Подарил.

— Вы ему не отец.

— Я знаю.

— Я забираю сына из вашей поганой школы. Учителя — извращенцы, директриса — дура. — Мамаша плачет. — Думаете, мы нищоброды, что я сыну рубашку купить не в состоянии?

Пытаюсь говорить, но она не умолкает, хрипит и плачет. Плачет, видимо, давно.

— Денис не будет с вами разговаривать по телефону. Слышите?

Слышу. В палате пахнет хлоркой и храпит сосед. А Денис не будет разговаривать со мной по телефону.

Наташа приходит в полупустую палату, ставит на тумбочку белый пакет.

— Что будут делать?

На ней короткая джинсовая юбка. Тепло. Пахнет тополиными листьями.

— Частичную резекцию и химию.

Наташа смотрит в окно — на гнутые ржавые турники. Кивает.

— В школе деньги собирают.

Мне это совсем не нравится, да ничего не поделаешь: врач уже подсчитал, что одних отпускных не хватит.

— Откуда знаешь?

— Я заходила твои вещи из кабинета забрать, ключи от квартиры. Со «скорой»-то не больно вспомнишь, что забыл. Пиджак вон привезла.

— Спасибо.

Наташа старается не плакать — вижу.

— И про мальчика мне рассказали. Ему ничего. Только мать пришла. Орала. Мол, из школы заберу.

— Заберет?

— Откуда мне-то знать?

Наташа садится на серую простыню рядом.

— Я вспомнила недавно, что мне было тридцать три, когда мы познакомились. Ведь это немного совсем — тридцать три, да?

А на вид и того меньше. Взрослая женщина, но заплетала косички — наспех и неаккуратно, точно девчонка-подросток. Не красилась, отчего лицо казалось бледным и нежным.

Тридцать три года. Да, немного. Что ты после техникума делала? Я в школе двадцать лет. Кто виноват, что ты туда не приходила?

— Я не виноват, что жил с мамой. Я от профсоюза стоял в очереди на отдельную квартиру.

— Она мои вещи четыре раза на площадку выкидывала.

— Что?

— Не хотела тебе говорить. Тогда. Она каждый раз собирала мое полотенце, щетку, помаду, все-все — и выкидывала на площадку. Я собирала, чтобы ты не увидел.

— Перестань.

Наташа перестает плакать, вынимает из пакета апельсины, мыло, сок.

— С родителями сейчас живешь?

— Знаешь же, что нет.

— С кем?

— Он грузчик в «Спортмастере». Помнишь, говорила, что на работу новую выхожу? Вот. Он хороший. Мы тебе шесть тысяч перевели. Апельсин почистить?

Киваю.

Просыпается сосед по палате — хмурится, толстый и сутулый. Его бросила жена через три недели, как он попал в онкологию.

— В коридор бы вышли, — ворчит.

Из открытого окна пахнет лапшой «Доширак»: наверное, вахтерша заварила. Вахтершу зовут Нелли, она вечно в синих тапочках и черных заштопанных носках. У нее синие больные вены — самой бы в больницу лечь, но работает — сидит под лампой и записывает фамилии и данные паспортов.

Наташа улыбается. Раньше, когда мы из школы усталые приходили, просил ее не готовить, заваривал такую лапшу кипятком. Ели из одной тарелки, под телевизор.

Как же мы счастливы были.



Анатолий ГЛАЗОВ

ЧАЙКИ НАД СВАЛКОЙ

*Чешские записки украинского батрака**

*Разбрелись по миру Родины послы...
Были украинцы мы, а теперь — хохлы.*

— Хохлы, молдаване! Выходи строиться! — Хрупкая предрассветная тишина взорвалась и рассыпалась, наполнив помещение бывшего продовольственного магазина топотом тяжелых омоновских ботинок, хлопаньем дверей и зычными командными голосами...

* * *

...Полгода назад меня приютил подмосковный спальный городок Л. Директор и владелец фирмы, занимающейся монтажом санитарно-технического оборудования, принимая меня на работу, спросил:

— Приходилось иметь дело с сантехникой?

— Только как пользователю, — пожал я плечами и добавил: — И вообще я на стройке никогда не работал.

Директор задумался. Тогда вмешался прораб Эльдар:

— Ничего страшного, — усмехнулся он, отбросив мою трудовую книжку. — Если двадцать лет в забое отпахал, значит, работы не боишься. И диплом о высшем образовании свидетельствует о том, что ты как минимум не дурак. А гайки крутить научишься, это не высшая математика. Через год ты у меня бригадиром будешь.

И, немного подумав, спросил:

— Чертежи читать умеешь?

— В принципе, да. Только условные обозначения запомнить надо, чтобы унитаз с раковиной не перепутать.

— Их не так уж и много. Думаю, бригадиром сможешь работать уже через полгода, — подытожил Эльдар.

Директор не возражал:

— Хорошо. Зарплату мы тебе положим (он назвал вполне приемлемую сумму), жилье предоставим, но учти, попадешься ментам — ври что хочешь, а только у меня ты не работаешь и я тебя вообще не знаю.

* Печатается в сокращении.



Жилье предоставили в этом самом бывшем продмаге, наскоро переделанном в общежитие для рабочих. Причем статуса общежития здание не имело, а значит, зарегистрироваться и законно проживать в нем мы не могли, поэтому пришлось делать липовые московские регистрации и разрешение на работу в одной фирмочке, каких в Москве тех лет была прорва. Если ментовская облава случалась на стройке, то моя типично славянская внешность а-ля Никита Михалков и неиспорченный русский выговор сбивали с толку милицию: меня отпускали в раздевалку за документами, я уходил и — терялся в просторах строящейся многоэтажки...

* * *

Но на этот раз, похоже, так просто не выкрутиться: чтобы в пять часов утра сотрудники федеральной миграционной службы в сопровождении ОМОНа почтили нас своим присутствием — нужны были веские причины. Вероятно, проводилась серьезная зачистка. Построив нас в коридоре, эти милые ребята приступили к изъятию документов. Предчувствуя, что мое пребывание в России в ближайшее время может прерваться на неопределенный срок, я решил провести, возможно, последнее этнолингвистическое исследование на территории этой страны.

— Послушайте, — вежливо обратился я к двухметровому омововцу, — почему вы называете нас хохлами? Я, например, родился в России от русских родителей, здесь же и вырос.

У меня русская фамилия и диплом российского университета. Какой же я хохол? И почему хохол, а не украинец? И потом, извините, но ваше фрикативное «г» при прочтении моей фамилии дает мне основание подозревать, что у вас лично вполне может быть фамилия Пилипенко...

Несколькими минутами ранее этот громила без видимых усилий, как котенок, вышвырнул из комнаты в коридор моего напарника и любимого собеседника узбека Шухрата (мы его звали по-русски Шуриком). В Узбекистане он был директором школы, имел два высших образования, а из всех видов спорта всерьез занимался только прыжками с парашютом, что, вероятно, и помогло ему благополучно приземлиться в коридоре. В моем же арсенале, кроме всего прочего, было семь лет занятий карате-кекусинкай. Причем по иронии судьбы тренировался я на Украине, аттестовался у С. И. Близнюка (III дан), а тренировал — уже в России. Задавая свои вопросы, я говорил медленно, держался расслабленно, но внутренне был готов отреагировать на любой удар. Вот он, момент истины!

Омововец сначала удивленно смотрел на меня, быстро обшаривая глазами мою фигуру, и, кажется, заметил мозоли на сэйкен (ударной части кулака) — вздрогнул, когда я назвал его «Пилипенко», потом слотнул и сначала неуверенно, но потом быстро освоившись заговорил:

— Ты... такой образованный... а не понимаешь... Украинцы — те, кто живет и работает на Украине, а кто батрачит за границей — те хохлы. Я, может, и Пилипенко, но документы у меня российские и я здесь — дома, а ты, Глазов, — он сделал неправильное ударение на последнем слоге, — со своим украинским паспортом в России в гостях, а значит — хохол. Понял?

— Не понял. А если завтра у меня будет германский паспорт, я что, сразу стану немцем?

— Германский?

— Да, германский! Я неплохо говорю по-немецки, гораздо лучше, чем по-украински, а мой единоутробный брат по матери даже родился в Германии, так что, в принципе, все может быть...

Омоновец молчал, в глазах его была растерянность — в таких случаях они обычно бьют, но тут подошел сотрудник миграционной службы и, положив руку мне на плечо, с интересом стал меня рассматривать. Глядя через его голову на омоновца, я продолжал:

— Нет, дорогой, я русским родился, русским и умру. Не знаю, как у тебя, а у меня здесь есть родительский дом... А хохол — это не нация, а диагноз. Хохлы есть и среди русских, и среди узбеков, и среди других народов. Непонятно только, почему молдавским батракам вы не придумали никакой обидной клички?

— А «молдаване» — это и есть обидная кличка, — спокойно произнес стоящий между мной и омоновцем сотрудник. — Они-то хотели бы, чтобы мы называли их румынами, но какие они румыны... Нерастаможенные?

И решительно скомандовал:

— По машинам!

...Дальше все шло по отработанной схеме: горотдел, протоколы, отпечатки, суд.

Постановление Л-ского городского суда было по-иезуитски гуманным: назначить как основное наказание — в виде штрафа в размере 1000 рублей, так и дополнительное — в виде административного выдворения за пределы России...

— До свидания, — улыбнулась мне начальница паспортного отдела и добавила: — Через пять лет.

* * *

...Мадонна за стеклом завораживала и гипнотизировала. Она притягивала не только взгляд, она подчиняла себе мысли и чувства. Не осознавая того, что делаю, я, как зомби, сел и уставился на скорбный женский лик. По впалым окаменевшим щекам текли скупые слезы, но женщина их не замечала. Взгляд больших темных глаз был направлен, казалось, не в пространство, а во время, в глубины памяти. Что она видела сейчас перед собой? Ее руки, стиснувшие носовой платочек, замерли на груди. Вся она была неподвижна, губы плотно сжаты, но мне почему-то казалось, что именно сейчас, может быть как никогда в этой жизни, она истово молится, вознося к Господу свой молитвенный вопль как последнюю надежду на помощь. «Господи! Помогите и мне, грешному!» — присоединился и я к ее молитве. Потом немного подумал, вспомнил и добавил: «И всем добрым христианам!»

— Мамцю! Не плачь! Все буде добре! Не плачь! — Захлебывавшийся слезами почти детский голосок заставил меня очнуться. Я оглянулся.

За мной сидела совсем молоденькая, миниатюрная и симпатичная девушка. Размазывая по щекам слезы и глядя в автобусное окно, она говорила в мобильный телефон прощальные слова своей матери, совсем не обращая внимания на то, что у матери нет в руках телефона.

Международный автобус Киев — Прага, стоя на привокзальной площади столицы Украины, заполнялся пассажирами.

«И все это, — подумал я, — происходит буквально под носом у «слуг народа», ведь от железнодорожного вокзала до парламента, президента и кабинета рукой подать. Приезжайте, полюбуйтесь на творение рук своих, пообщайтесь с электоратом, интересы которого вы так клятвенно обещали защищать на своих предвыборных митингах...»

Впрочем, о чем это я? Или я не вижу, что «государство предано и брошено на разграбление бессовестных и алчных стяжателей, жрецов новой официальной религии — культа духовного и физического разврата, культа безудержной наживы любой ценой», как абсолютно точно сказано митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном? Или не о том же писал незабвенный М. Е. Салтыков-Щедрин, предрекая поведение народа после реформы 1861 г.: «Придет чумазый, придет с ног до головы наглый, с цепкими руками, с ненасытной утробой — придет и слопает!» И бесполезно «маленькому украинцу» надеяться на защиту политиков — людей, о которых английская журналистка Кэтрин Уайтхорн открытым текстом заявила: «Большая часть политиков, увы, ублюдки не от рождения, а по призванию». Или кто-то думает, что украинская «быдлоэлита» менее ублюдочна, чем английский истеблишмент? И-и-э-эх!

* * *

Знал ли я, что так будет, когда рушилась великая держава — СССР? В общем — да. Мог ли я, понимая, что повлиять на глобальный процесс уже никому не дано, изменить что-то в своей личной жизни, чтобы пресловутая перестройка для меня и моей семьи закончилась с минимальными потерями, а может быть, и послужила бы трамплином для прыжка в качественно иную жизнь? И да, и нет.

Да — потому что судьба давала мне шанс и побороться за депутатство в украинском парламенте (отказался, уступив настойчивым просьбам другого кандидата), и возглавить один из первых в нашем городе кооперативов с весьма солидными учредителями (отказался, посчитав, что мое превращение из забойщика и члена стачечных комитетов в кооператоры посчитают предательством рабочих интересов). Кстати, забегая вперед, скажу, что человек, уговоривший меня не баллотироваться в народные депутаты, несмотря на неоднократные попытки, так и не смог стать депутатом высшего законодательного органа страны, а человек, возглавивший тот самый кооператив, сначала круто взлетел, а потом плохо кончил: по официальным данным — расстрелян и сожжен вместе с машиной, а по слухам — сбежал в Израиль. Ни того, ни другого я себе не желаю. И получается, что «перестроиться» я не мог.

Как горько шутили в те шизофренические времена: «Просто им, “перестройщикам”: взяли и перестроились, а что нам, порядочным людям, делать?» На что перестроившиеся оправдывались: «Это не мы такие, это жизнь такая...» Да не надо валить на обстоятельства! При любой жизни совесть, как беременность, либо есть, либо нет. Не знаю, что оказало большее влияние на формирование моего мировоззрения — советское ли воспитание, гены ли моих предков, чтение ли философских и религиозных трудов отечественных и зарубежных светил, а может, энергетика родной земли, — только во мне выработалось стойкое неприятие мещанской, мелкобуржуазной морали. Я, как и Н. А. Бердяев, «никогда не мог освободиться от чувства греховности собственности», и мне всегда

был присущ, так сказать, некий аристократизм духа, который неразрывно и гармонично сочетался с культом тела, ибо сказано апостолом Павлом: «Тела ваши суть храм для Духа Святого, данного вам от Бога, и вы не свои».

Ну и как прикажете жить «лишнему человеку» в чуждой ему среде? Ответ очевиден: жить по совести, а «свинцовые мерзости жизни» наблюдать как бы со стороны, по возможности в них не вмешиваясь, ибо сказано: «Как проповедовать, если не послан?»

Итак, полтора десятилетия «незалежности» не принесли обещанного избытия для подавляющего большинства украинцев. Наиболее интеллектуально продвинутые из них вспомнили, кстати, Джона Мейнарда Кейнса, сказавшего: «Капитализм — удивительная вера в то, что самые безнравственные люди будут делать самые безнравственные вещи к всеобщему величайшему благу», и глубоко задумались над тем, что, оказывается, капитализм не так уж и хорош, каким он казался со стороны, а социализм не настолько и плох, как о нем говорили...

Украинцы попроще мыслили более приземленно: «А чому це раньше мы жили краше за москалив, а зараз, як перестали их годуваты, то навпаки живемо гірше за них? Мабуть, влада виновата?»

Сменили трех президентов, поменяли кучу правительств и парламентов — нет, все одно москали живут лучше: мы до них едем на заработки, а не они до нас, мы у них кланчим кредиты, а не они у нас. Да что там говорить, если, например, маленькое, но гордое Приднестровье, не имеющее общих границ с Россией, и то хочет жить с москалями, а не в составе Молдовы или Украины. Я уж не говорю об Абхазии или Южной Осетии.

«Та то все влада вынна, та происки клятых москалив! А мы — украинцы! Мы варты!» Ну, по этому поводу французский философ граф Жозеф Мари де Местр сказал: «Всякий народ имеет такое правительство, какого заслуживает...»

Как бы там ни было, а миллионы украинцев, резонно рассудив, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, в поисках лучшей доли легально, полудеально и совсем нелегально выехали за кордон.

* * *

Отправилась на покорение столицы Чехии и моя юная спутница, вероятно, плохо представляя себе, что, кроме всего прочего, Прага вместе с Амстердамом держит первенство среди европейских столиц по количеству проституток (храни тебя Господь от подобной участи!) и что ей, не владеющей языком и не имеющей приличной востребованной профессии, рассчитывать на что-либо кроме мытья полов и грязной посуды не приходится, что многое в ее судьбе будет зависеть от того, в руки какого «клиента» (мафиози) она попадет и т. д.

Не усидел на месте и я. После административного выдворения из России и проведенной мной оценки обстановки в Украине я понял, что оставаться жить здесь — только терять время, а его у меня, если брать во внимание возраст и мое шахтерское прошлое, не так уж и много. То, что я увидел, напрочь лишило меня всяких иллюзий о более-менее комфортной жизни в ближайшей перспективе: украинские политики усиленно строили «незалежную державу». Причем главной целью этого процесса был не человек, а именно «державу». Строилось не государство для человека, а наоборот, человек приносился в жертву «державе».

Как это конкретно отражалось на мне? В реально двуязычной стране, претендующей на звание демократической, государственным языком был объявлен только украинский. Значит, мой приготовленный на старость диплом юриста, полученный в одном из российских университетов, мог только пополнить список ненужных личных документов, а сам я — пополнить список ненужных Украине людей. Потому что родился и вырос я в России, служил в Севастополе, работал на шахтах Донбасса и практически везде слышал в основном русскую речь. Ни практической необходимости, ни эстетической потребности в изучении украинского языка я не испытывал. Владея языком в объеме, достаточном для просмотра украинских телеканалов, но явно недостаточном для успешной деятельности практикующего юриста, я подвел краткий и неутешительный баланс в своих лингвистических изысканиях: язык из Киева меня уведет.

На мое расставание с Украиной повлияло и то обстоятельство, что официальным Киевом предавалось остракизму все, на чем стояли русские опознавательные знаки. А мне, этническому русскому, это было неприятно. Конечно, мой жизненный опыт, здоровый цинизм и, извините за нескромность, аналитический ум многое объясняли в поведении пришедших к власти русофобов, не могущих смириться с тем, что северный сосед, несмотря на все катаклизмы, продолжает оставаться большим, сильным и богатым. Причем богатым не в украинском смысле (шоб було все и в хати, и биля хаты), а в чисто русском, непонятном для многих народов — скорее духовном, чем материальном.

У меня достаточно крепкая, тренированная нервная система и своя голова на плечах. И не «указивки» из Киева ведут меня по этой жизни, а требования Священного Писания и пример благочестивых предков, как и подобает православному христианину. И одной из главных моих обязанностей является забота о своей семье, ибо сказано апостолом Павлом: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Особенно же велик мой отцовский долг, ведь, по словам Иоанна Златоуста, «нерадение о детях — больший из всех грехов...» Разве дети виноваты в том, что мы, взрослые, устроили из нашей жизни такой балаган? И мой отцовский долг — создать своему ребенку человеческие условия для жизни и собственным примером, а не поучениями, воспитать его достойным человеком. Но для создания этих самых «человеческих условий» нужны деньги, а их в нужном количестве в современной Украине честным трудом не заработаешь. За границей возможностей больше. Значит, опять — жизнь в отрыве от семьи. Ну уж тут, как говорится, лучше эскимо без палочки...

Главной материальной проблемой, над решением которой в последние годы работала наша семья, было жилье для дочери. И в «коммунистических» и в «демократических» странах, в каждой по-своему, с разным успехом этот вопрос как-то решался и решается. В Украине в этот переходный (и не всегда понятно — от чего к чему) период квартирный вопрос испортил граждан не меньше, чем москвичей.

Ведь что получается? Рождается девочка. Государство как бы говорит ей: «Расти, учись, набирайся сил, становись хорошим специалистом. Ибо мне нужен человек, которым я могло бы гордиться и который бы гордился мной!» Девочка так и делает: растет, оканчивает школу, институт — и вот уже сама преподает в одном из вузов, но особого желания гордиться этим государством как-то не испытывает. И она говорит:

— Уважаемое государство! Я выполнила твои пожелания. Я владею четырьмя языками, меня ценят как специалиста, я плачу налоги, но мне негде жить, я не имею своего жилья в городе, в котором работаю.

— Радуйся, дева! — говорит государство. — Я освободило тебя! Если твои родители не могли иметь больше одной квартиры, то ты можешь купить себе хоть десять!

— Но моим родителям ты дало жилье бесплатно!

— Это дало не я, а старое, плохое, тоталитарное государство, которого теперь нет. Теперь есть я — молодое, «незалежное», демократическое, которым ты должна гордиться, потому что теперь ты свободна и можешь купить себе много квартир.

— Скажи, как можно быть свободной, не имея своего жилья? Ведь хозяин съемной квартиры завтра может назначить за аренду неподъемную цену или просто выставить меня на улицу. А купить себе не то что десять, а одну маленькую квартирку я не могу: слишком высокие цены — с одной стороны и слишком маленькая зарплата — с другой.

— Хм... — сочувственно грустит государство. — Ну, пусть помогут родители...

— Я дочь шахтера-пенсионера, а не олигарха.

— Но ты можешь выйти замуж за олигарха, — радостно хлопает в ладоши государство.

— Во-первых, олигархов на всех желающих не хватит, а во-вторых, они — плохие люди. Папа говорит, что все олигархи в первом поколении — сукины дети.

— Возьми ипотечный кредит, — подмигивает государство.

— Под мою маленькую зарплату его вряд ли дадут, да и под такие проценты брать ипотеку — все равно что утолять жажду, слизывая росу с крапивы... Такого грабежа в других цивилизованных странах нет. Наши банкиры что, Бога не боятся?

— Это не моя епархия. У нас церковь отделена от государства. И вообще, ты — глупая девчонка, если не понимаешь, что за свободу надо платить!

Что тут добавить? Прав был Авраам Линкольн: овца и волк по-разному понимают слово «свобода». Теперь, значит, мы свободны, но, к сожалению, не от страха за завтрашний день...

Ну что ж, где есть брак без любви, будет и любовь без брака. Поедем работать на капиталистов.

* * *

— О! Пан желает за кордон? Нет проблем! Любой каприз за ваши деньги! Фирма Goral International к вашим услугам! Двенадцать лет безупречной работы на рынке труда, стопроцентная гарантия беспроблемного выезда и трудоустройства в США! Конечно, в США, сэр, целовать — так королеву, воровать — так миллионы! Шучу! Пройдем собеседование, тестирование, соберем документы, все это совсем недорого, получим визу — и вперед! Перелет через океан на «Боинге» — за счет фирмы! Адаптация и трудоустройство — за счет фирмы! Рассчитаетесь потом, когда будете зарабатывать настоящие деньги...

...Проходим, собираем, платим, идем за визой. Облом. В выдаче визы отказано. Вместо перелета через океан — полет фанеры над Парижем.

— Какая жалость, сэр! Но ничего, такое бывает! Мы можем повторить попытку через год!

Ну уж нет! Сенкью вери мач! Пытаюсь выяснить причины отказа. На телефонные звонки отвечают только бесправные секретарши, на письменные запросы поступают обтекаемые, ничего не объясняющие отписки. Пишу исковое заявление, иду с ним в городской суд, и судья, выслушав причину моего обращения, заявляет:

— Если фирма формально выполнила все условия договора, вы проиграете дело.

— Прочтите хотя бы исковое заявление! В этом деле — сплошные нарушения закона «О защите прав потребителей», закона «О рекламе» и других требований украинского законодательства.

Судья неохотно читает, потом бурчит:

— Ну, это многое меняет... Если в заявлении все изложено точно...

— Как в аптеке! Дотошность — моя слабость.

— Ну что ж... Дело имеет судебную перспективу... Могу взять его в свое производство и почти уверен в вашем выигрыше.

Выигрыш — еще не победа. Победа будет, когда мой выигрыш получит освещение в прессе и общественный резонанс. И если мне удастся предостеречь какое-то количество украинцев от излишней доверчивости по отношению к этим любителям ловить рыбку в мутной воде, я буду вполне удовлетворен.

Но тут вдруг категорически запротестовала моя жена, до этого молча наблюдавшая за моей подготовкой к генеральному сражению.

Ей было страшно вступать в бой с такой крупной столичной фирмой, имеющей, судя по всему, весьма основательную «крышу». Понятно, что от людей, промышленяющих столь неэтичным бизнесом, ожидать джентльменского поведения не приходится. Меня, бывшего моряка и забойщика, это обстоятельство мало беспокоило: кого шахта двадцать лет пугала, того не испугают киевские жулики, но спокойствие жены и дочери было дороже исковых требований.

— Что же, хозяин — барин, — сказал судья, когда я забирал свое заявление. — Еще есть время подумать. Срок исковой давности известен, так что...

Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай... «За границу ты поедешь, но не в США. Будешь работать где-то в Европе», — сказала мне гадалка буквально за неделю до моего визита в американское консульство и, похоже, оказалась права.

Европа так Европа. Пусть будут поменьше заработки, зато ближе к дому.

* * *

Из европейских стран мои предпочтения были на стороне Германии: во-первых, легче будет преодолеть языковой барьер (в свое время я неплохо знал немецкий, а восстановить язык всегда легче, чем учить с нуля); во-вторых, Германия — одна из самых высокоразвитых стран Европы и мира, значит, и заработки там должны быть повыше; и в-третьих, мне весьма близок германский менталитет: знаменитый немецкий Ordnung (порядок) занимает ведущее место и среди моих личных ценностей.

Не доверяя более посредническим фирмам, я стал искать иные пути решения своей проблемы. И почти сразу мне повезло: соседке моей хорошей знакомой удалось выйти замуж за немца и уехать в Германию, а сама знакомая немало поспособствовала соседке, оказывая различные правовые и иные услуги, даже предоставляя свой домашний телефон для международных переговоров. И теперь знакомая с готовностью согласилась написать в Германию и попросить бывшую украинку оказать мне содействие в поисках работы.

Ответ пришел неожиданно быстро. Новоиспеченная фрау Мюллер-Соломаха в категорической форме отказала нам, ссылаясь на высокую безработицу, из-за которой она сама вынуждена сидеть дома, и просила впредь не грузить ее подобного рода просьбами. Моя знакомая, весьма обескураженная не столько самим отказом, сколько формой, в которой он был выражен, была готова утратить веру в фундаментальные человеческие ценности. Успокоив ее цитатой из Фридриха Ницше: «Тонкой душе тягостно сознавать, что кто-нибудь обязан ей благодарностью; грубой душе — сознавать себя обязанной кому-либо» — и добавив от себя, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, я продолжил поиски.

Оказалось, что одному парню из соседнего подъезда удалось-таки выехать на работу в бывшую Югославию. Работа на заводе вахтовым методом: три месяца — там, три месяца — дома. Можно было попробовать устроиться туда, но неожиданно парень вернулся домой на два месяца раньше срока: завод оказался в зоне межэтнического конфликта. Над головами заводчан засвистели пули, а умереть на чужбине от шальной пули — не самая веселая перспектива, и украинский трудовой десант счел за лучшее ретироваться на свою историческую родину...

Продолжая поисковую работу, я вышел на кадровое агентство «Эра», ранее занимавшееся вербовкой рабочей силы для российских предприятий, но в последнее время решившее расширить географию своих услуг за счет Чехии. Поскольку Чехия с точки зрения доступности и возможности относительно неплохо заработать была привлекательна, я без особого энтузиазма, но не имея альтернативных вариантов, решил отработать «чешский проект».

Сотрудники агентства не пытались пудрить мозги, честно признались, что чешский рынок для них пока terra incognita, были они в Чехии лишь один раз, да и то несколько дней, никого из рабочих еще туда не отправляли и многое будет зависеть от того, насколько порядочно поведут себя «чешские» партнеры. Слово «чешские» взято в кавычки не случайно, ибо это были все те же наши украинцы, в основном закарпатцы, прибравшие к своим рукам весьма доходный бизнес по вербовке украинцев (и не только) для работы в Чешской Республике. Подготовив пакет документов, необходимых для получения чешской визы, и залучив человека в Чехию, эти фирмы становились фактически полноправными хозяевами несчастных заробитчан, этакими современными рабовладельцами. А что мог противопоставить им измученный невзгодами человек (на заработки едут не от хорошей жизни), уставший после дороги и пограничной нерво-трепки? Он, может, впервые в своей жизни оказался за границей — без языка, без связей, без знания местных законов... Поэтому парадом здесь командовал «клиент» (хозяин фирмы). Он решал, где будет работать и жить приехавший, сколько денег получать, а также массу других вопросов — от получения внеочередного аванса до поездки домой на побывку или продления визы.

Итак, заплатив за самый дорогой пакет документов, гарантировавший мне работу на заводе Siemens и проживание в еврообществе, я стал ждать вызова в консульский отдел посольства ЧР в Украине для получения визы.

Чтобы не тратить время даром, устроился слесарем-сантехником в соседний ЖЭК, где мне платили что-то около ста долларов (в гривнах, конечно) в месяц. Кстати, когда через три года после описываемых событий я в очередной раз приехал из Чехии на Украину, мне на глаза попалось объявление: тому самому ЖЭКу, где я три года назад слесарил, требовался юрисконсульт. Оклад, учитывая плавающий курс, — около ста долларов. Вот такой твердо заявленный и многократно повторенный курс на европейский выбор по-украински в действительности: будь ты хоть юристом с университетским дипломом, хоть слесарем вообще без никакого диплома, а цена тебе — сто баксов в месяц. Это — информация к размышлению для тех молодых людей, которые любой ценой хотят заполучить вожделенный диплом о высшем образовании. Ребята, не забывайте, что вы, увы, пока не в Европе. И даже не в России.

...Незаметно пролетело почти полгода — и мой загранпаспорт украсила первая рабочая виза сроком на десять месяцев. Можно отправляться на покорение Чехии. И если «романтикам — ветер странствий, циникам — шелест купюр», то к какой категории принадлежу я? Вопрос далеко не праздный и заслуживающий хотя бы краткого обсуждения.

Слова из популярной заробитчанской песни «Мы едем, едем, едем в далекие края — копейку заработать и больше ни... чего» — явно не про меня. Особенно последние слова.

В моей голове еще с детских лет прописалось, не помню уже чье, высказывание: «Здоровой душе и сильному телу всегда присуща природная романтичность». И неслучайно сразу после школы я поступил в одно из высших военно-морских училищ, но, проучившись два года, бросил: военная составляющая напрочь убивала всю морскую романтику. Потом, отслужив срочную на ЧФ, на двадцать лет связал свою жизнь с шахтой, не переставая по мере сил и возможностей учиться чему-то новому и путешествовать (в той же Чехии, тогда еще в составе Чехословакии, я впервые побывал туристом около тридцати лет назад). Покойная мать ворчала на меня:

— Другие-то, посмотри, стараются на земле получше устроиться, а тебя то в море, то под землю на кой-то тянет!

Я выдвигал убийственный, на мой взгляд, контраргумент:

— Может, ты еще посоветуешь мне пойти поучиться на булгахтера? — я нарочно коверкал слово, чтобы подчеркнуть свое малоуважительное отношение к этой специальности.

Как говорил английский пират Морган, «жить стоит ради воспоминаний на старости лет». Жить надо интересно, мама! Вот у пирата жизнь интересная, а у «булгахтера»... Мать безнадежно махала рукой и к обсуждению темы больше не возвращалась. Я же всю жизнь пребываю в уверенности, что если физически здоровый парень выбирает себе профессию «булгахтера» — это случай для психоаналитиков. Ну а когда эти доблестные рыцари дебата и кредита табунами ломанулись в большую политику и добились на этом поприще немалых успехов, я в очередной раз склонил голову перед мудростью Генриха Гейне, заявлявшего, что дураков на свете больше, чем людей. И пока наш непрофессиональный избиратель будет «голосовать сердцем» и думать «по-

украински», а не головой — нам удачи не видать. Впрочем, довольно о грустном.

Итак, даже отправляясь «заработать копейку», я еще задолго до отъезда жил предчувствием перемен, возможностью окунуться в новое, доселе неизведанное состояние бытия, погрузиться в жизнь пока еще совершенно чужих мне людей — а ведь пройдет год-два, и, разговаривая по телефону с семьей, я совершенно незаметно для себя буду говорить: «А у нас в Чехии ситуация несколько иная...», и в речи будут проскакивать ставшие для меня уже своими чешские слова. Но обо всем по порядку.

Сборы были недолгими — не впервой уезжать! — и вот я в фирменном поезде Донецк — Киев. Но неприятности начались уже в начале пути: мой поезд по расписанию должен был находиться в пути приблизительно с половины восьмого вечера до семи утра, а около девяти утра на автовокзале «Дачный» я должен был сесть на автобус Киев — Прага. Так вот, среди ночи именно в моем вагоне произошло возгорание, кажется, электропроводки. Собственно пламени видно не было, но едкого дыма было предостаточно. Такое было впервые в моей жизни — эвакуация проходила в полной темноте, в дыму, на полном ходу поезда. Похватав на ощупь свои вещи, пассажиры перебрались в соседние вагоны. На ближайшей станции неисправный вагон отцепили, но поезд вышел из графика и в результате опоздал на два часа, а я опоздал на свой автобус на Прагу. Позвонил в фирму «Регга», объяснил ситуацию, и вскоре подъехала их сотрудница, которая без проблем посадила меня на другой автобус до Праги.

Справляюсь у водителя о времени прибытия в столицу Чехии — время практически то же, что и у автобуса, который уехал раньше без меня. Я успокаиваюсь, настроение поднимается, и я покидаю Киев.

* * *

Вероятно, сейчас будет уместно описать некоторые особенности заграничных путешествий украинских заробитчан начала XXI века на примере поездки в Чехию.

Основными видами транспорта являются поезда и автобусы. Жители Закарпатья и Прикарпатья активно пользуются также микроавтобусами («бу-сиками») и личными легковушками. Авиатранспорт из-за своей дороговизны и прочих неудобств у заробитчан непопулярен. Переезд по железной дороге, безусловно, менее утомителен, но продолжительнее и стоит в полтора раза дороже, поэтому я им ни разу не пользовался.

Основных пунктов отправки и прибытия на территории Украины два — Киев и Львов, из этих городов есть возможность выехать в любой день недели, также периодически вводятся или отменяются автобусные маршруты в Чехию из других украинских городов. Например, из Днепропетровска, Одессы и Ужгорода — здесь график движения менее плотный: один, два, три раза в неделю. Маршрут следования может пролегать как через Польшу, так и через Словакию. Маршруты же молдаван с румынскими паспортами мы не обсуждаем...

Уровень сервиса зависит не только от фирмы-перевозчика, но и от времени года: зимой, оправдываясь тем, что вода для туалетов может замерзнуть, ее вообще не заливают, и, соответственно, туалеты в автобусах не работают...



Лично для меня, да, наверное, и для других путешествующих, самая тяжелая — ночная часть маршрута. Особенно если автобус заполнен более чем наполовину; особенно если не повезло с соседом; особенно если в салоне оказались маленькие дети и т. д. Полный букет этих «удовольствий» вас ожидает, если домой вы едете перед каким-нибудь праздником, а из дома — после.

Так что, отправляясь, например, из Киева в почти пустом автобусе, не спешите радоваться: к моменту пересечения украинско-польской границы 90 % мест могут оказаться занятыми сидячими пассажирами, а остальные места (в том числе иногда и проход) — уже лежачими борцами с украинским самогоном, который они перевозили через границу в бутылках из-под какой-нибудь «Моршинской». И если прожить несколько дней без пищи, не теряя работоспособности, для меня не проблема, то провести сутки (а именно столько в среднем продолжается автобусная поездка от Киева до Праги) без сна в мчащемся автобусе, вдыхая ароматы сивушных масел и потных ног, для непьющего человека — удовольствие ниже среднего.

В молодые годы, работая отбойным молотком в очистном забое шахты, я умудрялся в свободное от работы время заочно учиться в университете, нянчиться с ребенком, заниматься карате и периодически напиваться для разрядки, — и в то лихое время мне вполне хватало трех-четырёх часов сна в сутки: полтора-два после смены и столько же перед работой. Зато теперь я точно знаю, что означает выражение «годы берут свое». Когда твой «спидометр» отщелкивает шестой десяток и ты уже сформировавшаяся личность со своей жизненной программой, со своим набором болячек, наконец, — а судьба бросает тебя из «развитого социализма» советского образца в восточно-европейский капитализм, предлагая сыграть на чужом поле, не зная не только правил, но, как окажется, даже и названия игры, — тут уж приходится все ресурсы организма подключать к борьбе за выживание. Но этим нас не испугаешь! Я всегда сам торил свой жизненный путь, иногда ошибаясь, спотыкаясь, набивая шишки, но не ожидая ничьих подарков, надеясь только на себя, чтобы с себя потом и спрашивать: «Бачили очи що купували?»

...Путешественники обычно описывают природу тех мест, которые они проезжают, но описывать украинскую природу после Гоголя я не могу: нет ни таланта, ни фантазии. Отмечу лишь, что Север Украины более живописен, чем южная Дикая Степь, однако, на мой взгляд, далеко ему до родной моему сердцу Вологодчины. Сто шестьдесят лет назад «некласный художник» Тарас Шевченко пытался издать серию эстампов «Живописная Украина», но, как писал известный исследователь творчества этого украинского гения О. А. Бузина, «задуманный с помпой проект», «несмотря на содействие властей», к сожалению, провалился. Возможно, Тарасу тоже не хватило таланта и фантазии. Ну что же, подождем появления нового Гоголя...

А я, увы, не писатель, а, скорее, рассказчик, хотя и отвлекающийся зачастую на различные околофилософские оценки (трактовки) некоторых проявлений окружающего мира. Поэтому хочу предупредить читателя: описывая какое-либо событие или оценивая явление, я всего лишь описываю свою реакцию на это событие и свое понимание этого явления, а ваше дело — соглашаться со мной или нет. И если мои трактовки разрушают чьи-то красивые иллюзии — заранее приношу свои извинения.

Итак, с природой мы разобрались, теперь перейдем к городам, через которые пролегал мой маршрут. Первую остановку автобус сделал в Житомире, но еще на границе одноименной области всех въезжающих в нее по нашей трассе встречало некое сооружение (не знаю, как оно правильно называется) с гордой надписью: «Житомирская область — родина С. П. Королева». Это было что-то новенькое, хотя в свои первые поездки я этого сооружения не замечал, возможно, оно появилось несколько позднее. Целиком Житомир я не берусь оценивать, но та его часть, которую довелось увидеть, впечатления на меня не произвела.

Город Ровно выглядел получше, хотя отставание от Киева и даже Донецка я бы назвал разительным.

Последним городом на территории Украины был Львов — город-загадка для меня. Несколько моих посещений «жемчужины» и «туристической Мекки» Украины (включающих и пешую экскурсию по центру, и посещение театра оперы и балета), несмотря на все мои искренние попытки понять притягательную силу этого города, о которой настойчиво твердило мне украинское ТВ, увы, ни к чему не привели: Львов остался для меня весьма достойным украинским областным центром, не более того.

Если все эти вышеперечисленные города мы проскочили быстро, а описал я их еще быстрее, то пропускной пограничный пункт «Краковец» был так гостеприимен, что никак не хотел расставаться с нами. Автобусов было немного, но продвижение шло чрезвычайно медленно. Кто-то говорил, что это польские таможенники проводят «тихую» забастовку, т. е. на работу выходят, но работают очень медленно, что вряд ли было правдой — ситуация повторялась и через год, и через два, и через три, причем при пересечении границы в обоих направлениях. Выдвигалась и версия о нежелании поляков пускать украинцев в Европу, строились предположения о тщательности досмотра... В общем, шестичасовое пребывание во власти мытарей лишней раз подтверждало правоту негативно-го отношения людей к представителям этой профессии еще с библейских времен. И даже киношный легендарный Верещагин из «Белого солнца пустыни» не в состоянии обелить репутацию этих любителей поживиться чужим добром, прикрываясь государственными интересами. Нужна ли государству такая служба? Нужна, как и милиция. Но пусть там буду не я и не мои дети.

* * *

Наконец нас пустили на территорию Польши. Природа этой соседки Украины очень напоминает русскую, и не только видом дефицитных на Украине березок, но и бытовыми артефактами — рядом с ухоженным участком может находиться пустырь со свалкой. Архитектура соответствует сложившемуся у многих иностранцев мнению о поляках как о нации хвастливой. Так, если чех строит добротный, функционально удобный дом без выпендрежа и обставляет его такой же добротной и удобной мебелью, сантехникой и электроникой, то поляка в первую очередь заботит внешний вид дома, а чем он будет набит внутри — это уж как получится. Говоря по-русски: «На брюхе шелк, а в брюхе — щелк». Традиционная набожность поляков не принесла им ничего, что вызывало бы зависть других народов. На заработки к ним, кроме украинцев, по-моему, никто не ездит, зато сами они активно батрачат по всему свету. Таким образом, имея незавидное настоящее и туманное будущее (какого-либо «польского прорыва»

вроде даже не планируется), полякам остается жить воспоминаниями о былом величии Речи Посполитой, черпая жизненные силы из «исторических» фильмов Ежи Гофмана. А о том, как «рады» полякам, а также румынам, албанцам и другим бедным родственникам в Европейском, Шенгенском и прочих союзах, я ничего говорить не буду, рассчитывая на проницательный ум читателя. Не буду я касаться и польско-украинских отношений, тем более не стану копаться в прошлом — не тот исторический момент, ибо, как мудро заметил известный английский историк и философ Р. Дж. Коллингвуд, «каждое настоящее располагает собственным прошлым». Ну и хватит о Польше, тем более что проехали мы ее ночью, а утром вкатились на территорию Чехии.

Чешская природа дух не захватывает, но глаз радует, да и с памятниками минувших веков здесь встречаешься на каждом шагу. Проскакывая какую-нибудь маленькую деревушку, приютившуюся на склоне скалистой горы, и разглядывая выбитые на фасаде даты постройки того или иного здания, просто диву даешься: обычный, ничем не примечательный жилой дом, которому далеко за двести, а то и за триста лет, продолжает все так же исправно служить своим очередным хозяевам. Я уж не говорю о том, какой заботой окружены старинные замки и культовые сооружения! Конечно, такая трогательная забота о своей старине вызывает чувство уважения и белой зависти...

Первая на территории Чехии и единственная перед Прагой остановка — столица Моравии город Брно. Дружно вываливаемся из автобуса размяться и покурить — в то время борьба с курением еще не достигла такого градуса радикализма и можно было свободно курить прямо на платформе автовокзала (рядом с урной, конечно), а через границу разрешалось провозить целый блок дешевых отечественных сигарет. И что я вижу?

Прямо передо мной висит билборд, нижнюю половину которого занимает (да простят меня интеллигенты!) жирная целлюлитная женская задница, а верхнюю — кокетливо улыбающаяся девичья головка в широкополой шляпе, игриво выглядывающая из-за этой... Если уж быть до конца точным, то на даме можно было рассмотреть еще фрагменты коротенькой кофточки. Я не отношу себя к рафинированным эстетам — двадцать лет шахты всегда будут жить во мне, но прошу поверить, что мне неприятно и сейчас писать об этом. Однако я должен отметить этот знаковый факт: первое, что я увидел, ступив на чешскую землю, была жопа...

* * *

До Праги остается немногим более двух часов, и я решаю доложить о своем прибытии в пражское кадровое агентство. Когда я выходил курить, то через окно видел, что мой сосед, типичный «вуйко с полонины», подсевший к нам перед самой границей и изрядно испортивший мне ночь своим храпом и сивушным перегаром, менял сим-карту в своем телефоне. К нему я и обратился:

- Слышь, друг! Разреши один короткий звонок с твоего телефона.
- Та ни, друже! Я ще симку не поменяв...
- Спасибо, что не отказал, ублюдок.
- Шо? — Челюсть «вуйки» отвисла, в глазах абсолютное непонимание.
- Шо слышал, гнида. Я видел, как ты менял карточку, — говорю я и встаю, чтобы попросить телефон у водителей, но меня останавливает парень, сидевший

через проход от меня. Он тоже ехал от Киева, но за всю дорогу мы не обменялись с ним ни словом. Парень протягивает мне свой телефон:

— Возьмите. Говорите сколько надо.

— Спасибо.

Звоню в агентство, объясняю ситуацию.

— Хорошо, мы все поняли, — отвечает сотрудник. — Когда приедете на автовокзал Флоренс, позвоните нам еще раз. За вами приедут.

Заворачиваю телефон в долларовую купюру и возвращаю его парню. Телефон забирается, доллар остается в моей руке.

— Мало? — смотрю с непониманием.

— Это совершенно ни к чему. Телефон корпоративный...

— Тогда еще один такой же короткий звонок с Флоренса...

— Без проблем.

— Приятно иметь дело с нормальным человеком.

— Взаимно.

Все это время «вуйко» сопел, ерзал и явно не находил себе места. Потом он склонился над рюкзаком, стоявшим под ногами, и стал энергично в нем копать. Может быть, случайно, а по-моему — намеренно, он довольно больно ударил меня правым локтем. Если бы сразу вслед за этим последовало извинение, я бы, наверное, стерпел. Но пока я делал затяжной вдох, никаких извинений сказано не было. Поэтому, выхватив из кармана нож (обыкновенный кухонный, но где-то я читал, что, по данным УВД, 70% бытовых убийств совершается именно кухонными ножами), я быстро наклонился к своему соседу, крепко обнял его за шею левой рукой, а нож, зажатый в правой, упер ему в кадык. Должен сказать, что привычка к основательности заставляет меня все ножи, которыми мне приходится пользоваться, затачивать до максимальной остроты, за что меня довольно часто ругает жена после каждого очередного пореза, и что, наверное, сразу почувствовал мой незадачливый сосед.

— Не дергайся, сука! Я из тех пацанов, которые пойдут на все, — зашипел я ему в ухо. — Сиди спокойно.

Затем я откинулся на спинку сиденья, достал яблоко и, отрезая от него аккуратные дольки, принялся спокойно жевать. Повернув голову, встретился взглядом с парнем, одолжившим мне свой телефон, — он показал мне большой палец правой руки и одобрительно кивнул головой. Мой сосед слева, посидев еще некоторое время в полусогнутом положении, как-то неуверенно выпрямился, отвернулся к окну и до самой Праги о себе не напоминал.

Из своих впечатлений от Праги хочу, пожалуй, выделить одно: когда автобус оказался на какой-то возвышенности, откуда на некоторое время открылся вид на значительную часть города, я, обозревая море красных черепичных крыш, подумал, что надо бы выяснить, откуда пошло название «Злата Прага», т. к. ничего золоченого я не увидел.

Но вот наконец и вокзал Флоренс. Звоню в агентство, подтверждаю свое прибытие, называю номер платформы.

— Ждите. За вами уже выехали.

Возвращаю телефон:

— Спасибо за помощь. Даст бог, еще встретимся.

— А мы уже встретились, — загадочно отвечает парень с улыбкой и, махнув на прощание рукой, исчезает в толпе.

Я — один на один с Прагой, Чехией, Европой... Ну и что? Когда я работал в шахте, то иногда, задержавшись в лаве, я чувствовал себя один на один с земным шаром. Сейчас за мной приедут и... Ждать пришлось недолго.

— Вы — Глазов? — раздалось сзади и откуда-то сверху. Ясно — «западонец». Почему-то именно они умудряются чаще всего неправильно ставить ударение в моей фамилии. Голос негромкий, но мощный. Оборачиваюсь. Так и есть — «трехстворчатый шифоньер с антресолями». Да, с такими габаритами тебе бы в проходке цены не было, а чем ты тут занимаешься?

— Глазов, — поправляю его я.

Он согласно кивает.

— Едем. — Он легко подхватывает мою тяжелую сумку, я поспеваю за ним. — Откуда?

— Донецкая область, — уклончиво отвечаю я. После проигранных Януковичем президентских выборов дразнить электорат Ющенко родным городом юго-восточного кандидата я посчитал неразумным. Нужно хотя бы осмотреться. Хотя, если этот «малыш» из агентства, то...

— Львов, — коротко произносит мой спутник и, протянув мне руку, представляется: — Андрей.

Должен сразу предупредить, что дневников во время моего второго пришествия в Чехию я не вел, многие имена позабылись, так что, с вашего позволения, я буду произвольно заменять их на первые попавшиеся. Я же пишу не документальное исследование, а свободные воспоминания. И если кто-то из читателей узнает в одном из участников описываемых событий себя, но под другим именем, — прошу простить великодушно...

— Анатолий. Рад познакомиться. Тем более что Донецк и Львов — заклятые друзья, — и, помолчав немного, с грустью добавил: — А у меня друг был из Львова. Служили вместе в Севастополе. Он демобилизовался на полгода раньше меня, мы переписывались, а потом я потерял его адрес. Только и осталось в памяти название улицы — Олейная. А у него моего домашнего адреса не было. Так связь и прервалась. А зовут его Ярослав Петрий. Очень достойный парень. Может, что-нибудь слышал о таком? Все-таки из одного города...

Андрей отрицательно покачал головой.

— Нет. И улицы я такой не знаю. И фамилия его должна быть не Петрий, а Петриу.

— Да нет же, Петрий! Я писал именно на эту фамилию.

— Нет, — уверенно возразил Андрей. — Петриу.

— Да какая теперь разница...

Мы подошли к машине Андрея, черной и такой же большой, как и он сам. Побросали вещи в багажник.

— Прямо на Siemens или сначала в общежитие? — спросил я, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье.

— На какой Siemens? — не понял Андрей.

— На завод Siemens, откуда мне прислали вызов и где я собираюсь работать, — немного раздражаясь и предчувствуя неладное, пояснил я.

— Не горячитесь. Просто вы в первый раз на заработках в Чехии, поэтому не в курсе. Здесь уже не имеет значения, кто прислал вызов, а место работы здесь определяет «клиент», к которому вы попали. Если, конечно, у вас нет здесь знакомого чеха, готового взять вас напрямую к себе на работу, платить

за вас все налоги и иные платежи и нести за вас ответственность. Я предлагаю вам работу на стройке, что совсем неплохо для начала. Какое-то время уйдет на адаптацию, а когда освоитесь, научитесь понимать чешский язык, можно будет подумать о переводе на более престижную работу.

— Но у меня нет никакой строительной специальности...

— Это не имеет никакого значения. Работать все равно придется разнорабочим.

— Значит, вы — мой «клиент»? И как же я к вам попал?

— От директора агентства, которой вы сегодня уже дважды звонили.

Я ненадолго задумался. Хотя что тут думать — ситуация и так предельно ясная.

— Если я соглашусь на ваше предложение, то смогу посылать домой хотя бы долларов триста в месяц?

— Вполне. Если не будете их пропивать.

— Я вообще непьющий.

— Отлично.

— А если мне понадобится аванс?

— Если будете нормально работать — без проблем в любое время. Ну что? Едем устраиваться или пойдете брать обратный билет на Киев?

— Едем... Надо отбить хотя бы вложенные деньги...

— Конечно, — согласился Андрей. — Сейчас на убытковне* никого не должно быть — все на работе, а ключей от комнат у меня нет. Так что займемся другими вопросами. Как у вас с деньгами?

— Есть на первое время, но доллары...

— Нет проблем. Я сам куплю их по хорошему курсу, ни в одном обменнике столько не дадут. И в дальнейшем, если будете продавать доллары, обращайтесь ко мне.

И действительно, разница курсов в пражских обменных пунктах поражала: если один доллар продавался в то время где-то за 22–23 кроны (почешки — коруны), то покупался всего лишь за 17. После московских обменников, где разница составляла какие-то копейки, все это сразу создавало устойчивый негативный образ чешской финансовой системы.

— Работать будете на замке. К работе приступите завтра. Дорогу покажут ребята. Добираться до работы будете сначала трамваем, потом на метро, а после метро — автобус, поэтому вам понадобится проездной на все виды общественного транспорта. Советую покупать месячный, так выгодней. И еще нужна чешская сим-карта для мобильника. Берите Vodavon — самый выгодный тариф для переговоров с Украиной. Паспорт придется отдать мне. Я сам сделаю вам регистрацию.

— А если меня остановит полиция?

— Вряд ли. Если не будете ее провоцировать... Ну а если остановит, сразу звоните на мой телефон.

Забегая вперед, скажу, что где-то через месяц Андрей сообщил мне, что меня оштрафовала полиция для иностранцев за задержку регистрации и мне придется проехать с его помощником точно уж не помню в какой город, кажется, Табор, для объяснений и уплаты штрафа. На мой вопрос, почему же меня до сих пор

* Рабочее общежитие (чешск.).

не зарегистрировали, ведь паспорт все это время находился у них, он недовольно ответил: «Некогда было. Да не переживайте, фирма штраф оплатит».

Затем меня оштрафовали еще раз — под угрозой была уже моя виза, потому что, фактически проживая в Праге, я был зарегистрирован, кажется, в Градце-Кралове, и этот обман открылся. И опять меня «выкупала» фирма.

Вообще, Андрею, как никому другому из людей, скажем так, его профессии (по крайней мере, из числа моих знакомых), была присуща такая особенность характера и стиля работы, как своего рода маниловщина. Он любил строить прожекты, много говорить о них, убеждать себя и других в правильности своих планов, не любил только работать, а это зачастую создавало новые проблемы в его и без того беспокойной жизни «клиента-мафиози».

Пока мы ехали, я рассеянно слушал разглагольствования своего нового шефа и с любопытством разглядывал пражские улочки. Припарковались возле, если не ошибаюсь, шестиэтажного дома старой постройки.

— Я скоро, — буркнул Андрей и скрылся в одном из подъездов. Я тоже вылез из машины и уселся на ближайшую скамейку. Над дверями напротив красовалась вывеска «Весела херна». «Да уж, надеюсь, что скучно мне здесь не будет...» — подумать о чем-то еще я не успел, потому что из соседних дверей, с треском распахнувшихся, смерчем вырвался Андрей. Он был взбешен.

— Отморозки! — рычал мой «клиент». — Им лишь бы не работать! Выгружаемся...

Похватав мои пожитки, мы нырнули в подъезд. Он оказался проходным. Вынырнув с другой стороны дома, мы оказались на дне каменного колодца перед небольшим двухэтажным домиком. Миновав маленький дворик, Андрей устремился на второй этаж. Я едва поспевал за ним. С лестницы мы попали в г-образный коридор, куда выходило несколько дверей и где разместились небольшой холодильник, трехконфорочная газовая плита, кухонный стол и пара шкафов. Андрей стремительно проследовал в дальнюю комнату, я — за ним.

— Серега, твою мать! — гремел шеф. — Ты хотя бы одну неделю можешь отработать полностью? У тебя каждый день — как не понос, так золотуха! Твоих годин не хватит, чтоб все авансы мне вернуть!

Тот, кого звали Серегой, являл собой зрелище весьма примечательное: возраст под пятьдесят, рост чуть выше среднего, небольшая голова на тонкой шее и узкие покатые плечи, плавно переходящие в длинные руки, увенчанные мощными ладонями. Таким же мощным был и «фундамент» Серегоино тела, особенно ступни, спрятанные в самодельные войлочные тапки-шлепанцы, затрудняюсь сказать, какого размера. «Клякса» — сразу окрестил я Серегу. Привыкнув к комнатному освещению, я рассмотрел нечто, поразившее меня гораздо больше, чем нескладная фигура виновника скандала, — выражение его лица. В нем было столько искренней доброты и какой-то наивной беспомощности, что ругать его можно было только повернувшись к нему спиной, что Андрей и пытался проделать. Причем получалось у него довольно забавно: ругая Серегу, он смотрел на меня, при этом указывая на несчастного прогульщика через плечо. Серега, разведя в стороны свои огромные ладони, оправдывался как мог:

— Ну Андрей! Не рви душу! С кем не бывает? Ну приболел трохи. Весна — время коварное, говорю тебе как специалист.

— Замолкни! Академик пороссячий!

Сергея, действительно, иногда представлялся ветврачом, окончившим Уманскую сельхозакадемию. Однако те, кто знал его достаточно хорошо, в это верить отказывались.

— Что ж ты, долбаный больной, столько жратвы себе наготовил? — продолжал бушевать Андрей. На столе стояла, источая ароматные запахи, большая сковорода жареной картошки. — Мне, здоровому, этого на неделю хватит. А при температуре положено голодать и больше пить, но чай!

— Андрюша, — то ли простонал, то ли пропел Серега, — так то ж для ребят! Не для себя, Андрюша!

— Ребята будут не раньше, чем через пять часов. Угости лучше вот новенького. Тоже из «академиков».

— Конечно, Андрюша, конечно! Примем как родного!

— Идемте, покажу вашу комнату, — махнул мне рукой Андрей. — Вещи пока оставьте здесь.

Комната оказалась рядом. Подергав запертую дверь, Андрей сказал:

— Первой должна появиться Лена. Она и откроет комнату. Там есть одна свободная койка, ее и занимайте.

— Лена — комендант? — спросил я.

— Она живет в этой комнате. И еще три дамы там живут, но она с работы раньше приходит.

— Я буду жить в женской комнате?

— А что такого? Бойтесь, что ли?

— Да нет... Просто со мной такого еще не случилось.

— А за границу на заработки вам ездить случалось?

— Только в Россию, но там несколько иная гендерная политика.

— Привыкайте, — пожал плечами Андрей. — Завтра с утра — на замок.

А у меня еще дел неупорядочено.

Андрей ушел, и мы остались вдвоем с Сергеем. Сначала я решил осмотреться. Будущее еврообщество на тот момент состояло из четырех жилых комнат. Сергеева комната — на шесть человек (все мужчины), моя — на пять, и две маленькие комнатенки предназначались для семейных пар. Сопровождавший меня Серега давал пояснения:

— На сегодняшний день на нашем этаже — четырнадцать человек, считая и тебя. Вот в этой комнатке без окон, вентиляции и отопления, где сейчас живет один парень, собирается поселиться Лена, как только приедет ее «муж», а точнее — сожитель... Итак, на всех мы имеем один совмещенный санузел (унитаз, ванна, раковина), один старенький холодильник, который всегда так забит продуктами, что ночью открывается или вообще отключается, и одну газовую плиту с тремя конфорками. Если учесть, что почти все жильцы одновременно просыпаются на работу, а потом так же дружно с нее возвращаются, то проблем хватает.

Забегая вперед, замечу, что обилие проблем имело и свои плюсы: удалось сунуть сковородку на освободившуюся конфорку — и ты доволен, запихнул продукты в холодильник — и ты счастлив, ну а если удалось помыться и побриться — то это был вообще праздник.

— Но это еще ничего, — продолжал Серега, — рассказывают, что раньше они тут полгода жили вообще без электричества, при свечах. Ну ладно, пошли обедать.

Объединив наши пайки, мы плотно пообедали, попутно обмениваясь информацией.

— Понимаешь, — рассказывал Серега, — я умею работать на автопогрузчике и за границу поехал только при условии, что буду выполнять именно эту работу. Мне ее одна киевская фирма четыре месяца подыскивала. Нашла... Как мне сказали... Я приехал. И что имею? Вместо автопогрузчика — тачка, с которой я, как дурак, гоняю по стройке, развозя бетон и маляту. Или вкалываю на бетономешалке.

— Понимаю, — киваю я. — У меня такая же история. Только я хотел работать на заводе Siemens... И где же выход?

— Реально выход один: самостоятельно искать другую работу или валить домой. Потому что судиться с ними — пустая трата денег, времени и нервов. Даже если выиграешь суд, проигравшая фирма закроется, чтобы завтра открыться под другим названием...

— Предлагаю на этой оптимистической ноте прервать нашу беседу, — зевнул я, — и пару часиков вздремнуть. Где можно прилечь?

— Да выбирай любую койку...

...Когда я проснулся, в соседней (моей) комнате уже всю бурлила жизнь: слышались женские голоса, гремела посуда, хлопала дверь. Я постучался и осторожно открыл дверь.

— Добрый вечер, милые дамы! Принимайте пополнение. Гроза Москвы, краса Донбасса — с сегодняшнего дня весь с потрохами к вашим услугам.

Три женщины бальзаковского возраста, побросав свои дела, подозрительно уставились на меня. Самая маленькая и бойкая (это оказалась Лена) ответила за всех:

— А нам и без вас не тесно.

— Вот и Андрей так же считает, — подтвердил я, — поэтому и решил заполнить недокомплект моей персоной.

— У нас к девушкам без пряников не ходят, — высказалась Лариса, самая молодая.

— Мадемуазель! Пряники — это же так банально! Боюсь, что для таких прекрасных дам будет мало и самых лучших на Украине конфет и лучшей в мире медовухи, — ворковал я, выставляя из сумки на стол коробку «Вечернего Киева» и бутылку «Немирова».

Лица девушек смягчились, а на меня что-то накатило, и я понес всякую околесицу:

— А почему я не вижу в ваших апартаментах хотя бы маленького телевизора? Вы же совершенно не в курсе главных мировых событий. Итак, главная новость последних дней на всех украинских телеканалах — мой отъезд в Чехию. Все журналисты просто изнывают от нетерпения узнать, где же бросит якорь этот величайший гений современности, светоч интеллекта и пастырь всех светлых сил мира сего. Мне пришлось двенадцать раз менять свой рост, вес, пол, возраст и маршрут следования. Так что к вам у меня будет одна, но очень важная просьба: полное молчание о моем местопребывании. Этого требует престиж нации и соображения высшей политики. Надеюсь, вы прониклись важностью возложенной на вас миссии?

Женщины взирали на меня обалдело и как-то подозрительно. Наконец подала голос и третья, самая старшая из присутствующих дам (имя ее совершенно стерлось из памяти):

— Да, силен! И как только таких жены отпускают одних за границу?

Кураж как внезапно нахлынул, так столь же внезапно и исчез. Я устало пожал плечами и лениво ответил:

— Не знаю, что вы имели в виду под словом «как», но думаю, что у каждого из «таких» — своя история. Ну, что замерли? Стол накрывать будем? Кстати, где мое спальное место? Что-то мне подсказывает, что, как самого молодого и прыгучего, меня ждет второй ярус.

В комнате было четыре кровати — три обычные и одна двухъярусная, все нижние кровати были застелены бельем, верхняя — нет. Также из мебели имелся шифоньер, три тумбочки, стол, пара стульев и кресло. Все старенькое. Обои были посвежее, чем в Серегиной комнате, и не отставали от стен.

— Поразительная проницательность, — подтвердила мою догадку Лена. — Кстати, тумбочки новобранцу не положено, но, так и быть, мы подарим вам нашу гордость — единственное кресло. Можете размещать на нем и под ним свои сумки.

За стол сели, не дожидаясь четвертой жилички. Та появилась, когда девочки уже успели опрокинуть по паре рюмашек «Немирова», а я — выпить свою походную кружку кофе. Вид у нее был усталый и недовольный. Я вскочил и, уронив голову на грудь, представился:

— Просто Толик. С сегодняшней ночи — ваш сосед сверху. Прошу понять меня правильно.

Девчата захихикали, а моя нижняя соседка не спеша разделась и, протянув мне руку, представилась:

— Ирина Анатольевна.

— О, даже так? — воскликнул я.

— А что? — надменно спросила она. — У меня, между прочим, высшее образование.

— Хотелось бы уточнить, по какой специальности у вас высшее?

— Бухгалтер.

— Ира, — вмешалась в диалог Лена, — он, похоже, не врет... ну, насчет своих нескольких дипломов. Так что опусти свой хвост, подруга.

— Да уж, — поддакнула самая старшая, — говорун еще тот. Я уж испугалась за свои мозги от соседства с таким болтуном.

— И совершенно напрасно! По жизни я — молчун и мыслитель. И вы скоро в этом убедитесь. А те редкие вспышки болтливости, вроде сегодняшней, — это так, аутотренинг. Тест на профпригодность как юриста, от которого в суде, кроме всего прочего, требуется также умение, мгновенно реагируя на малейшие нюансы в ходе судебного разбирательства, так направлять ситуацию...

— Э-э-э! — перебила меня старшая. — Юрист! Бухгалтер! О чем ты говоришь? Спустись на землю. Здесь ты — быдло, третий сорт. Посудомойки и разнорабочие — вот мы кто на этом празднике жизни...

Я замолчал. Этим воспользовалась Ирина Анатольевна:

— Кстати, о работе. Завтра ранний подъем и нелегкий день. Думаю, Анатолий, что для вас он будет днем больших разочарований.

* * *

Посоветовавшись с Серегой, я решил, что первые дни, пока есть еще продукты, захваченные из дома, буду вставать вместе со всеми и, не толкаясь воз-

ле трех конфорок, стану спокойно завтракать и собирать нехитрый «тормозок» из своих запасов. А после работы, поехав в один из магазинов Tesco или Kaufland, где самые демократичные цены, буду пополнять свои запасы колбасы, яиц, салатов, хлеба и супов быстрого приготовления. Поскольку готовить я не люблю и не умею, то мое несложное меню обычно состояло из следующих блюд: завтрак — яичница с колбасой и луком, залитая сверху кетчупом, и поллитровая кружка кофе; обед («тормозок») — салат (из Kaufland), бутерброды с колбасой, чай (термос на 750 мл); ужин — полевка (украинцы по привычке называли ее «Мивиной») с ложкой мясной тушенки, кружка кофе. На десерт покупал что-нибудь из фруктов. К чаю или кофе всегда было какое-нибудь печенье или булочки. Месячная «продовольственная корзина» обходилась мне приблизительно в сто долларов.

Сковороду и кастрюлю я бесплатно приобрел на ближайшем пункте приема металлолома у одного доброжелательного чеха. Сигареты покупал на Колбеновском рынке у украинских контрабандистов. Одежду, обувь и прочие мелочи, необходимые для жизни, — в основном там же.

Через несколько дней после приезда, когда домашние продукты практически были съедены, я поставил будильник на 30 минут раньше и, пока все еще спали, успевал приготовить свой завтрак и «тормозок», затем спокойно завтракал и не спеша отправлялся на работу.

Дорога на работу занимала около часа: до метро нужно было проехать две или три остановки трамваем (зависело от того, какую остановку я выбирал для посадки). Пражский трамвай — самый обычный, ничего особенного, зато метро несколько отличалось от привычного мне московского и киевского. Пражский метрополитен, как и киевский, имел только три линии — красную, желтую и зеленую. От киевского его отличала меньшая загруженность, зато большая чистота и освещенность. Практически все подземные станции отделаны пластиком и поэтому производят впечатление какой-то ненадежности и пожароопасности. Таких подземных дворцов, как на московских центральных станциях, здесь не увидишь. Некоторые станции оборудованы специальными лифтами для инвалидов-колясочников и мамаш с детскими колясками. Поскольку поезда здесь проезжают (а не «проходят») значительно реже, чем в наших столицах, то на многих станциях установлены телемониторы, потчующие скусающих пассажиров разной полезной и развлекательной информацией.

Неторопливость пражского метро заключается еще и в том, что двери вагонов открываются и закрываются также непривычно медленно. К тому же они еще снабжены специальными кнопками: нажал кнопку — дверь на станции откроется, не нажал — так и останется закрытой. Стоимость проезда зависит от времени пребывания в метро и от количества станций, которые пассажир собирается преодолеть. В целом получается намного дороже наших подземок, куда можно спуститься один раз и кататься там хоть целый день, чем и пользуются, кстати, божжи-попрошайки. А в пражском метро этой публики нет.

Можно, конечно, рискнуть прокатиться «зайцем», что и делали некоторые наши бережливые заробитчане, однако, нарвавшись на контроль и уплатив штраф, равный стоимости приблизительно двух месячных проездных на все виды городского общественного транспорта, они, конечно же, сожалели о содеянном. Лично я, сразу взяв себе месячный проездной приблизительно за двад-

цать долларов, в дальнейшем своевременно его продлевал и поэтому спокойно катался по Праге и окрестностям, беззаботно пересаживаясь с одного транспортного средства на другое и не опасаясь контролеров, которые, кстати, за первое полугодие моего пребывания в чешской столице проверили наличие у меня проездных документов раз или два.

Итак, доехав трамваем до станции метро «Пальмовка», я спускался в подземку и через шесть остановок выходил на конечной станции желтой линии «Черный Мост». Здесь я пересаживался на автобус и ехал минут 20—30 до Й... — замка, места моей работы.

Как мне сказали, замок теперь принадлежал одной семейной паре: она — бывшая чешская учительница, он — немецкий банкир. И если хозяин появлялся на замке очень редко (за полгода моей работы там я видел его от силы пару-тройку раз), то хозяйка приезжала к нам практически каждую неделю, а иногда и по несколько раз в неделю. Ее появление на стройке какой-либо нервозности или напряжения в нашей работе не создавало, была она женщиной приветливой и доброжелательной. Про себя я назвал ее «пани-фрау», затем постепенно ее так стали звать и другие работники.

Замок и территория вокруг вместе с расположенными на ней строениями находились на реконструкции, после которой замок должен был превратиться в четырехзвездочный отель.

Возраст замка никто из работавших там чехов мне назвать не смог. Однажды, работая в подвале (склепе), я выдолбил вмурованное в стену проржавевшее металлическое кольцо и сказал работавшим там же чехам, что возьму домой этот сувенир: ведь возможно, это кольцо вмуровал в стену сам Карл IV. Чехи от души рассмеялись и сказали, что скорее уж это сделал Карел Готт.

Вообще, замок изначально не являлся каким-то фортификационным сооружением — скорее, это был загородный дом какого-нибудь небедного вельможи. Я не архитектор и не искусствовед, мне трудно дать правильное название этому строению. Если пара декоративных башенок с зубчатыми стенами дают право дому называться замком, то пусть это будет замок.

Вокруг замка был парк с двумя прудами (рыбниками), заросший деревьями самого разного возраста и нуждающийся в серьезной перепланировке. Имелась также пара винных погребков, зарытых в землю, полуразрушенные конюшни и еще несколько небольших строений неизвестного предназначения. Вся территория была обнесена кирпично-каменной стеной, местами обрушившейся, что позволяло косулям, зайцам и фазанам, обитавшим в окрестностях замка, заглядывать к нам в гости.

Всю квалифицированную работу на стройке выполняли чехи, а украинцы были у них на подхвате — «принеси-подай». Утром прораб и мастер давали задание на день чешскому бригадиру Петру. Тот, расставив своих людей, выделял им в помощь необходимое количество подсобников-украинцев. Оставшиеся украинцы получали самостоятельную работу (пробить отверстие в стене под дверной или оконный проем, выкопать траншею, очистить помещение от хлама и т. п.). Готовить раствор на бетономешалке и развозить его на тачках или разносить в ведрах также поручалось украинцам. Нас распределял по рабочим местам уже наш, украинский, бригадир, правда, под контролем Петра. Чехи, видя, как работает тот или иной украинец, иногда сами просили себе в подсобники конкретного человека.



Поскольку я с пятнадцати лет, выйдя из-под родительской опеки, пребывал в самостоятельном плавании и имел еще за плечами флотско-шахтерско-заробитчанскую школу выживания, мне не составило большого труда адаптироваться к новым условиям. Моя работа не была особенно тяжелой (для меня, во всяком случае), поэтому как-то хитрить или сачковать необходимости я не усматривал и трудился в обычном для себя режиме — не ленился, но и не надрывался. А поскольку, как я уже отмечал, оплата была не сдельной, а почасовой и к тому же весьма невысокой (по чешским меркам), то и свой трудовой энтузиазм я считал вполне адекватным. Чехи, судя по всему, с этим были согласны.

Народ на стройке собрался разный, но в целом атмосфера здесь была весьма терпимая. И в первую очередь — благодаря умелому руководству наших бригадиров.

* * *

Чешским бригадиром, как я уже сказал, был Петр. Коренастый, крепкий, напористый, властный, но не злопамятный. Он мог с такой яростью наброситься на провинившегося подчиненного, что казалось — у последнего нет шансов живым выбраться из этой переделки. С налитым кровью лицом, изрыгающий ругательства и размахивающий тяжелыми кулаками, Петр был страшен. Его пронзительный крик приводил в беспокойство всех сторожевых собак в округе, а замковый парк мгновенно очищался от всех представителей обитающей там фауны, включая комаров. Но, видя, что урок воспитания прошел не зря и виновник бригадирского гнева полностью осознал свою вину и уже встал на путь исправления, Петр как ни в чем не бывало обнимал того за плечи и что-то доверительно ему рассказывал. Меня, оценив в раздевалке мою фигуру, он сразу назвал Рэмбо, а узнав мой возраст, вообще стал относиться ко мне по-дружески и всегда ставил в пример худосочной, но понтоватой молодежи.

С первым украинским бригадиром, Володей из-под Тернополя, нам тоже повезло. Наряды он старался распределять по справедливости: вчера у тебя был тяжелый наряд, значит, сегодня имеешь право на более легкий. К несунам, симулянтам и бездельникам относился резко отрицательно — сдавать не сдавал, но постоянно их ругал. Сам работал наравне с другими, причем не выбирая для себя наряд полегче.

Нужно сказать, что главным требованием к украинскому бригадиру на замке было знание чешского языка, позволяющее максимально точно уяснить задание и не наломать дров. Володя языком владел лучше других, но все же иногда случались казусы.

Однажды накануне Благовещения Володя объявил, что завтра мы должны будем полностью очистить подвальное помещение, где стоял старый водонагревательный котел, обложенный кирпичом, который нужно было развалить и вывезти из склепа, после чего подровнять пол и подготовить его к бетонированию. А мне и Володе предстояло продолбить в наружной стене дверной проем в сторону будущего бассейна. Я попытался возразить, объясняя бригадиру, что, во-первых, завтра грешно работать, в такой великий праздник ласточка гнезда не вьет, а во-вторых, что в той самой наружной стене из помещения в сторону будущего бассейна уже есть одна дверь, и непонятно, зачем нужна еще одна, буквально в двух метрах от первой. Володя мои возражения отклонил, сказав,

что Мартин (генподрядчик) наших праздников не признает и завтра после обеда лично приедет принимать работу.

И вот с утра в Благовещение мы, грешные, принялись за работу. Наружная стена толщиной 1,2 метра, сложенная из дикого камня, схваченного неизвестным, но очень крепким раствором, поддавалась тяжело. Мы с Володей, вооружившись сбиячками, долбили изнутри и снаружи эту твердыню до трех часов дня. Только успели закончить, как подъехал Мартин. Мы, гордые от проделанной работы, стояли в ожидании похвал, но Мартин, удивленно уставившись на наш проем, спросил:

— А это зачем вы сделали?

Теперь уже я удивленно уставился на Володю.

— Так приказал прораб, — ответил бригадир.

Пришел прораб, целый день просидевший в офисе за компьютером, и был поражен, увидев рядом со старой дверью еще одну дыру, размером больше первой. Стало ясно, что Володя что-то не так понял.

Мартин, правда, никого наказывать не стал, только приказал понадежнее закрепить эту пробоину и перекрыть проход через нее, пока они не решат, что с ней делать дальше. Мы с бригадиром поспешили выполнить распоряжение — и этот проем так и простоял никем не тронутый до конца моей работы на замке.

Забегая вперед, скажу, что на следующий год, работая уже на другого клиента на свалке, мне опять пришлось выйти на работу в день Благовещения — и опять неудачно: случилась авария. В дальнейшем я уже не выходил на работу в этот праздник.

К сожалению, с Володей мне удалось поработать месяца три, потом он уехал на Украину. Молодая жена поставила его перед выбором: либо она (жена), либо Чехия — ее не устраивал муж, которого она видела всего один месяц в году. Уезжая, Володя оставил мне кое-что из своих вещей — например, добротные кожаные рабочие перчатки, которые немало послужили мне на этой стройке, напоминая о хорошем парне с Тернопольщины. После Володи с бригадирами нам не везло.

Володя уехал, но остался его младший брат Вася, вселившийся в мою комнату вместо Лены, которая к тому времени дождалась своего «мужа» и переселилась с ним в «душегубку». Вася работал в Чехии второй раз по трехмесячной гостевой визе. И если о Володе остались воспоминания только со знаком плюс, то о его брате — с прямо противоположным. Это был «хохол» в худшем смысле этого слова.

Приехав заработать, он экономил на всем: чтобы меньше тратиться на продукты, Вася привез с собой сколько смог картошки, моркови, макаронных изделий... И он, естественно, ездил «зайцем». Было противно наблюдать за ним на трамвайной остановке — как, тревожно озираясь по сторонам, он выискивает глазами контролеров, а потом последним быстро запрыгивает на ступеньки и, стоя у самых дверей, едет до следующей остановки, где все повторяется. Насколько я помню, однажды он все-таки попался и был оштрафован, так что экономии на транспорте не получилось, зато получился позорный для украинских заробитчан конфуз. Впрочем, вряд ли Васю очень волновали столь тонкие материи.

Меня он достал тем, что, купив себе DVD, без конца крутил четыре песни в исполнении Валерия Меладзе (других записей у него не было), превратив

нашу комнату в музыкальную шкатулку. Чтобы хоть как-то уговорить этого меломана, я сказал ему, что немного владею приемами практической магии и, если он не прекратит эту музыкальную пытку, я ему «сделаю» так, что, приехав домой к молодой жене, он ровно через две недели станет полным импотентом. Вася ошалело на меня уставился и, медленно подбирая слова, сказал, что тогда он вернется в Прагу и убьет меня. Я спокойно пояснил, что в таком случае он точно останется импотентом на всю оставшуюся жизнь, так как снять с него эту порчу может только тот, кто ее навел, то есть я. Это подействовало. Теперь стоило мне появиться в комнате, как музыка тут же прекращалась и при мне уже не включалась.

Могу еще добавить, что если я все свое свободное время посвящал изучению достопримечательностей Праги, то Вася — готовил, постоянно консультируясь с более опытными поварами. Однако, несмотря на кишкоблудство, телосложения он был хилого, что, как он объяснял, было следствием гастрита, заработанного им еще в первую трехмесячную командировку в Чехию.

Ну а теперь — «для симметрии» — расскажу о том, что у чешского бригадира Петра тоже был младший брат Яро, также работавший с нами на замке. Положение брата бригадира давало ему некоторые привилегии, которыми он иногда и пользовался. Прежде поясню, что украинцы, работавшие на замке, обедали в своей раздевалке или, как я, на улице, а большинство чехов на обед отправлялись в ближайшую господу (пивной ресторан, где можно было и выпить, и плотно перекусить), загрузившись в микроавтобус Яро. Так вот, иногда, приехав с обеда, Яро буквально вываливался из-за руля своей машины, будучи не в состоянии стоять на ногах. Приходилось только удивляться, как ему удавалось не попасть в ДТП и попасть в ворота замковой ограды. Петр, конечно же, сразу начинал урок воспитания, хотя всем была понятна бесполезность данного мероприятия ввиду полной неадекватности Яро. Восстановив силы парой часов крепкого сна где-нибудь в раздевалке, Яро как ни в чем не бывало появлялся на своем рабочем месте с неизменной жизнерадостной улыбкой на лице и бутылкой «Пепси» в руках. Не знаю, как другие, но я-то точно знал о содержимом этой бутылки, поскольку был неоднократно угощаем из нее: там был любимый коктейль веселого чеха, состоящий на 90 % из туземского рома и только на 10 % из «Пепси». Возможно, потому и определил Яро меня в свои собутельники, что знал о моем отношении к алкоголю и был уверен, что больше одного глотка я не выпью.

Чешский портретный ряд будет коротким, поскольку ни с кем из представителей титульной нации я достаточно близко так и не сошелся. Правда, был один чех, который иначе как своим другом меня не называл. Молодой симпатичный парень, Павел как-то сразу потянулся ко мне. Не знаю, в чем была причина такой привязанности, но не было дня, чтобы, даже работая на противоположном конце стройки, он не появлялся на моем рабочем месте со своим неизменным приветствием: «Толику-у! Му-уй камраде! Давай покурим...»

Чехи почему-то не признают имени Анатолий, Толик, называя всех моих тезок Тондами. Но это — по работе. Когда же они хотят стрельнуть сигарету, то сразу вспоминают твое настоящее имя. Павел же, будучи лет на тридцать меня моложе, всегда звал меня Толику. Такое доброе к себе отношение со стороны человека другой страны, культуры, возраста, образования было немного странным, но и приятным.

Кстати, ни с кем из украинцев, работавших в Чехии, у меня таких отношений не сложилось. Но и Павел недолго задержался на замке. Его отчим, работавший строителем в Германии, забирал его с собой, где Павел за сезон (зимой стройки сворачиваются) надеялся заработать денег достаточно, чтобы начать строительство своего собственного дома, затем побыстрее закончить его и жениться. Мы тепло попрощались.

Среди украинцев также был человек, называвший меня даже не другом, а братом. Впрочем, не только меня. Толик Н. до Чехии успел, если не ошибаюсь, полгода прослужить в Ливане в составе миротворческого контингента на какой-то должности типа помощника механика-водителя бульдозера или уж не помню чего... Свои первые восемь месяцев в Чехии Толик жил один среди чехов и работал попяляжем (сборщиком мусора), так что учить язык его заставила необходимость. Когда я приехал в Прагу, Толик Н. был уже вполне адаптированным к местным условиям заробитчанином, а поскольку его жизненную позицию отличал прагматизм на грани цинизма, я и выбрал его одним из своих главных консультантов-адаптологов, если можно так сказать. Его комментарии были незатейливы и прямолинейны.

...Едем, например, мы с ним в метро на работу. Напротив нас сидит дама в деловом костюме, со строгой прической и соответствующим выражением лица. И вдруг эта пани, не меняя выражения лица, достает из сумочки носовой платок, громко, на весь вагон, сморкается, затем, намотав платок на указательный палец, энергично чистит им обе ноздри, прячет платок в сумочку и невозмутимо продолжает свою поездку, строго глядя прямо перед собой.

— Мне почему-то кажется, — негромко говорю я Толику, — что сейчас она поднимет ногу и, пардон, пукнет.

— Вполне возможно, — подтверждает тот мои опасения. — Бздеть даже за столом у них не только не считается неприличным, а, наоборот, является признаком европейской культуры. Особенно если при этом ты скажешь «сорри» или «пардон». В этом смысле чехи не умнее украинцев. Те понахватались всяких глупостей от поляков, эти — от немцев, и теперь и те и другие считают себя европейской нацией. Лакейская привычка.

Пересаживаясь на «Черном Мосту» в автобус, я выслушиваю жалобу Толика:

— Если б ты знал, брат, как мне надоели эти украинские рожи! Смотри: больше половины пассажиров — земляки. Думал, что хоть в Чехии от них отдохну, так нет — достали и здесь.

— Сам-то кто? — упрекаю я его. — Ладно я — русский...

— Эх, брат! — тоном человека, поставившего на кон свою жизнь и проигравшего, отвечает Толик, — я бы предпочел быть даже чехом, лишь бы не украинцем.

— Сочувствую. Но родину не выбирают... Зато ты заметил, как мало здесь красивых женщин?

— А то! Поэтому я сразу и сказал жене: «Готовься ехать в Чехию, а иначе я там сойду с ума...» Скоро должна приехать.

Работать Толик умел, но не любил. Зато он любил чешское пиво (впрочем, и более крепкие напитки тоже, особенно на халяву), поэтому его трудовая деятельность сводилась к решению нескольких основных задач: продержаться смену так, чтобы не заработать штрафных часов; постараться раздобыть для реализации в пункте приема металлолома побольше металла, желательно — цветного,

или изыскать еще какой-нибудь источник получения «левых» денег — например, за оказание какой-нибудь платной услуги. Меня все это сильно раздражало.

— Для тебя не существует нормальных человеческих отношений, — говорил я ему. — Ты все переводишь на деньги.

— Брат! Поверь мени! — тянул Толик. — Будут гроши — будет усе!

...Был в нашей украинской бригаде еще один достаточно неординарный парень — Саша Американец. Этот до Чехии успел полгода поработать в США. Будучи специалистом по КИП и автоматике, в Америке он занимался выращиванием цветов и заработал на этом около двадцати тысяч долларов. Половину потратил там, вторую половину привез домой. Мне он запомнился двумя своими фразами: «Пацаны! Мы — в анусе! Глубоком анусе!» и «До полочки осталось десять... семь... пять “Мивин”». Когда он, после обещанной ему работы КИПовца, оказался разнорабочим на стройке, он сразу решил, что ему делать дальше. Дождавшись своей первой зарплаты, он сказался больным, а когда все на следующий день отправились на работу, он, быстренько собрав все свои вещички, впрыгнул в ближайший автобус на Украину и свалил из гостеприимной, но не столь щедрой, как Америка, Чехии.

Да, такой текучести кадров, как в фирме Андрея, я не встречал впоследствии ни у кого из других клиентов. Люди бежали от Андрея через несколько дней, недель или месяцев после того, как попадали к нему. И в этом не было ничего удивительного: платили здесь тоже значительно меньше, чем в других фирмах. Сорок три кроны (коруны) в час — работающим по гостевой трехмесячной визе и сорок семь корун в час тем, кто трудился по годовой рабочей визе. Украинцы, работавшие на других клиентов, узнав о наших тарифах, приходили в изумление:

— Да вы что, пацаны? Сейчас ни в одной деревне меньше пятидесяти корун не платят. А уж о том, чтобы работать в Праге за сорок три, мы давно не слышали. Да вашему клиенту надо... — Дальше шли более или менее радикальные меры воспитательного воздействия.

А наш клиент всю вину за такие низкие расценки перекалывал на Мартина, который слишком мало платит ему, Андрею, за нашу работу. И ему, Андрею, приходится нам чуть ли не доплачивать из своего кармана, чтобы удержать расценки хотя бы на таком уровне. Нам, батракам, как вы понимаете, было до одного места, кто из них больше виноват, и поэтому, как только кто-то из нас подыскивал более выгодную альтернативу, он тут же делал Андрюше ручкой.

Были, правда, и редкие исключения. Например, Славик — ветеран фирмы, отдавший Андрюшину детищу, если не ошибаюсь, одиннадцать лет и за эту преданность и верность получавший, по слухам, шестьдесят корун в час. Зато жена Славика, все это время занимавшаяся воспитанием детей на Украине, такой преданностью и верностью не отличалась. Не знаю, что было главной причиной распада их семьи, но их любовь не выдержала испытания разлукой, и Славик остался один. Правда, детей он не забывал и регулярно поддерживал их финансово.

Потеряв семью, этот еще не старый, с приятной внешностью мужчина испытывал дефицит общения. Его попытки сблизиться со мной я отклонил, дав понять, что как собеседник он мне малоинтересен: проживая в Праге, можно найти более увлекательный досуг, нежели бессодержательные разговоры «за жизнь» с человеком, столько лет прожившим в Чехии и ничего не знающим о Яне Гусе. Собеседника, вернее — благодарного слушателя, Славик нашел в Коле из Луганска, который был готов, открыв рот, внимать любой ерунде.

Кроме того, одиночество Славика скрашивали два его хобби. Я бы условно разделил их на дневное и ночное. Дневным хобби были кроссворды — более чем странный выбор для человека, не способного назвать столицу Финляндии, зато ночное увлечение весьма соответствовало этому человеку...

О ночной жизни Славика я узнал через Колю, который вселился в нашу комнату вместо одной из выбывших женщин. Заметив, что тот регулярно в три часа ночи просыпается, тихо одевается и куда-то исчезает, я припер его к стенке и потребовал открыть тайну его ночных походов. В противном случае, пригрозил я, Коля все равно будет мной выслежен, а мои дальнейшие действия будут зависеть от открывшихся обстоятельств. Тогда-то Николай и поведал мне, что они со Славиком совершают ночные рейды по пражским мусорникам. Вооружившись фонариками, они роются в мусорных контейнерах и часто находят там весьма полезные вещи.

— Вот и твои рабочие вельветовые брюки, которые я тебе подарил, тоже оттуда. Только ты уж не следи за нами и никому не говори об этом. А если захочешь сам заняться этим, то выбери себе другой район. Прага большая.

Я сказал, что мне не нравятся их занятия, что они отнимают кусок хлеба у несчастных бомжей и, вообще, занимаются делом, о котором стыдно сказать вслух в приличном обществе.

Со временем Славик перебрался с первого этажа в нашу комнату на втором. Из женщин на тот момент там осталась лишь Лариса, и у них со Славиком довольно скоро возникли особенные, теплые взаимоотношения. Но вскоре у Ларисы закончилась виза и она отбыла на Украину, затем покинул Андриюшину фирму и я, потому о дальнейшей судьбе Славика мне ничего не известно.

...Коля появился в нашей комнате вслед за Васей. Как заробитчанин этот сын Луганска производил довольно странное впечатление. В народе о таких говорят: «заторможенный», «на ходу спит», «ты, работа, нас не бойся...» и т. д. Было непонятно, как такой человек мог отправиться на заработки в Европу. Его наивность и невежество были безграничны. Нет, он умел включать газовую плиту, пользоваться найденным на мусорнике радиоприемником, но, если бы я сказал ему, что наша планета имеет форму чемодана, он бы поверил. Когда я спросил его, учился ли он когда-нибудь в школе, он загадочно ответил: «Ты учился в своей школе, а я — в своей».

Работал Коля сначала на Пражском Граде, затем его взял в бригаду третьим по счету человеком Славик, работавший отдельно от всех нас в особняке какого-то чеха. Как я понял из их разговоров после работы, главной обязанностью Коли в этой бригаде было кипятить воду для кофе, а в остальное время — слушать рассказы Славика. Все-таки не зря, наверное, говорят, что дуракам всегда везет...

По словам Коли, в Луганске у него была своя квартира, доставшаяся от родителей, а его сестра, школьная учительница, жила и работала в каком-то маленьком городке Луганской же области. На мой вопрос, почему бы ему не отдать квартиру сестре, как более достойной проживания в областном центре, он, удивленно посмотрев на меня, ответил вопросом: «Я что, дурак?»

И вот этот «недурак» решил, что достоин более интересной работы и более высокой зарплаты. То, что я и другие адекватные заробитчане, попав на фирму Андрея и осмотревшись, начинали поиски других вариантов трудоустройства, было вполне естественным. Но что тем же занимается и Николай — это было не очень понятно.

Как-то, прочитав в одной из газет заинтересовавшее меня объявление и договорившись по телефону о встрече, я отправился знакомиться с новым клиентом и новой работой. В машине сидели два незнакомых мне парня и... Коля. Поехали знакомиться с новым местом работы на завод резино-технических изделий. Основных цехов было два: в одном готовили резиновую массу — работа не сложная, но довольно сильно воняло; в другом на станках делали заготовки для автопокрышек — работа в постоянном движении, требующая внимания, сноровки, профессиональных навыков, физической подготовки. К тому же на каждый станок предусматривалась сменная норма, от которой зависела зарплата работника. Коля сразу же пожелал работать на станках.

— Извини, но эта работа не для тебя, — охладил его пыл наблюдательный новый клиент. — На станках смогли бы работать Толик и (он назвал имя крепкого парня из Литвы). Я так и предлагаю разделиться: ты, Коля, и еще один — на готовке резины и двое — на станках.

Но Коля упрямо стоял на своем:

— Буду работать на станках или вообще не буду.

— Ну хорошо, — нехотя согласился клиент, — но учти: ты очень долго будешь зарабатывать копейки, что не выгодно ни тебе, ни мне, а потом вообще сбежишь отсюда. А что скажут остальные?

— Надо бы посмотреть, где жить будем, — сказал я.

— Хорошо. Едем.

Общежитие находилось довольно далеко от завода и располагалось на склоне оврага, но для жизни и отдыха было приспособлено значительно лучше Андрюшиного. К своему немалому удивлению, первым человеком, которого я там увидел, была моя старая знакомая Лена. Оказывается, ее «муж» Игорь, поработав около недели на замке, перебрался на завод РТИ и теперь работал на станках. Работал, по словам клиента, неважно.

Отведя меня в сторону, клиент открыл дверь в уютную двухместную комнату с телевизором, холодильником и всей необходимой мебелью и предложил:

— Если переходишь ко мне, то можешь вселяться и жить пока один, а там видно будет. Извини, но одноместных номеров у меня нет.

— Спасибо за все, но пока я скажу «нет», — не без сожаления ответил я. — Во-первых, у тебя слишком дорогая виза...

— Но зато все будет абсолютно законно.

— Во-вторых, слишком продолжительный период ученичества.

— Осень пролетит быстро, а к зиме ты будешь иметь новую специальность и зарабатывать нормальные деньги.

— Но всю осень я не смогу посылать домой деньги. И потом, мне будет не просто работать в цехе, где запрещено курить. А останавливать станок и бежать в курилку — значит сорвать норму. Поэтому попробую подыскать что-нибудь более подходящее.

Отказался и парень из Литвы: у него обнаружилось какое-то кожное заболевание, с которым его бы все равно не пропустили медики. А вот Коля остался, но никто не смог бы поздравить его нового клиента с ценным приобретением.

...Время шло. Где-то ближе к лету в нашу комнату въехали два парня из Днепрпетровска: один — худой, его звали, кажется, Сергей, и другой — полный, кажется, Данила.

Сергей пробыл в Чехии недолго, месяца полтора. Причиной скоростного отъезда Сергея была его молодая жена, сообщившая супругу о двух днепропетровцах, вернувшихся из Чехии с заработков и в течение года без видимых причин скончавшихся. Стать одним из следующих в этом списке Сергей не пожелал.

Данила же, приехав в Прагу и немного разочаровавшись в ней, поставил перед собой задачу скопить денег на трудовую визу в Италию и переехать туда, что через полгода и осуществил. Благо он был холост и работал только на себя.

Оба днепропетровца были большими патриотами своего города. Узнав, что я приехал из Донецкой области, они дружно и активно стали убеждать меня, что Днепрпетровск по всем параметрам круче Донецка. И это при том, что сестра Данилы училась в Донецкой консерватории, потому что «в Днепре консерваторию пока еще не открыли», а Сергей вообще работал в донецкой фирме «Геркулес», развозя по торговым точкам своего города донецкое мороженое. Я особенно с ними не спорил, но профессиональная привычка к полному, всестороннему и объективному исследованию всех обстоятельств дела побуждала меня выяснить все детали данной проблемы.

— Если ваш Днепрпетровск такой распрекрасный город, населенный не менее талантливыми, чем в Донецке и Одессе, людьми, то напойте мне хоть одну песню, желательную известную не только местным жителям, об этом чудесном уголке планеты. А уж про свою Вологду и про свой Донецк я могу петь вам песни целый вечер.

Пацаны немного смутились и растерялись.

— Да есть там одна песня о Днепрпетровске... Ее еще наш земляк Кобзон исполняет...

— И опять неправда: Кобзон родился в Донецкой области, и прижизненный памятник ему поставлен в Донецке перед Дворцом молодежи «Юность», а с Днепрпетровском, насколько я знаю, его связывает только то, что он там в свое время учился в каком-то техникуме. Кстати, и Кобзон, и Сергей Бубка, тоже удостоившийся памятника, возражали против такого прижизненного их возвеличивания... Не буду также травмировать ваши патриотические чувства высказываниями отдельных народных депутатов, назвавших Донецк «современным европейским городом», а Днепрпетровск — «грязным бомжатником»...

...Как вы понимаете, с этими ребятами я тоже близко не сошелся.

* * *

Место подо мной после того, как куда-то тихо и незаметно съехала Ирина Анатольевна, некоторое время занимала Лариса. Обе мои соседки, даже находясь в Праге, умудрялись вести скучную, как пьесы Чехова, жизнь. Но вот отбыла на Украину и Лариса, а судьба подарила мне довольно колоритного соседа.

Саша прибыл откуда-то из-под Луцка Волынской (он это особо подчеркивал) области.

— Ты знаешь, от какого слова произошло название нашей области? — спросил он меня сразу после знакомства.

— Полагаю, от слова «вольна», — ответил я не задумываясь.

— Дурак, — констатировал Саша и пояснил: — Название нашей области произошло от слова «воля»!



Чехия была не первой зарубежной страной, где Саша пытался поймать свою птицу удачи. До этого он три года прожил в Португалии, перемежая работу на стройках с сельхозработами у португальских фермеров. Денег он там не скопил. Все, что зарабатывал, тратил на себя. Зацепиться за что-то или за кого-то не смог или не захотел и вернулся домой. Как он сам говорил: «С чем уехал, с тем и приехал».

Мать его, ждавшая возвращения Саши с деньгами и подарками, была весьма недовольна и обрушила на блудного сына праведный гнев. Не скрывал своего разочарования и Сашин брат, проживавший вместе с матерью.

Увидев, что события развиваются отнюдь не по библейскому сценарию, Саша сильно загрустил — и принял решение навсегда покинуть и негостеприимный родительский дом, и неласковую Украину. Его план покорения Чехии был прост и надежен: жениться на достаточно обеспеченной чешке. Понимая, что украинцы не входят в число завидных женихов в чешских брачных агентствах, Саша был готов на некоторые жертвы. Он, например, был согласен повести под венец даму старше себя (разницу в двадцать лет он считал вполне приемлемой). Понятно, что на красавицу он также не рассчитывал. А уж заполучив чешскую жену и приобретя совсем иной статус, можно будет легко порешать все вопросы, связанные с гражданством и работой.

Однако был у Саши один существенный недостаток, который мог поставить жирный крест на его планах: в Португалии он пристрастился к дешевому вину и, оказавшись в Чехии, эту привычку сохранил. Каждый день после работы наш доблестный жених появлялся с бумажным пакетом дешевого вина в руках и улыбкой до ушей.

По-хозяйски расположившись на своей кровати, он щедро наполнял веселящим напитком два стакана, ставил их на стул рядом с нехитрой закуской и торжественно провозглашал:

— Приступим, братие, благословясь!

Из всей братии, обитавшей в нашей келье, на этот призыв откликнулся только Рома, занимавший бывшую кровать луганского Коли...

О Роме следует сказать особо. В Прагу он прибыл вместе со своим младшим братом немного позже меня. У Ромы была годовая рабочая виза, у брата — трехмесячная гостевая. Через три месяца брат отбыл домой на Западную Украину, выпросив у Андрея тысячу долларов на какие-то семейные нужды, а в залог оставив Рому, который и должен был отработать переплаченные деньги, в какой сумме — сейчас не вспомню. То есть собственно долг составлял не тысячу долларов, а разницу между тысячей и той суммой, что братьям удалось скопить за три месяца совместной работы. Андрей забрал у Ромы паспорт.

Оказавшись в чужой стране без документов, зато с висящим на нем долгом, Рома повел себя неадекватно. Вместо того чтобы стараться побыстрее погасить долг (а отработать тысячу баксов даже при нашей скромной зарплате можно было, не особенно напрягаясь, за три месяца — я, например, за полгода послал домой больше двух тысяч), Рома потерял к работе всякий интерес. Так, по утрам, когда все дружно собирались на работу, Рома, сказавшись больным, мог остаться в своей кровати, и мы уходили без него. Или, отправившись вместе с нами на замок, он мог доехать («зайцем», конечно) только до «Черного Моста», а там, сославшись на приступ какой-нибудь болезни, повернуть назад.

Мог он, появившись на работе, после обеда куда-нибудь исчезнуть. И такое случалось с ним все чаще и чаще.

При этом он регулярно просил у Андрея аванс. Андрей ругался, грозил ему всеми карами, но изменить ситуацию к лучшему не мог. Получив аванс, Роман как ни в чем не бывало появлялся (если появлялся) на следующий день на работе без сигарет и «тормозка» — и или стрелял у нас сигаретку-другую, или во время обеда и перекуров молча сидел в сторонке и давил на жалость. На вопрос, где же его вчерашние деньги, он спокойно отвечал что-то типа «разве это деньги, да и были они вчера...». И получалось, что брал он у Андрея денег не меньше (если не больше), чем зарабатывал, а на погашение долга не оставалось, увы, ничего.

Тогда Андрей стал отдавать деньги для Ромы днепропетровскому Даниле, строго наказывая потратить их на продукты и сигареты для своего незадачливого работника и должника. Флегматичный Данила недовольно ворчал:

— Что я ему — мама? Он ведь постарше меня будет...

Андрей взрывался:

— Ты что, не понимаешь? Ты человека спасаешь! Пропадет ведь он без нас...

По просочившейся информации, свое свободное время, которого становилось все больше, Рома проводил в компании пражских бомжей, которых на Пальмовке было как комаров на болоте. Эта среда засасывала Рому все сильнее и, как мне впоследствии сообщили, засосала его окончательно.

Какие выводы сделал Саша, наблюдая эволюцию своего собутыльника, я не знаю, так как вскоре распрощался с этой гостеприимной фирмой и утратил с ней всякую связь.

В заключение не могу не упомянуть еще об одном выходе из Украины, с которым мы пересеклись, работая на замке. Руслан был родом то ли из Лисичанска, то ли из Алчевска Луганской области и на тот момент уже одиннадцать лет, если не ошибаюсь, жил и работал в Чехии. В отличие от волынского Саши, он уже был женат на чешке, имел от нее двоих детей, квартиру в Праге, дачный участок в 16 соток под Прагой, не новый, но вполне приличный «форд-мондео», подаренный тещей, и возвращаться на Украину не собирался. Если к этому добавить, что, работая на стройках, зарабатывал он раза в два-три больше моего, жена его, работая медсестрой, как и моя, кстати, зарабатывала раз в пять больше моей, а TV не морочило ему голову сказками про «наикрашу в свити краину», то его решение о невозврате было вполне логичным, хоть и непатриотичным.

Родители его продолжали жить на родине. Руслан их периодически навещал, поэтому украинские реалии знал не с чужих слов.

— Удивительная страна, — с улыбкой говорил он. — По количеству лиц с высшим образованием на душу населения Украина уже сейчас может переплюнуть любой академгородок, а в недалекой перспективе там скоро и дворником нельзя будет устроиться без университетского диплома.

...Думаю, на этом портретную галерею можно закончить и следующую часть своего повествования посвятить более подробному описанию непосредственно работы.

(Продолжение следует.)

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

Сергей СОЛОВЬЕВ

ДУЧЕ

*Главы из книги**

Глава четырнадцатая.

«Гитлер всегда ставит меня перед свершившимся фактом...»

1.

Где-то между 1936 и 1941 г. начинает чувствоваться ослабление «общественного договора», который привел к власти в Италии фашистов во главе с Муссолини. Дуче слишком сблизился с Гитлером? Итальянцы вдруг осознали, что впереди их ждет война? Или пришло внезапное понимание, что успех в будущей войне вряд ли возможен?

В отличие от немцев, итальянцы не мечтали о военном реванше, поскольку в Великой войне были на стороне победителей. О большей справедливости — это, пожалуй, да, ведь та победа принесла им в основном разочарования. Теперь фашизм, на взгляд обывателя, обещал относительную стабильность, возможность выстраивать жизнь и карьеру в относительно ясных координатах, конечно, в обмен на выражение лояльности и энтузиазма, на согласие закрывать глаза на явные преступления. А воевать — ради чего? Реванш — кому?

Послевоенные настроения в Италии были, пожалуй, ближе к таковым во Франции, чем в Германии. Считали итальянцы себя победителями, но сладких плодов победы так и не вкусили, да еще — хитрые интриги друзей, пренебрежительное отношение союзников, победы врагов. Привычная палочка-выручалочка — ловкое маневрирование дуче между противоборствующими силами — перестает выручать. Слабость — она и есть слабость. Не скроешь ее, не исправишь, не обратишь в силу. Игра теперь пошла по совсем другим правилам.

2.

Подписание «Стального пакта» в 1939 г. было навязано Италии самим дуче. Позже Галеаццо Чиано (в 1944 г. — в тюрьме, уже в ожидании казни) записал: «Договор с Германией был подписан в мае. Я возражал против этого и старался не отвечать на настойчивые предложения немцев. Не имелось никакого смысла, на мой взгляд, связывать себя на жизнь и на смерть с нацистской Германией. Напротив, я рассчитывал на политику сотрудничества, ибо [с учетом

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 7, 8.

нашего географического положения] мы, конечно, можем презирать 80 миллионов немцев, но пренебрегать ими — вряд ли. Решение подписать договор было принято Муссолини в то время, когда я находился в Милане с Риббентропом. Несколько американских газет написали, что столица Ломбардии враждебно встретила германского министра и это указывает на падение личного престижа Муссолини. И он в приступе ярости по телефону приказал мне принять германские требования о союзе, которые я оставлял без внимания более года и которые предполагал откладывать еще долго»¹.

Роль, которую Италии отводили германские нацисты, была с самого начала ясна даже для стороннего наблюдателя. В заметках Уинстона Черчилля к его речи 13 апреля 1939 г. (на заседании Палаты общин), посвященной вторжению Италии в Албанию, читаем: «Интерес Германии сейчас в том, чтобы вовлечь Италию в войну до того, как самим нанести удар. Только в этом случае немцы будут в ней уверены»². Впрочем, от самого Черчилля в тот момент ничего не зависело, английским премьером (до мая 1940 г.) все еще оставался «миротворец» Чемберлен.

Муссолини все оттягивал и оттягивал вступление в войну, но постоянно произносил воинственные речи. Ни то, ни другое, конечно, не способствовало росту его престижа, хотя, следует это отметить, престиж дуче начал падать еще раньше. Дуче постоянно торопился. После Мюнхена, поверив обещаниям Гитлера, он даже своим министрам говорил, что аннексии территорий, населенных чехами, не произойдет. И что же? Не прошло и полугода — Гитлер сделал это. Дуче чувствовал себя обескураженным. По словам Галеаццо Чиано (запись от 17 марта 1939 г.), дуче даже говорил ему, что «может не остаться другой альтернативы, кроме той, чтобы сделать первый выстрел по немцам или быть сметенными революцией, которую спровоцируют сами фашисты, ибо никто не потерпит свастики на берегах Адриатики».

Завоевание Албании теперь не воспринималось всерьез, потому что уже при короле Зогу I она сама по себе превратилась в итальянскую марионетку. Избыточный шум вокруг этого «завоевания» воспринимался иронически. Так что настоящим испытанием для Италии могло стать только вступление в мировую войну.

3.

Договор о ненападении, заключенный между Германией и СССР, для итальянцев, как и для всех других европейцев, оказался полнейшим (и, конечно, неприятным) сюрпризом. То, что фюрер опять ни словом, ни намеком не проинформировал его, Муссолини воспринял как унижение. Он то демонстрирует по отношению к немцам чувство откровенной вражды, то вдруг с каким-то особенным одобрением относится к «третьему пункту, касающемуся нашего нейтралитета»³. Впрочем, уже на следующий день (согласно записям Чиано) «настроение дуче стало яростно воинственным... Он передумал... и хочет вмешаться сейчас же...»⁴. Чиано особо подчеркнул роль окружения дуче: «Они меньше всего заботятся о том, чтобы говорить правду. Стараче, с его интеллек-

¹ Ciano G. Journal (1939—1943). LaBaconnière / Payot, 2013. P. 32.

² Частная коллекция. URL: <https://www.raabcollection.com/winston-churchill-autograph/winston-churchill-signed-original-notes-winston-churchills-speech>.

³ Ciano G., op. cit., p. 158—159.

⁴ Ibid., p. 159.

туальной и моральной близорукостью, имеет наглость заявлять дуче, что итальянские женщины рады войне, потому что теперь будут получать шесть лир в день и не будут обременены заботой о мужьях. Какой позор! Итальянский народ не заслуживает такого низкого оскорбления»⁵.

Каковы были отношения новых союзников, иллюстрирует следующий факт. Из дневника Галеаццо Чиано: «Англичане сообщили нам текст германских предложений Лондону, по поводу которых возникло много шума, но о которых мы абсолютно ничего не знаем. Гитлер предлагает англичанам союз или что-то в этом роде. И это, естественно, без нашего ведома»⁶.

На следующий день — снова смена настроения. «Дуче сейчас совершенно спокоен, как и всегда, когда он принял решение. Он не хочет произнести слово “нейтралитет”, но он сейчас определенно находится в таком настроении. Он даже начинает надеяться, что борьба будет ожесточенной, длительной и кровопролитной для других, ибо он видит в этом возможность больших преимуществ для нас»⁷.

Чтобы не оставаться в долгу (вопреки просьбе Гитлера), Муссолини передал через своего посла в Лондон, что ни при каких обстоятельствах не намерен развязывать войну с Францией и Англией. При этом он почти ежедневно звонит главному редактору «Пополо д’Италия» и сам руководит пропагандистской кампанией. Пусть не напрямую, но метания и перепады настроения дуче так или иначе доходят до его подчиненных и до всего итальянского народа.

В последние дни перед нападением Гитлера на Польшу Муссолини вновь попытался разыграть роль миротворца. «Ему обидно, что Гитлер и англичане лишили его возможности председательствовать на еще одной мирной конференции». Согласно немецким документам, Адольф Гитлер даже опасался, что «одна свинья» (имелся в виду Бенито Муссолини) может ему помешать начать войну.

Первого сентября 1939 г., когда война уже началась, дуче объявил кабинету министров, что Италия все равно не должна выступать «воюющей стороной» и что «предательство» Гитлера избавляет Италию от всех обязательств по договорам. Но когда итальянские сторонники мира (разумеется, близкие к фашистской партии) попытались организовать соответствующую демонстрацию, он распорядился не допустить этого.

Стремительный разгром Польши, конечно, произвел на дуче впечатление. Но то, что Англия и Франция тут же объявили немцам войну (Италия пока оставалась нейтральной), вызвало у него нескрываемое злорадство. Он все еще был обижен. К тому же эмоции эмоциями, а неучастие в войне требовало объяснений.

Как обычно, дуче попытался свалить вину на других, хотя теперь это было по его престижу. «Муссолини не единственный заслуживал упреков, но в конечном счете ответственность лежала на нем. Он поддерживал сверхцентрализацию в Италии до такой степени, что принципиальные решения вовремя не принимались, поскольку никто не решался брать на себя ответственность. Его собственная нерешительность усугубляла проблемы, и то, что он мог менять каждый день свои решения, иногда приводило весь государственный механизм в состояние паралича»⁸.

⁵ Ciano G., op. cit., p. 162.

⁶ Ibid., p. 161—162.

⁷ Ibid., p. 163.

⁸ Ibid., p. 277.

4.

Так называемая «странная война» продолжалась почти год. Все это время Муссолини метался между воинственностью и расчетливостью. «Особенно тщательно он скрывал от других, что Франция и Англия намекали теперь, что они готовы вести с ним переговоры и гарантировать, что даже без участия в боях он станет равноправным участником мирного урегулирования: они упоминали также три или четыре возможных уступки в Африке». При этом «военный успех был для него гораздо предпочтительнее, чем мирные территориальные приобретения, и отступить — значило согласиться с зачислением итальянцев в нации второго сорта»⁹.

Верил ли дуче, говоря о силе итальянской армии, в возможность всего за несколько дней «мобилизовать десять миллионов штыков»? Помнил ли, говоря об итальянских танковых дивизиях, о том, что укомплектованы они главным образом трехтонными пулеметными танкетками? Тринадцатитонный легкий танк, который итальянская промышленность в небольших количествах начала выпускать только в 1941 г., в официальной итальянской номенклатуре проходил как тяжелый. Сравним: советский средний танк Т-34 имел вес от 26 до 30 тонн.

Скорее, дуче верил в то, что ему поверят другие.

Но по мере приближения войны все больше людей сталкивалось с реальным положением дел. «Много раз повторялось, что восемь или, возможно, десять миллионов солдат можно мобилизовать почти мгновенно, хотя дуче не мог не знать, что оружия и военной формы хватит только на одну десятую этого количества — некоторые из призывников уже должны были обходиться одной гимнастеркой и ходить в гражданских брюках»¹⁰.

5.

Восемнадцатого марта 1940 г. Муссолини и Гитлер встретились на перевале Бреннер. Наконец-то Муссолини дал своему союзнику твердое обещание вступить в войну, правда, с оговоркой — «как только Франция будет разгромлена». При этом дуче вновь претендовал на «итальянские земли, незаконно отторгнутые Францией» — Корсику, Савойю, Ниццу и, само собой, Тунис.

В июне, после первых (впечатляющих) военных успехов Германии, Муссолини наконец убедил себя, что начавшаяся война закончится победой нацистов. В результате 10 июня 1940 г. Италия официально объявила войну Великобритании и Франции. На этот раз удача, правда, не торопилась встать на сторону Муссолини. Тридцать две хваленые итальянские дивизии так и не смогли прорвать альпийский фронт, который держали против них всего лишь шесть французских дивизий.

Упорные двухнедельные бои не принесли итальянцам успеха. Только прямая угроза прорыва немецких танков, спустившихся к местам сражений по долине реки Роны, сделала положение французов безнадежным. Конечно, все понимали, кто именно разгромил французов и британский экспедиционный корпус. Хорошо об этом рассказал (позже, конечно) итальянский писатель Итало Кальвино в рассказе «Авангардисты в Ментоне»¹¹: «Тогда, в начальный период войны,

⁹ Ciano G., op. cit., p. 290.

¹⁰ Ibid., p. 287.

¹¹ Авангардисты — это мальчики 15—17 лет, члены итальянской молодежной организации «Баллала».

вопрос о наших западных границах был достаточно щекотливым и неприятным именно для фашистов. В самом деле, несмотря на то, что наше вступление в войну осуществлялось в момент падения Франции, оно привело нас не в Ниццу, а всего-навсего в скромный пограничный городишко — Ментону. Остальное, как говорили, должно будет отойти к нам по мирному договору; однако надежда на триумфальное и воинственное вступление, о котором нам твердили, уже рассеялась, как дым, и теперь даже наименее сомневающиеся начали с тревогой подумывать о том, что эта досадная оттяжка может продолжаться до бесконечности; таким образом, постепенно расчистился путь к осознанию того, что судьба Италии находится не в руках Муссолини, а в руках его всесильного союзника»¹².

6.

В это же время начались действия итальянских войск против англичан в Восточной Африке — в Судане, в Кении и на землях британской колонии Сомалиленд. К началу августа Сомалиленд был полностью занят и стал считаться частью Итальянской Восточной Африки. Спустя еще месяц армия под командованием маршала Родольфо Грациани двинулась из Итальянской Ливии в Египет.

Муссолини снова входил во вкус настоящей войны.

В конце октября он перебросил отдельный итальянский воздушный корпус в Бельгию, чтобы помочь намечавшейся немцами высадке в Англии и этим подтвердить право Италии на свою долю добычи. Гитлер принял эту помощь союзника не очень охотно, он знал о технической отсталости итальянской авиации. Так оно и оказалось. Итальянские самолеты из-за своих военно-технических характеристик просто не смогли принять участие в совместных налетах на Лондон и через несколько месяцев вернулись в Италию. Но дуче, пребывая под впечатлением от побед Германии, нисколько уже не сомневался в победе держав «оси». Чтобы укрепить пошатнувшийся престиж, ему срочно следовало что-то предпринять.

Вот он и обратил внимание на Грецию.

Но не учел одного, по понятным причинам не мог учесть.

После встречи с фюрером 4 октября на перевале Бреннер он был уверен, что фюрер выложил перед ним все карты. Говорил тогда Гитлер о том, что вторжение в Англию пока отменяется (дуче остался этим доволен), о том, что следовало бы вовлечь петеновскую Францию в союз (почему бы и нет?), что надо перенести центр тяжести военных операций в Средиземноморье (тоже в итальянских интересах). Так что настроение Муссолини было просто превосходным.

Но уже 12 октября Адольф Гитлер отправил свои войска в Румынию, а на Румынию — как на будущий военный приз — смотрел и сам Муссолини. Чиано записал в своем рабочем дневнике возмущенные слова дуче: «Гитлер всегда ставит меня перед свершившимся фактом. Но на этот раз я намерен отплатить ему той же монетой. Он узнает из газет, что я оккупировал Грецию». И далее: «22 октября дуче определил дату внезапного нападения на Грецию — 28 октября и в тот же день написал Гитлеру письмо, датированное задним числом — 19 октября, в котором тонко намекал на задуманную акцию».

По словам Чиано, теперь сам дуче избегал подробностей, опасаясь, что его остановят.

¹² Кальвино И. Кот и полицейский. М., 1964. С. 275.

«По приказу фюрера немецкий министр иностранных дел позвонил Чиано в Рим и настоял на немедленной встрече глав держав “оси”. Муссолини предложил встретиться 28 октября во Флоренции, и вот там, когда немецкий диктатор, выйдя из своего вагона, поздоровался с ним, дуче, весь сияющий, с выдвинутым вперед подбородком, доложил: “Фюрер, мы на марше! Сегодня на рассвете победоносные итальянские войска пересекли греко-албанскую границу”».

Как показали дальнейшие события, насчет победоносности дуче сильно поторопился.

Буквально через неделю греки выбили итальянскую армию обратно в Албанию, и в последующие три месяца ей пришлось вести оборонительные бои уже на албанской территории. Зима к тому же выдалась необычно холодная, снежная, с устойчивыми минусовыми температурами. Гитлер, испытывавший к Муссолини самые дружеские чувства, на этот раз пришел в ярость. Об этом оставили много свидетельств его приближенные. И он не зря опасался дурных последствий непродуманного выступления итальянцев. Англичане в ответ оккупировали острова Крит и Лемнос. Получив там авиационные базы, они смогли начать бомбежки румынских нефтепромыслов, а их войска, направленные в Грецию, создали прямую угрозу немецким позициям на Балканах. Гитлер вынужден был приказать Генеральному штабу подготовить свой план вторжения в Грецию. Для этого в Румынию им было отправлено десять дивизий, которым позже надлежало выдвинуться в Болгарию.

Все в мире связано и взаимосвязано. В дальнейшем именно операции на Балканах привели к задержке (примерно на шесть недель) нападения нацистской Германии на СССР...

7.

В отличие от Муссолини, Адольф Гитлер окружал себя деятельными исполнителями, которым вполне доверял: Йозеф Геббельс отвечал за пропаганду, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер — за политическую полицию и концлагеря, рейхсмаршал Герман Геринг — за авиацию и так далее. Планированием конкретных военных операций занимались конкретные генералы, тот же Эрвин Роммель, Франц Гальдер, Гейнц Гудериан, Эрих фон Манштейн, Фридрих Паулюс, Альфред Йодль и другие; за собой фюрер оставлял самое главное — принятие стратегических решений.

А вот дуче брал на себя абсолютно все, нередко с катастрофическими последствиями. Он сам ежедневно набрасывал план военных сводок для итальянских газет и радио, при этом подвергал полученные новости весьма интенсивному редактированию. Советоваться с подчиненными в Риме было не принято: считалось, что это не фашистская практика.

Летом 1940 г., в начале активных военных действий, Муссолини решил направить на фронт многих министров и фашистских иерархов. «Ему явно нравилось создавать впечатление, что фашистские министры, даже без серьезной военной подготовки, — это инстинктивные бойцы, которые могут сразу начать командовать батальоном; он также хотел, чтобы народ думал, что он может управлять страной без их помощи. Но на деле это ввергло все управление в полный хаос. Один из примеров вопиющей административной путаницы: оказалось, что суда в море и в иностранных портах не предупредили о необходимости

вернуться домой, и треть всего итальянского торгового флота была таким образом потеряна¹³ до начала боевых действий»¹⁴.

Плевать на детали. Дуче был уверен, что справится с планированием любой операции. Да и зачем заранее информировать своих «болтливых» генералов?

Возражений и критики дуче не терпел.

Но хуже всего (для престижа самого дуче) было терпеть одно поражение за другим от каких-то презренных «левантийцев» — греков. Он требовал, чтобы армия вновь и вновь переходила в наступление, поскольку чувствовал колоссальное унижение из-за того, что внешний мир видит позорное бегство его войск. Он даже пытался настоять на том, чтобы все греческие города с населением более десяти тысяч человек стирались с земли. Командиры пытались указать дуче на то, что это практически невозможно, а маршал Пьетро Бадольо даже нашел в себе смелость заявить, что Греческую кампанию Генеральному штабу попросту навязали из политических соображений. Конечно, Бадольо был незамедлительно смещен с поста начальника Генштаба.

Взаимоотношения двух диктаторов тоже вызывают удивление. «В то время как Гитлер постоянно демонстрировал дружеское отношение к Муссолини, которое не могли изменить даже его поражения, эти чувства едва ли были взаимными. Дуче, позволяя себе саркастические замечания о круглых щечках Гитлера и о его возможных сексуальных предпочтениях, не мог скрыть зависти к более молодому, рослому, очевидно более успешному человеку; некоторые отмечали в дуче неприязнь, даже растерянность перед тем, что немцы могут следовать за таким вождем, и это чувство обиды становилось все очевиднее по мере того, как Италия впадала во все большую зависимость от германской помощи»¹⁵.

8.

Не может один человек заниматься сразу всеми делами.

Дуче так и не организовал атаку на Мальту, давно обещанную Гитлеру.

Он сам отказался от французских территорий, хотя Гитлер готов был добиваться их передачи союзнику. Позже Муссолини признал эту свою ошибку, но из-за боязни выглядеть глупо не решился просить потерянные территории снова. При этом отказ дуче от Туниса с военно-морской базой в Бизерте оказался роковым для всей его Африканской кампании, поскольку только через Бизерту можно было организовать надежное снабжение войск в Ливии. Из-за того, что Мальта оставалась английской, итальянские конвои, направлявшиеся в Триполи и Бенгази, постоянно подвергались атакам английского флота и авиации.

«Первый звонок» прозвучал 11 ноября 1940 г., когда чуть ли не половина итальянского линейного флота была выведена из строя внезапной атакой торпедоносцев с британского авианосца «Иластриус». По итальянским и немецким разведанным, этот авианосец к тому времени считался потопленным, в действительности же он спокойно отставивался в 170 милях от Таранто, около греческого острова Кефалония. Англичане тщательно разработали атаку. Сразу двадцать самолетов (торпедоносцев и бомбардировщиков) совершили боевой

¹³ Они были интернированы в момент объявления войны.

¹⁴ Mack Smith, Denis. Mussolini. A Paladin Book. Granada Publishing Limited, 1983. P. 292.

¹⁵ Ibid., p. 303.

вылет. Потеряв только две машины, англичане потопили итальянский линкор «Граф ди Кавур» и вывели из строя линкоры «Литторио» и «Кайо Дуилио». Как позже отметил в своей книге Мак Смит, для Муссолини «было просто невыносимо признать такие потери в ежедневной сводке»¹⁶.

Но — пришлось.

9.

Еще в начале сентября Муссолини настоял на том, чтобы главнокомандующий итальянскими войсками в Северной Африке и генерал-губернатор Триполитании маршал Родольфо Грациани перешел в наступление. До этого Грациани тянул время, утверждая, что на необходимую подготовку необходимо еще несколько месяцев. Во многом он был прав: по распоряжению самого Муссолини большая часть моторизованных частей находилась на границе с Югославией и в Албании, где готовилось наступление на Грецию, а часть авиации, необходимой для защиты конвоев на Средиземном море и прикрытия наземных соединений в Северной Африке, — в Бельгии и в той же Албании.

Тринадцатого сентября итальянские войска все же пересекли границу Египта. Уже через три дня они заняли городок Сиди-Баррани (примерно в 350 километрах от Александрии) и здесь начали окапываться. Было возведено несколько фортов. При этом южным направлением итальянцы просто не интересовались: там простиралась огромная, практически непроходимая для больших армий пустыня.

Итальянцы имели значительный численный перевес: 300 тысяч человек против 35 тысяч британцев (включая индийскую дивизию и австралийские части). Правда, итальянцы о своем перевесе не знали. Британцам удалось ввести в заблуждение их разведку, и маршал Грациани был убежден, что его армии противостоят что-то около 18 дивизий. Трудно сказать, насколько он доверял этим данным, но, по крайней мере, он не торопился.

Муссолини и Гитлер понимали огромную стратегическую важность Египта, особенно Суэцкого канала, но к тому времени победа «оси» казалась Муссолини настолько решенным делом, что он думал уже в основном о будущих отношениях со своим опасным нацистским «другом». Италии просто необходимо было одержать важную победу, и чем быстрее, тем лучше. Именно по этой причине Муссолини вторгся в Грецию, не предупредив союзника. Именно поэтому он отказался от танков, которые предлагал ему в помощь Гитлер.

Но время шло, ощутимых успехов не было.

В начале октября Муссолини надоело ждать грядущих побед.

Он грозил маршалу Грациани отставкой, если тот не продвинется дальше, хотя бы к следующему прибрежному городку Мерса-Матрух, от которого до Александрии оставалось чуть больше 100 километров, но теперь из-за нападения на Грецию пришлось все-таки отложить наступление в Египте. Затишье растянулось на три месяца. Все это время инженерные части итальянской армии тянули со стороны Ливии водопровод, укрепляли и расширяли дорогу. С пышностью, присущей итальянцам, каждый отрезок дороги получал собственное название — виа Бальбиа... виа Витториа... Да, да, дорога Победы! Как можно без дороги Победы?..

Но первыми в наступление перешли британские войска.

¹⁶ Mack Smith, D., op. cit., p. 302.

Генерал Арчибалд Уэйвэлл, командующий британскими войсками в Египте, планировал всего лишь небольшую операцию с целью оттеснить итальянцев обратно к ливийской границе, но атака неожиданно обернулась разгромом и отступлением итальянских войск. Первый этап кампании в Северной Африке (до конца 1942 г.) вообще характеризуется ошеломляющим успехом некоторых наступлений. Видимо, в этот период искусство наступательной войны на какое-то время явно опередило искусство обороны.

В районе Сиди-Баррани было сконцентрировано около шести итальянских дивизий — примерно половина войск маршала Грациани. С востока городок прикрывало несколько военных лагерей, но расстояния между ними были настолько большими, что они не простреливались их артиллерией. Моторизованные части были стянуты к Нибейве, где из них была сформирована группа дивизионного генерала Пьетро Малетти (около пяти тысяч человек, 35 танкеток и 35 средних танков).

Мобильные британские части подошли к Нибейве 9 декабря.

Отвлекающие маневры и артиллерийский обстрел были проведены на восточной стороне (чтобы заглушить шум моторов частей, огибающих лагерь), а 7-й отдельный танковый полк и 11-я индийская пехотная бригада, пройдя южнее Нибейвы, атаковали лагерь итальянцев с северо-запада. 50 танков «Матильда» оказались практически неуязвимыми. Снаряды итальянских орудий не пробивали их броню даже с тридцати метров. Итальянские же танки были уничтожены буквально в первые десять минут наступления. За несколько часов лагерь был взят, генерал Малетти погиб в бою.

Одновременно британский флот вел массированный обстрел городка и прибрежной дороги, а авиация атаковала итальянские аэродромы. 10 декабря англичане взяли Сиди-Баррани, разгромив стоявшую там дивизию чернорубашечников. Другие мобильные части англичан вышли к берегу западнее, у Бук-Бука, отрезая все пути к отступлению.

К 11 декабря британцы, потеряв всего 133 человека убитыми и 387 ранеными, захватили около 40 тысяч пленных, 73 танка и 420 орудий. Уинстон Черчилль в книге «Вторая мировая война»¹⁷ приводит весьма выразительный ответ командира одного из британских батальонов на вопрос о числе итальянских пленных: «Два гектара офицеров и 24 гектара солдат».

Поражение придало смелости маршалу Грациани, и на этот раз он открыто обвинил в ошибках фашистское руководство, которое заставляло его наступать. Конечно, итальянцы ничего не знали об этой критике, но их, конечно же, беспокоила судьба родных и близких, погибших, раненых или попавших в плен в Северной Африке.

Муссолини внешне держался хладнокровно. В поражениях он обвинил «туземные» части, набранные из ливийцев и арабов, а также солдат из Южной Италии, «дефективных итальянцев». Он приказал на месте расстреливать всех дезертиров, но эта мера запоздала. После первых поражений итальянская оборона начала рушиться с поразительной быстротой. Успех англичан был так велик, что они продолжили наступление.

Итальянцы попытались остановить противника у Бардии, хорошо укрепленного портового ливийского города, но 3 января и она пала. 22 января пал еще и Тобрук. 36 тысяч пленных попало в руки англичан в Бардии и 25 тысяч — в Тобруке. Британцы стремительно продвигались на запад и очень скоро

¹⁷ Churchill W. La Deuxième Guerre Mondiale. Vol. 4. Cercle de Bibliophiles, 1965. P. 314.



вышли к Беда-Фомм, за Бенгази. Там, перехватив отступающие итальянские войска, они уничтожили еще около сотни танков, взяли в плен не менее 20 тысяч солдат и офицеров и только после этого остановили наступление.

10.

Все эти события детально отражены в рабочем дневнике Галеаццо Чиано.

«Десятое декабря. Весть об атаке на Сиди-Баррани как громом поразила нас... Может даже показаться, будто все произошедшее ничуть его (Муссолини. — Г. П., С. С.) не касается, он больше всего озабочен поддержанием авторитета Грациани и не склонен признать серьезность случившегося. На самом деле это событие имеет серьезное значение как для внутреннего, так и для внешнего положения. Для внешнеполитического положения Италии серьезность события заключается в том, что, судя по тону донесения Грациани, он еще не оправился от удара настолько, чтобы подготовить контрудар. Что касается внутривнутриполитического положения Италии, то это ухудшает его. Общественное мнение и до этого было достаточно встревожено и слишком разделено, чтобы принять этот новый, тяжелый удар...»

Двенадцатое декабря. Плохи дела в Ливии. Грациани шлет мало донесений, причем не сообщает подробностей... В Ливии он приказал построить себе убежище в римском мавзолее в Кирене, на глубине 20—30 метров... Теперь дуче осознает серьезность событий. «В Ливии мы потерпели подлинное поражение. Теперь уже не скажут, что виной всему политика. Я предоставил военным полную свободу действий. Сегодня король был очень удручен». От Грациани пришла катастрофическая телеграмма. Он помышляет об отступлении к Триполи. «Для того, чтобы сохранить флаг развевающимся хотя бы над этой крепостью...»

Тринадцатое декабря. Я отнюдь не верю, в отличие от дуче, будто англичане удовлетворятся изгнанием нас из Египта...

Шестнадцатое декабря. Затишье в Албании и Ливии, где, однако, неприятель концентрирует силы для атаки на Бардию...

Семнадцатое декабря. Снова скверное отступление в Албании...

Двадцать четвертое декабря. Падает снег. Дуче глядит в окно и радуется этому. «Этот снег и этот холод весьма кстати. Благодаря этому наши никчемные солдаты и посредственная раса исправятся...»

Тридцатое декабря. В мое отсутствие дуче возложил командование вооруженными силами на Каваллери, сместил Содду... Развязка наступила, когда дуче узнал, что Содду, даже находясь в Албании, посвящал вечера сочинению музыки к кинофильмам...

Пятое января. С четырех часов вчерашнего дня радиостанция Бардии молчит... В оружии не было недостатка. Одних только пушек было 430. Почему сражение не затянулось? Неужели все это еще оправдывается ссылкой на «единорогов блохи со слонем»? «Странная блоха, — говорит Муссолини, — которая на пути между Сиди-Баррани, Бардией и Тобруком располагала более чем тысячей орудий...»

Седьмое января. Падение Бардии потрясло дух населения. Внутреннее положение становится мрачным... На заседании Совета министров дуче сделал обзор положения, без комментариев, трезво, бесстрашно... В заключение он внес проект приказа, единодушно одобренного всеми. Знаменательна его за-

ключительная фраза; это призыв к итальянским народным массам — «пролетарским и фашистским». Враждебный и недовольный средний класс играет в опасную игру. Он не знает Муссолини и не отдает себе отчета, что дуче способен выдержать много невзгод, но при этом и затаить глубокую ненависть. Если он выигрывает, вернее когда он выигрывает, саботирующей буржуазии придется иметь дело со старым социалистом из Романы, которого ей удалось в нем разбудить...

Шестнадцатое января. [Дуче] озабочен своей поездкой в Германию.

Семнадцатое января. В центре внимания — решение дуче о мобилизации к 1 февраля всех высокопоставленных фашистских чиновников... Когда Серена стал возражать относительно практической осуществимости этого проекта, дуче ответил, что его план работы непосредственно с бюрократией представляет собой интересный опыт управления государством. Посмотрим. Во всяком случае, во всех наших правительственных кругах царит довольно сильное недовольство по поводу этого решения и того, как оно принималось...

А вот записи о поездке в Германию, куда с дуче должны были (по требованию Гитлера) поехать итальянские военные специалисты.

«Семнадцатое января. Кавалеро не едет в Германию, потому что началось греческое наступление. Вместо него поедет Гуццони. Мне это не очень [нравится]. Я его не люблю. Это человек, который сеет недоразумения и не заслуживает доверия; к тому же унижительно представлять немцам такого крохотного человечка с таким большим животом и крашеными волосами...

Девятнадцатое января. Гитлер со своим штабом встречает нас на заснеженной платформе... Встреча носит сердечный характер, и что меня больше всего удивляет — это непринужденная сердечность...

Двадцатое января. В целом дуче удовлетворен совещанием. Я — меньше, особенно потому, что Риббентроп, который в прошлом неизменно бравировал, на сей раз на четкий вопрос с моей стороны насчет продолжительности войны заявил, что не видит никакой возможности закончить ее ранее 1942 г. Гитлер в течение приблизительно двух часов говорил о скорой предстоящей интервенции в Греции.

Двадцать пятое января. Я прощаюсь с дуче. Завтра вечером еду в расположение своего авиационного отряда в Бари. Дуче был не столь ласков, сколь должен бы быть... Муссолини начал понимать, что его приказ об отсылке министров из Рима был встречен публикой неблагоприятно, и, как всегда бывает в подобных случаях, он становится еще более упрямым в своих решениях и более грубым в выражениях. При прощании он сделал несколько замечаний, которые вполне мог бы опустить»¹⁸.

11.

В марте, поверив обещаниям генерала графа Уго Кавалеро о предстоящем успешном наступлении на Греческом фронте, Муссолини сам прилетел в Албанию. Но наступление так и не началось. В очередной раз дуче вернулся в Италию униженный и угнетенный.

В самом конце марта у мыса Матапан в южной Греции итальянский флот потерпел еще одно тяжелое поражение. Отряд крейсеров и эсминцев, возглав-

¹⁸ Чиано Г. Дневник фашиста. 1939—1943. М.: «Плац», 2010. С. 364—387.

ляемый линкором «Витторио Венето», направился в район Крита на перехват британских конвоев, снабжавших Британский экспедиционный корпус в Греции. Главной целью операции являлась поддержка предстоящего немецкого вторжения в Грецию. Но в море итальянская эскадра встретила мощный английской заслон: авианосец, при нем три линейных корабля, несколько крейсеров и эсминцев. В ходе сражения «Витторио Венето» получил серьезные повреждения и едва добрался до Италии, три тяжелых крейсера и два эсминец англичане потопили, потеряв всего один самолет-торпедоносец.

Впрочем, дуче в очередной сводке назвал это сражение блестящим успехом итальянцев. Но с этого дня об итальянском превосходстве в воздухе над Средиземным морем в сводках больше не упоминалось.

12.

А в апреле в Грецию вторглись немецкие войска.

Греческая армия и Британский экспедиционный корпус были разгромлены буквально за две недели. Гитлер просил одновременно и итальянцев перейти в наступление, но теперь уже Муссолини осторожничал: он приказал своим частям оставаться в обороне, пока обстановка не прояснится.

Гитлеру это не понравилось, и он отозвался о своем союзнике чуть ли не с презрением. В письме, отправленном в Рим, он указал дуче, что отныне именно немцы будут принимать ответственные решения. Конечно, это держалось в секрете, и дуче просто делал вид, что приказы отдает он.

Идея «параллельной войны» провалилась.

Муссолини был в ярости.

Глава пятнадцатая.

«Мне придется оправдывать наше сотрудничество с Германией...»

1.

Одиннадцатого января 1941 г. Гитлер отдал приказ о формировании германского Африканского корпуса. 6 февраля командиром этого корпуса был назначен генерал-лейтенант Эрвин Роммель. Формально он подчинялся итальянскому командованию в Северной Африке, но фактически действовал самостоятельно, игнорируя все указания итальянцев. Перед вылетом из Катании (Сицилия) в Триполи он попросил командующего 10-м германским авиационным корпусом, размещавшимся в Италии, нанести удар по Бенгази, занятому британцами. К большому удивлению Роммеля, генерал авиации Ганс Гейслер сделать это отказался. Причина была проста: многие высокопоставленные итальянцы владели собственными домами в Бенгази.

Тогда Роммель обратился прямо в штаб Гитлера.

Передовые итальянские части в Ливии занимали оборону в Сирте, британские — в Эль-Агейле, километрах в трехстах к востоку. Англичане не решались двигаться дальше, потому что уже и так оторвались почти на тысячу километров от своих тыловых баз. К тому же около Триполи скопились остатки разбитых итальянских войск. Генерал Роммель быстро понял, что «в пустынях Северной Африки немоторизованные части практически ничего не могут противопоста-

вить мобильным войскам противника, поскольку те всегда могут ускорить свое продвижение, обойдя позиции противника с юга».

В первое время Роммель располагал только двумя немецкими батальонами — разведывательным и противотанковым, но решил, что нельзя надолго откладывать активные действия. В Триполи он даже наладил производство самодвижущихся фальшивых танков (на базе обычных «кюбельвагенов»), чтобы вводить в заблуждение британскую воздушную разведку.

Командующий британскими войсками генерал Арчибалд Уэйвелл тем временем отправил свои наиболее опытные и обстрелянные части в Грецию. В Африке их заменили не имеющие опыта войны в пустыне новобранцы, тогда как Роммель к своим батальонам сумел присоединить оставшиеся боеспособными итальянские отряды, имевшие, кстати, около 80 танков. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить англичан отойти из Эль-Агейлы на сто с лишним километров к северу, в Аджедабью, оставив в Эль-Агейле только небольшой заслон. Но 11 марта в Триполи прибыл танковый полк из будущей 5-й легкой африканской дивизии (120 танков), и 24 марта немецкий разведывательный батальон захватил Эль-Агейлу.

Решительность генерала Роммеля подняла дух присоединившихся к нему итальянских частей. «Роммель приказал разведывательному батальону двигаться непосредственно к Бенгази по виа Бальбия, преследуя отступающих англичан, в то время как разведывательный батальон итальянской дивизии «Ариете» должен был стремительным броском пересечь Киренаику, выйти к морю и отрезать английским частям путь к отступлению. Роммель принял решение совершить подобный маневр вопреки предупреждениям итальянских генералов о том, что эта дорога может стать смертельной ловушкой. Он произвел воздушную рекогносцировку и нашел, что дорога вполне пригодна для движения по ней механизированных частей и опасения итальянцев безосновательны»¹⁹. Третьего апреля его разведывательный батальон занял Бенгази.

Утром 4 апреля Роммель направил основные силы своей 5-й легкой дивизии через Бен-Ганию к морю, в Дерну, а следовавшая той же дорогой дивизия «Ариете» повернула на север, чтобы взять Эль-Мекили, что к югу от Джебель-эль-Акдара — горного хребта, тянущегося вдоль побережья.

Теперь все решала быстрота действий.

Роммель хотел втянуть хотя бы часть британской армии в сражение, прежде чем англичане уйдут из Киренаики, избежав полного разгрома. Ночью генерал получил сведения, что британские силы все еще удерживают Мсус — позицию, расположенную примерно в 70 милях к юго-востоку от Бенгази и в 50 милях к северо-западу от Бен-Гании. Он также узнал, что лучшая дорога для его транспортных колонн тянется через Мсус.

Утром 5 апреля Роммель приказал основной части своих мобильных сил двигаться прямо на Мсус, уничтожить там противника и сразу следовать на Эль-Мекили. С трудом пробиваясь сквозь песчаную бурю, танки вечером 6 апреля взяли Мсус, однако сбились с пути по дороге в Эль-Мекили, забрались слишком далеко на север и были обнаружены только самим Роммелем, который вечером 7 апреля совершил облет местности на легком самолете-разведчике «Шторх».

Тем временем прибывшая на место действий британская моторизованная бригада заняла Эль-Мекили. Роммель направил несколько подразделений

¹⁹ Чиано Г., цит. соч., с. 364—387.

в Дерну, чтобы с обеих сторон закрыть виа Бальбия, и одновременно перебросил основные силы с востока на запад. 8 апреля они выступили против британцев у Эль-Мекили и заставили противника сдаться. Затем Роммель направил свои танки в сторону Дерны, где немецкие войска взяли в плен большое количество англичан, включая генерала Нима и генерала О'Коннора, прибывшего из Египта на помощь Ниму. По нелепой случайности их машина, шедшая без сопровождения, столкнулась с немецкой колонной, продвигавшейся по виа Бальбия.

К 11 апреля 1941 г. английские войска оставили Киренаику и были вытеснены на территорию Египта. Остались лишь две дивизии, запершиеся в Тобруке. Этот город итальянцы еще перед войной превратили в самую настоящую крепость, а королевский военно-морской флот имел возможность снабжать осажденный гарнизон по морю...

2.

Самих итальянцев по-прежнему преследовали неудачи. И крупные, добавим. Шестого апреля, например, пала Аддис-Абеба, столица Итальянской Эфиопии, которую Муссолини называл «жемчужиной Итальянской империи». Правда, тогда же началась кампания Гитлера против Греции и Югославии, но сам факт того, что уже 27 апреля немцы вошли в Афины, вызывал в сердце дуче раздражение и ревность, тем более что вскоре, 20 мая, немцы успешно атаковали остров Крит, высадив крупные воздушные десанты в районе его основных аэропортов.

Оценив достигнутый успех, немцы склонялись к относительно мягким условиям капитуляции Греции. Они даже подумывали о создании там марионеточного государства, без прямой оккупации, но Муссолини буквально впал в истерику, требуя, чтобы должное уважение было оказано итальянцам, которые «столь долго сражались, оттягивая на себя главные греческие силы». «Дуче до самого последнего момента надеялся, что сможет поехать в Грецию, чтобы лично принять капитуляцию, но греки предпочли сдаться немцам, а не итальянской армии, которую, как они утверждали, они победили и которая за шесть месяцев так и не пересекла границу их страны. Гитлер явно испытывал симпатию к грекам, в любом случае он предпочитал заключить достойный мир с противником, который храбро сражался и чья помощь (в любом качестве) еще могла пригодиться. Но Муссолини мстительно требовал полной капитуляции»²⁰.

В результате Грецию поделили на три оккупационные зоны — германскую, итальянскую и болгарскую. Самую большую отдали Италии, но не на радость ей, поскольку во всех этих зонах очень скоро возникло и начало развиваться партизанское движение.

3.

Тогда же немецкие войска завершили разгром Югославии. Ее оккупированные территории сразу же стали объектом дележа.

Рабочий дневник Чиано, вернувшегося с фронта и вновь исполняющего обязанности министра иностранных дел, полон заметок об аннексии Далмации, на которую претендует Италия, и части Словении, о создании марионеточного

²⁰ Mack Smith, D., op. cit., p. 309.

государства в Хорватии. Из дневника видно, какая политическая возня идет вокруг завоеванных земель.

«Двадцать пятое апреля. В Любляне. Адская погода: льет дождь и дует ледяной ветер. У людей вид потрясенный, но не враждебный. Я вижу с Павеличем, окруженным толпой своих подручных. Он заявляет, что решения, которые мы предлагаем, приведут к его исключению из правительства. Он делает встречное предложение: Далмация по лондонскому договору, а также Трау отойдут к Италии; Сплит, Дубровник и несколько островов — к Хорватии. Его спутники еще радикальнее. Они ссылаются на статистику, чтобы доказать, что в Далмации нет ничего итальянского, кроме камней. Напротив, Павелич поддерживает политическое соглашение. Он не исключает в конечном счете и личной унии с королем Италии или королевства, во главе которого встанет один из принцев Савойского дома...

Двадцать девятое апреля. Подготавливаю с Буффарини политическую карту новой провинции Любляна...

Тридцатое апреля. Король очень доволен, что корона [Хорватии] достанется принцу из его дома. В текущей обстановке остается только выбрать между герцогом Сполето и герцогом Пистойи. Король склоняется к первому, прежде всего из-за его представительного вида, а еще, до определенной степени, из-за его интеллектуальных способностей...

Третье мая. Муссолини заставляет меня прочесть приказ на текущий день, который Роммель отправил нашим командирам дивизий в Ливии. Он (Роммель. — Г. П., С. С.) доходит до того, что угрожает им военным трибуналом. Похоже, что это породило определенное недовольство; странно, если бы это было не так. В Албании также чувствуется серьезная враждебность по отношению к нашим союзникам...

Восьмое мая. Аквароне говорит мне, что герцог Сполето гордится ожидающей его ролью, но его очень беспокоит идея потерять свою личную свободу. Чтобы объявить новость, его нашли только через 24 часа в одном миланском отеле, где он прятался в компании молодой девушки...

Тринадцатое мая. История с Гессом пахнет газетно-бульварной сенсацией. Гитлеровский заместитель, второй после него человек, в течение пятнадцати лет державший в руках могущественную немецкую организацию, приземлился в Шотландии. Он бежал, оставив письмо Гитлеру. По-моему, это весьма серьезное дело: это первая подлинная победа англичан. Вначале дуче (когда ему доложили о случившемся) думал, будто Гесс совершил вынужденную посадку на пути в Ирландию, куда направлялся, чтобы поднять там восстание; однако скоро он отказался от такого толкования. Тем более что фон Риббентроп неожиданно приехал в Рим. Он обескуражен и нервничает. Он желает говорить с дуче и со мною по целому ряду причин и осведомить нас об истории с Гессом, которая уже стала достоянием прессы во всем мире. Официальная версия сводится к тому, что Гесс, физически и душевно больной, пал жертвой пацифистских галлюцинаций и отправился в Англию, надеясь способствовать началу мирных переговоров. Отсюда следует то, что он не предатель; отсюда следует, что он не будет болтать; отсюда следует, что любые устные или печатные заявления, сделанные от его имени, будут фальшивками. Рассказ Риббентропа представляет прелестный образчик зашивания прорех. Немцы желают себя обезопасить до того, как Гесс заговорит и раскроет вещи, способные произвести сильное впечатление. Дуче утешил фон Риббентропа, но впоследствии сказал

мне, что считает историю с Гессом грандиозным ударом по нацистскому режиму. И к этому добавил, что рад случившейся истории, потому что она понизит германские акции даже у итальянцев...»²¹

«Рад случившейся истории» — это не оговорка. После встречи с фюрером в январе 1941 г. в Бергхофе дуче (конечно, наедине) сказал своему послу в Берлине, что находит Гитлера совсем больным человеком, настоящим истериком. Он то в слезах, то в ярости. Все чувства фюрера преувеличены. Слишком уж нарочито он выказывает и свое великодушие, и свою силу.

«Семнадцатое мая. Инцидент, сопровождавший отъезд короля из Тираны, был единственным диссонансом в путешествии, которое в целом было весьма удачным. Девятнадцатилетний мальчик, некий Михайлов (македонский грек), произвел несколько выстрелов по королевскому автомобилю...

Двадцать шестое мая. Виделся с Боттаи. Он, как и каждый, кто побывал в Словении, настроен резко антигермански. Он пессимистически отзывается о нашем внутреннем положении, которое, по его мнению, характеризуется образованием двух, так сказать, внезаконных групп, которые оказывают сильное и опасное влияние на дуче. На одной стороне находятся донна Ракеле и Патер (причем во всех кругах много болтают об этой истории); на другой стороне — семья Петаччи со своими сателлитами. Как и все *посторонние* люди, они интригуют против тех, кто наделен хоть какой-то законной или конституционной властью. Боттаи именно этим объясняет холодное и едва ли не враждебное отношение Муссолини к высшим фашистским чиновникам...

Тридцатое мая. Боттаи говорил сегодня, что Рузвельт — истинный диктатор, в то время как нашу систему власти, подобно тем, которые всегда процветали на берегах Средиземноморья, надо воспринимать как тиранию...

Тридцать первое мая. Гитлер дал нам знать, что хочет встретиться с дуче как можно быстрее, завтра или послезавтра. Дуче не понравилось ни приглашение, ни форма, в которой оно было сделано. «Мне надоело, что меня вызывают, позвонив в звонок». Я узнал от Боттаи, что дуче был раздражен публикацией в философском ревью «Минерва» в Турине изречения не знаю какого греческого философа, который сказал, что нет большего несчастья для страны, чем находиться под управлением старого тирана...

Второе июня. Наше общее впечатление [от встречи с фюрером] такое, что в данный момент у Гитлера нет никакого плана действий. Россия, Турция, Испания — все это подсобные элементы...

Седьмое июня. Он (Муссолини. — Г. П., С. С.) даже подумывает над тем, чтобы отложить свою речь, с которой намеревался выступить в Палате 10-го числа, в годовщину нашего вступления в войну. «Мне придется оправдывать наше сотрудничество с Германией»...

Из дневника Чиано мы узнаем много любопытного.

Пятнадцатого июня Риббентроп впервые упоминает в разговоре с Чиано о «неизбежном кризисе в отношениях с Россией». Девятнадцатого июня говорит о впечатляющих успехах в Ливии, достигнутых, конечно, благодаря руководству генерала Роммеля, но Чиано эту деталь опускает.

Наконец, 21 июня: «Многочисленные признаки создают впечатление, что операции против России должны начаться скоро».

О войне итальянцы узнали уже на другой день.

²¹ Ciano G., op. cit., p. 393—399.

«Двадцать второе июня. В 3 часа утра [посол Германии в Риме] Бисмарк приносит мне длинейшее послание от Гитлера к дуче, в котором он стремится объяснить причины, побудившие его к этому шагу; и хотя письмо начинается традиционными заверениями в том, что Великобритания проиграла войну, тон последнего послания далеко не такой выпренный, как обычно. Я сообщил об этом по телефону дуче, который еще находится в Риччоне. Далее, все еще ранним утром, я пытаюсь связаться с советским послом, чтобы уведомить его об объявлении войны...»

4.

Двадцать второго июня 1941 г. вслед за Германией Италия объявила войну Советскому Союзу.

СССР — не Греция. Война с СССР — огромный риск. И все же, как ни странно, событие это не обсуждалось ни на Большом фашистском совете, ни в Совете министров — всю ответственность взял на себя дуче.

Ватикан поддержал действия дуче, но его министр иностранных дел Галеаццо Чиано, человек, во многом прекрасно информированный, в первые же дни новой войны отметил в своем рабочем дневнике полную неготовность Италии к ведению каких-либо серьезных военных операций. Война с СССР — это не прогулка в соседнюю Албанию. За все нужно платить — за оружие, за обмундирование, за транспорт. В Германию (союзный долг!) в больших количествах уходили продукты питания, а в самой Италии хлеб уже выдавался по карточкам, заработная плата была блокирована. В ответ Германия (чрезвычайно скупой) выделяла уголь, нефть, сырье для итальянской промышленности.

Великий воин... Новый человек... Благородный фашист... Но где увидеть этого благородного фашиста? Где он? Покажите его.

Наверное, один дуче только и радовался холодной зиме 1940/1941 г., когда даже в Риме выпал снег. Холода и недоедание — это хорошо, считал Муссолини. Трудности благотворно действуют на ленивых итальянцев. Пора стряхнуть с них духовную сонливость. В конце концов, отсутствие надлежащих (позитивных) известий с многочисленных фронтов — это вина самих итальяшек. Да, итальяшек! Именно итальяшек. Великое вечное искусство, которым они гордятся, сыграло не лучшую роль в формировании нации. Это искусство незаметно поработило итальянцев, превратило их в слабых, бесхребетных существ.

Ко всему прочему, 7 августа 1941 г. под Пизой погиб Бруно — один из сыновей Муссолини. Опытный военный летчик, он испытывал новый четырехмоторный бомбардировщик «Пьяджо» Р-108. Из-за внезапных неисправностей, возникших в гидросистеме, самолет разбился при посадке. Для дуче это был тяжелый удар. Он даже написал книгу о своем погибшем сыне — «Говорю с Бруно». На людях дуче, как всегда, держался самоуверенно, но книга выдавала его внутреннее отчаяние. Эти долгие смиренные размышления о смерти... Казалось, в дуче что-то сломалось... Похудевший, с отсутствующим взглядом, с трехдневной щетиной на впалых щеках, он сбрасывал стресс тем, что за штурвалом своего личного самолета поднимался в воздух и подолгу кружил над Римом. Каждый день его навещала Кларетта Петаччи, но и она не могла вывести Муссолини из странного болезненного состояния. Однажды, без предварительного звонка, дуче сам заехал к доктору Франческо Петаччи — отцу

своей любовницы. Тот очень растерялся, увидев перед собой дуче, но, конечно, пригласил в дом. И Муссолини вдруг разговорился с ним, в сущности, совсем чужим человеком, — об одиночестве... ответственности... отсутствии надежной опоры... Доктор Петаччи был поражен.

Не меньше был поражен Дино Альфиери — итальянский посол в Германии. «Я нашел дуче в состоянии глубокой депрессии, — записал он в своем дневнике. — Побледневшее и осунувшееся лицо выглядело удрученным и озабоченным. Мятая рубашка, небритые щеки. С необычными для него тактом и заботливостью, что само по себе свидетельствовало о смятенном состоянии духа, дуче спросил, как я себя чувствую и вполне ли выздоровел после болезни... Он медленно расхаживал вокруг массивного письменного стола, не переставая правой рукой нервно и быстро поглаживать подбородок и лицо, и попеременно обращался то к Чиано (присутствовавшему при разговоре), то ко мне, словно пытаясь уловить с нашей стороны какое-то одобрение своих теорий, оправдание надежд...»

5.

Между тем война затягивалась.

Если бы не германские войска, итальянская армия в Северной Африке давно сложила бы оружие или была бы уничтожена. В самой Италии вводились все новые и новые налоги — на наследство, на импорт, на биржевую прибыль. Цены росли, нормы отпуска продуктов падали. В 1941 г. взрослый итальянец получал: хлеба — 200 граммов в день (на 100 граммов больше получали только работники физического труда), жиров — 400 граммов в месяц, сахара — полкилограмма, мяса — 400 граммов, картофеля — 15 килограммов (на полгода). В прежде роскошных ресторанах подавались только суп, салат и фрукты. Созданные до войны хозяйства не справлялись со своими задачами без удобрений и топлива. Но дуче считал такое положение вполне приемлемым. Он считал, что испытания идут только на пользу его ленивым согражданам (мягкотелым итальяшкам, как он о них отзывался). Он ожесточился. Все чаще к нему возвращался прежний антирелигиозный пыл, он даже отменил традиционные церковные выходные в январе и подумывал об отмене Рождества.

Все будто с ума посходили, записал в дневнике Галеаццо Чиано. Даже донна Ракеле, жена дуче, всегда такая здоровая и спокойная, выглядела встревоженной. В своем простодушии, отмечал Чиано, она стала прислушиваться к самым нелепым сплетням, особенно если речь шла о финансах. В отличие от Муссолини, донна Ракеле не была бессребреницей. Все хотят отыграться на дуче, жаловалась она. Даже скворцы, которых она любила стрелять из духового ружья, вдруг покинули сосновую рощу виллы Торлония. «Перебрались, наверное, на виллу Савойя, поближе к королю».

Впрочем, война в Советском Союзе в первые месяцы вроде бы шла успешно.

В 1941 г. Муссолини даже побывал (по приглашению Гитлера) на Восточном фронте. Поводом для поездки послужило окружение и разгром немцами советских армий в районе Умани, в так называемом Уманском котле. 28 августа 1941 г. под Умань прилетел Гитлер, который привез туда Муссолини.

Итальянский экспедиционный корпус (почти 62 тысячи человек), который Муссолини в конце июня буквально упрашивал Гитлера допустить к боевым

действиям в России, немцы держали на левом фланге своей 11-й армии, по-дальше от Черного моря. В Крым итальянцам, по секретному приказу Гитлера, доступ был запрещен. В окружении советских войск итальянцы участия почти не принимали, главным образом потому, что неадекватная моторизация не позволяла им эффективно взаимодействовать с гораздо более мобильными немецкими частями, — однако Умань находилась в районе действий итальянского корпуса.

Увидев своих солдат, Муссолини в очередной раз почувствовал себя униженным. «Не парад там готовился, а целый спектакль, — писал участник боев под Уманью советский поэт Е. А. Долматовский. — Б. Муссолини и А. Гитлер ехали в одном автомобиле и вдруг — какая неожиданность — они встречают колонну дивизии «Торино», во всем блеске и могуществе направляющейся к Днепру. Надо ли говорить, что «неожиданная» встреча специально готовилась. Сначала, правда, встречу подпортил дождь, а потом величественным взорам дуче и фюрера представилась отнюдь не величественная картина: колонна реквизированных в Италии для войны грузовиков и автобусов шла зигзагами, колеса машин буксовали в грязи, римским легионерам приходилось спешиваться, толкать и вытаскивать свои «колесницы». Во многих воспоминаниях воспроизводится одна красочная деталь: автотранспорт был наскоро загримирован под военный, но грим смыло дождем, и на бортах обнаруживались крупными буквами выписанные имена торговых фирм, рекламные рисунки, отнюдь не военные эмблемы... Муссолини досадовал, да и Гитлер без восторга наблюдал за унылым маршем своих сателлитов...»²²

Из многих источников известен эпизод, когда во время этой поездки Муссолини привел в растерянность всю свиту Гитлера, потребовав, чтобы в самолете ему разрешили занять место рядом с личным пилотом фюрера. Он настоял также, чтобы это было упомянуто в опубликованном коммюнике.

Но успехов, в общем, было немного. Ко всему прочему, Муссолини все чаще болел. Он терял уверенность. Он оправдывался теперь даже перед любовницей. «Дорогая малышка! — писал он Кларетте. — Конечно, твои «службы» работают отлично. Я, действительно, был в воскресенье в доме Р. (еще одной его любовницы. — Г. П., С. С.). У тебя есть тенденция драматизировать события, но все же я благодарен тебе и могу заверить, что все эти мелочи совершенно не стоят придаваемого им тобой значения... Существует только одно, что должно тебя по-настоящему беспокоить: как можно быстрее выздороветь (Кларетта была больна. — Г. П., С. С.) и вернуться к выполнению своей великой задачи — в качестве маленького «талисмана», который мне теперь необходим, как никогда прежде... Твоя комната [в палатце Венеция] по-прежнему ждет тебя с нетерпением. Возвращайся поскорее. Любящий тебя Бен».

6.

Особенно раздражало дуче положение на фронтах. Он срывался. Он орал на генералов. Он не мог поверить в то, что его великие военные идеи проваливаются. Буквально во всех этих неудачах он винил прежде всего своих «итальяшек». Это они, мягкотелые, развращенные своим вечным искусством, ни на что не способны. Фашизм — это вера! Если бы «итальяшки» верили!

²² Долматовский Е. А. Зеленая брама. М., 1985.

Конечно, в 1941—1942 гг. победы еще имели место, но их приносили — Роммель в Северной Африке, Гитлер в России. Втайне Муссолини радовался сложностям, постоянно возникающим у фюрера. «Создается впечатление, что немцы наталкиваются в Минске на все возрастающее сопротивление русских», — записал Чиано в дневнике в июле 1941 г. И отмечал, что периоды депрессии у Муссолини теперь чередовались с периодами маниакальной веры в победу, в поиски очередного «шанса». Но надежда «отыграться» вела к новым ошибкам.

К концу 1941 г. Америка все еще оставалась нейтральной. Зато Япония готова была нанести удар. Японцы оккупировали французские колонии в Юго-Восточной Азии и разместили войска в Таиланде, подкупив это королевство предложением поделить с ними территории соседних Камбоджи и Лаоса. С 1940 г. Японию связывал с Германией и Италией Тройственный пакт, согласно которому «если одна из трех договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо державы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в японо-китайском конфликте, то три страны обязуются оказывать взаимную помощь всеми имеющимися в их распоряжении политическими, экономическими и военными средствами».

Но теперь Япония сама готовилась напасть на США. Немцы еще в марте 1941 г. обещали тогдашнему японскому министру иностранных дел Ёсукэ Мацуоке, что поддержат нападение Японии. Впрочем, обещание Гитлер дал почти мимоходом, он в общем старался не провоцировать Америку. Целью держав «оси» было «склонить Японию к принятию активных мер на Дальнем Востоке. Таким образом там окажутся скованы значительные английские силы, а центр тяжести Соединенных Штатов переместится в зону Тихого океана. Общая цель ведения войны состояла в том, чтобы быстрее поставить Англию на колени и тем самым удержать США от вступления в войну. Захват Сингапура как ключевой английской позиции на Дальнем Востоке будет иметь решающее значение для ведения войны тремя державами “оси” в целом»²³. Тем не менее (возможно, не без влияния Муссолини) Гитлер обещание дал. «Мацуока информировал Гитлера, что Муссолини сказал ему: “Америка является врагом номер один, а Советский Союз стоит только на втором месте”».

В те дни Гитлер готовил вторжение в Грецию и Югославию и пребывал в воинственном настроении, поэтому и заявил Мацуоке, находившемуся с визитом в Берлине, что трудно представить более благоприятные условия, чем теперь, для нанесения удара на Тихом океане. По свидетельству переводчика доктора Шмидта, Гитлер прямо заметил: «Если Япония вступит в конфликт с Соединенными Штатами, Германия со своей стороны немедленно примет необходимые шаги».

В вихре последующих событий — завоевания Греции и Югославии, успехов Роммеля в Северной Африке, нападения на СССР — Гитлер мог забыть о своих обещаниях (Муссолини теперь уже просто следовал за своим партнером), но о них не забыли японцы. Фюрер настолько увлекся своими планами, что не стал мешать подписанию договора о нейтралитете между Японией и СССР, который Мацуока подписал на обратном пути через Москву. Начиная с июня 1941 г. немцы не раз пытались убедить Японию ударить с тыла по Советской России, но японское правительство медлило, ссылаясь на недавно заключенный

²³ Основовологающий приказ № 24 относительно сотрудничества с Японией от 5 марта 1941 г. // Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. Т. 2. — М., Военное издательство, 1991. С. 262.

договор. А когда Мацуока (кстати, сторонник войны с СССР) вынужден был уйти в отставку, в Японии вообще к власти пришли сторонники войны с США.

У американцев время от времени возникали конфликтные ситуации с Германией, главным образом в связи с боевыми кораблями, сопровождавшими конвой с военной помощью для Великобритании и СССР. Например, 17 октября американский эсминец «Керни» забросал одну из немецких подлодок глубинными бомбами, на что она ответила удачной торпедной атакой: погибло 11 членов экипажа. 31 октября другая подлодка торпедировала американский эсминец «Рубен Джеймс»: из 145 членов его экипажа погибли 100. Правда, до поры до времени таким конфликтам не давали разрастаться. Существовало даже специальное распоряжение Гитлера об этом. Только осенью 1941 г., поняв, что американская помощь действительно мешает быстрой победе, гитлеровские дипломаты вновь стали поощрять агрессивную политику Японии.

Шестнадцатого октября 1941 г. пало правительство принца Коноэ Фумимаро. На смену этому достаточно осторожному аристократу из клана Фудзивара пришел новый агрессивный премьер — генерал Тодзио Хидэки.

Послом в Берлине в это время был генерал-лейтенант Осима Хироси. Как писал Уильям Ширер: «Генерал Осима, солдат того же покроя, что и Тодзио, сразу поспешил на Вильгельмштрассе, чтобы сообщить германскому правительству приятную новость. По словам посла, избрание Тодзио на пост премьера означало, что Япония теперь еще больше сблизится с партнерами по Тройственному пакту и что переговоры в Вашингтоне будут прекращены. Случайно или преднамеренно, но он ничего не сказал нацистским друзьям о последствиях прекращения этих переговоров и о том, что новое правительство Тодзио полно решительности начать войну против Соединенных Штатов, если вашингтонские переговоры не закончатся принятием Рузвельтом условий о свободе действий для Японии, то есть о том, что японцы намерены не нападать на Россию, а оккупировать Юго-Восточную Азию. Ничего подобного не приходило в голову ни Риббентропу, ни Гитлеру, которые все еще смотрели на Японию как на союзника, способного обеспечить немецкие интересы в том случае, если она нападет на Сибирь и Сингапур и запугает Вашингтон судьбой их позиций на Тихом океане...»

Двадцать пятого ноября 1941 г. японская авианосная группа двинулась к Пёрл-Харбору.

В Берлине в этот день три державы «оси» торжественно возродили Антикоминтерновский пакт 1936 г., но ни Германия, ни Италия ничего еще не знали о скором нападении Японии на США. Правда, Риббентроп в разговоре с японским послом еще раз подтвердил, что «если Япония окажется вовлеченной в войну против Соединенных Штатов, то Германия, конечно, немедленно присоединится к войне на стороне Японии»²⁴. Японцы же (не говоря открыто о своих планах) хотели при этом получить твердую гарантию (желательно в письменном виде), что Германия действительно выступит на их стороне.

Посол Осима, большой любитель музыки, поехал было на Моцартовский фестиваль в Австрию, но указания из Токио заставили его вернуться в Берлин. 1 декабря он пошел на прием к Риббентропу, чтобы добиться подписания Германией документа в соответствии с достигнутыми договоренностями, но Риббентроп решил посоветоваться с фюрером. 3 декабря Осима явился на прием снова, но Риббентроп и теперь уклонился от конкретного ответа. Иначе и быть

²⁴ Ширер У., цит. соч., с. 278.

не могло: Гитлер находился на Восточном фронте, его чрезвычайно встревожило успешное советское контрнаступление под Ростовом. До контрнаступления под Москвой оставалось три дня.

В тот же день японцы обратились к Муссолини. Со свойственной ему иронией Чиано записал: «Третье декабря. Посол попросил приема у дуче и прочитал ему длинную декларацию относительно хода их переговоров с Америкой, сообщив в заключение, что эти переговоры зашли в тупик. Затем, ссылаясь на соответствующую статью Тройственного пакта, он попросил, чтобы Италия объявила Соединенным Штатам войну, как только произойдет столкновение, а также предложил нам подписать пакт с Японией о незаключении сепаратного мира. Переводчик, записывая эти просьбы, дрожал как лист. Дуче дал послу заверения общего характера и оговорил свое право проконсультироваться по этому поводу с Берлином. Дуче был доволен этим сообщением и заявил: «Итак, мы приближаемся к войне между континентами»...» Но на следующий день Чиано записал: «Немцам все меньше и меньше улыбается мысль о провоцировании вмешательства Америки в войну. Муссолини, напротив, чрезвычайно рад этому»²⁵.

Все же Гитлер в итоге согласился дать японцам гарантии. «В ночь на 5 декабря министр иностранных дел [фон Риббентроп], вероятно, получил от фюрера соответствующее разрешение и в три часа утра вручил генералу Осиме проект испрашиваемого японцами договора...»

Проект был отправлен и Муссолини.

Японцев, однако, беспокоило то, что проект все еще не подписан. Они «подозревали, что фюрер умышленно затягивает его подписание, выдвигая конкретное условие: если Германия присоединится к Японии в войне против Соединенных Штатов, то Япония должна будет присоединиться к Германии в войне против России. Японцы этого не хотели. В инструкциях послу предлагалось несколько вариантов поведения в случае, если немцы все же станут настаивать на этом условии, но, говорилось там, если немецкое правительство все же поставит одобрение этого вопроса в прямую зависимость от нашего участия в войне против России и от нашего обязательства не заключать сепаратный мир, у нас не останется другого выхода, кроме как отложить заключение договора».

Шестого декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой, и перспективы подписания подобного договора начали выглядеть для японцев все более сомнительными. А 7 декабря в 7.30 утра началась атака на Пёрл-Харбор. Японцы ни словом не обмолвились о Пёрл-Харборе во время переговоров, указывает в своей книге Ширер. «Долгое время считалось, что Гитлер точно знал о предстоящем нападении на Пёрл-Харбор, однако мне не удалось найти в захваченных секретных документах ни малейшего этому подтверждения». Риббентроп также заявлял на Нюрнбергском трибунале, что нападение оказалось для Германии полной неожиданностью.

Конечно, диктатура более управляема, чем демократия, особенно в условиях войны, зато диктатура всегда более зависима от настроений диктатора. Восьмого декабря Чиано записал в дневнике: «Ночью Риббентроп позвонил по телефону: он в восторге от нападения японцев на США... Муссолини был счастлив. Он давно стоял за то, чтобы создать ясность в положении дел между Америкой и странами “оси”».

²⁵ Ширер У., цит. соч., с. 470.

В тот же день Гитлер отдал приказ немецкому военно-морскому флоту атаковать любые (и где угодно) американские корабли²⁶.

7.

Одиннадцатого декабря 1941 г. Германия и Италия объявили войну США. Вот вам за вашу постоянную наглость — «страна негров и евреев!» Вот вам — вырожденцы англичане! Вот вам — деграданты-французы, сторонники де Голля. Вот вам — советские упертые большевики, все еще держащиеся перед несокрушимыми армиями Гитлера.

Вслед за диктаторами начали объявлять войну США их сателлиты.

О сумятице, царившей в умах того времени, можно судить по анекдоту, записанному в дневнике Чиано. Посланник Венгрии (по примеру Германии и Италии) объявляет войну США, но американский чиновник никак не может понять, что, собственно, происходит, с кем ему приходится иметь дело.

«Венгрия — это республика?»

«Нет, королевство».

«Значит, у вас есть король?»

«Нет, у нас есть только адмирал».

«Значит, у вас есть флот?»

«Нет, у нас нет морей»

«Значит, у вас есть претензии?»

«Разумеется».

«К Америке?»

«Нет».

«К Англии?»

«Нет».

«К России?»

«Нет».

«Так к кому же?»

«Прежде всего, к Румынии»

«А почему тогда вы объявляете войну нам?»

«Потому что мы с Румынией союзники».

Анекдот анекдотом, но после того, как Италия объявила США войну, в ответ объявили войну Италии практически все латиноамериканские страны.



²⁶ Ширер У., цит. соч., с. 284.

Дискуссия

Олег ПОЛЕЖАЕВ

К ВОПРОСУ О ПОЭТИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ

Поэтическое поле Новосибирска, как и всей страны, состоит из множества разнообразных сегментов, которые в первом приближении очень условно можно разделить на две группы: «консервативную» и «прогрессивную». Основная масса т. н. «консерваторов» опирается на наследие русской и советской поэзии, склоняясь к регулярному рифмованному стиху с традиционными мотивами, в то время как «прогрессоры» являются скорее наследниками авангардной поэтической культуры, тяготеющими к различным экспериментам с языком, техниками, мотивами и пр.

Сами по себе эти предпочтения вполне равноценны, т. е. «традиционное» не является «лучшим» или «худшим», равно как и наоборот — «экспериментальное» не означает ни того, ни другого, поскольку в обоих случаях важна реализуемая степень художественности поэтического текста. И поскольку в обоих лагерях сосуществуют поэты с разным уровнем развития художественного сознания, мы в обоих случаях получаем срез поэзии различного качества. Если говорить проще — в любом лагере присутствуют как талантливые, так и неталантливые авторы. И это абсолютно обыденная ситуация, наблюдаемая во всем мире.

Конечно же, многообразие поэтических текстов вызывает споры и между читателями, отстаивающими собственные

предпочтения, причем нередко именно личные пристрастия выдаются за литературно-критические высказывания, такими на самом деле не являясь. В данной статье автор предпринимает попытку высказать свою точку зрения на то, чем является настоящая литературная критика, не претендуя на истину в последней инстанции, но надеясь остаться в пределах объективного подхода.

* * *

Любой автор, создающий художественные тексты, не может существовать без своего читателя — читатель всегда играет роль со-творца, т. е. в каждом отдельном случае текст как бы воссоздается читателем, преломляясь в его сознании, в силу чего при восприятии произведения возникает коммуникативная триада *автор — текст — читатель*, в которой каждый член триады чрезвычайно важен. Можно даже сказать, что в момент встречи читателя с автором через художественное произведение происходит своеобразное таинство, но при этом на процесс влияет множество факторов, среди которых наиболее значимым является читательский опыт, накапливаемый в ходе вдумчивого чтения разнообразных и многочисленных художественных текстов. Если таковой опыт читателя не равен уровню авторского таланта, авторского художественного сознания — никакого

таинства не происходит. В данном случае «не равен» подразумевает то, что читательский опыт может быть меньшим или большим — неважно, зачастую это одинаково фатально для возникновения коммуникативной триады. Очень многие читатели в этом случае склонны винить именно автора в том, что его текст не произвел на них впечатления, хотя чаще всего им нужно винить свой малый опыт прочтения художественных произведений.

Хотя вполне может случиться и так, что конкретный авторский талант оказывается меньше конкретного читательского опыта; в таких случаях некоторые читатели даже гnevаются — мол, вообще не стихи, а черт знает что... Но это вовсе не означает, что созданный по законам художественности текст не является художественным и объединение в триаду невозможно: если читательский опыт существенно больше авторского, то читатель способен указать на очевидные погрешности, мешающие адекватному восприятию текста: так, например, взрослый читает и оценивает стишок, написанный ребенком. Естественно, это происходит, в первую очередь, при благожелательном отношении читателя к автору, при стремлении воспроизвести процесс сотворчества хотя бы в таком урезанном виде.

Если же читатель настроен скептически, если ему мешают амбиции и желание показать свое превосходство, то мы услышим обобщенные рассуждения на отвлеченные темы типа «верлибр — это не поэзия» или «силабо-тоника давно уже устарела», т. е. явственным будет стремление размежеваться в равной степени как с текстом, так и с автором. И вот как раз подобное стремление растождествиться с художественной триадой, к сожалению, зачастую выдается за литературную критику.

В таких случаях читатель (а критик — это профессиональный читатель и есть) склонен совершать некоторые характерные ошибки. Первая — пол-

ный отказ от соотнесения собственного читательского опыта с направлением художественной мысли автора: например, попытки оценивать верлибр по меркам поэзии регулярного типа, или предъявление к лирическому тексту требований, относящихся к тексту эпическому (грубо говоря, стихотворение пытаются прочесть как рассказ), или объявление тонического стиха «неровным» из-за отсутствия строгого размера и т. д.

Вторая же ошибка заключается в склонности переоценивать свой читательский опыт: например, человек берется судить любое стихотворение лишь на том основании, что он прочитал, допустим, всего Бродского. А многие не достигают и этого по-своему впечатляющего результата, но при том гордо полагают себя «любителями поэзии», тогда как при беглом опросе выясняется, что любят они лишь двух-трех авторов, поэтических имен назвать могут не больше десятка из школьной программы и последний раз читали что-то поэтическое этак месяц, а то и несколько месяцев назад — да и то случайно наткнувшись на чей-то стишок в новостной ленте социальной сети.

Впрочем, чаще встречаются любители поэзии, которые читают много, часто и с удовольствием, но — однообразные по поэтике и уровню художественного исполнения стихотворения. Чаще всего такие читатели и сами пишут стихи, подобные их устоявшемуся кругу чтения — на сайте «Стихи.ру» это наиболее типичная ситуация, в которой могут участвовать в равной степени и «консерваторы», и «прогрессоры». Вполне понятно, что при выходе за пределы своего круга чтения такие читатели сталкиваются с большими трудностями в получении художественного впечатления от стихов непривычной, малознакомой или вовсе незнакомой им поэтики.

Сравните подобный подход, например, с любителями кино: примете ли вы критические суждения о новом фильме

от человека, который за всю свою жизнь посмотрел не больше десятка фильмов, пусть даже и входящих в какой-нибудь официальный топ типа IMDb? Возможно ли вообще представить себе ситуацию в кинокритике, когда на полном серьезе кто-то пытается сопоставлять современные развлекательные фильмы с шедеврами авторского кино полувековой давности или, например, черно-белые ленты класса В 1930-х гг. с современными YouTube-роликами?

И, наконец, третья характерная ошибка — это когда читатель даже с действительно богатым и разнообразным опытом выносит поспешные суждения на основании беглого знакомства с поэтическим текстом, соотнося этот текст с некоторым базовым набором образцов, существующих в его памяти. Например, оценивает тоническое стихотворение, сравнивая его со стихами Маяковского или Вознесенского, или сравнивая вроде бы прозрачное по смыслу лирическое силлабо-тоническое стихотворение со стихами Пушкина или Есенина, или герметичное стихотворение в технике многостопного трехсложного метра со стихами Бродского — и так далее, вплоть до сравнения любого верлибра с, например, уитменовским. Конечно, в чем-то подобный метод оправдан, тем более что действительно могут встречаться авторы, осознанно или неосознанно копирующие манеру более известного и талантливого литератора. Но феномен художественности подразумевает, что, при всем совпадении поэтической манеры, поэтических техник или даже тем и мотивов с таковыми иных, уже известных текстов, непременно будет какое-то, хотя бы в малейшей степени, своеобразие, обусловленное неповторимостью творящего сознания — а значит, всякий раз при столкновении с новым (а порой даже и при повторном столкновении с хорошо известным) текстом будет стремиться возникнуть новая, иная художественная триада.

Следовательно, настоящая литературная критика в исполнении опытного читателя всегда направлена именно на восстановление данной художественной триады и стремится убрать все препоны, мешающие завершению этого процесса, пытается хотя бы сконструировать художественное впечатление — каким бы оно могло быть, если бы не было существенной разницы в читательском и авторском опыте. Эта действительно объективная критика направлена, в конце концов, даже не столько на указание авторских промахов или текстовых лакун, сколько на упреждение собственных читательских ошибок в восприятии художественного текста.

В то же время антикритика, препятствующая попыткам осуществления художественной триады, не наполнена никаким позитивным смыслом, а попросту имеет целью самоутверждение читателя за счет других членов триады (автора и текста), потому что антикритик вовсе не заинтересован в воссоздании и постижении авторского художественного замысла. Но ведь других читателей литературной критики, как правило, интересует прежде всего возможность получить новый опыт эстетического переживания, а не список чьих-то неудачных, провалившихся попыток...

Однако антикритики насаждают миф о том, что литературная критика адресуется в первую очередь авторам и особенно, мол, это полезно для авторов начинающих и неопытных: дескать, автор должен знать о том, что его попытка построить художественную триаду оказалась несостоятельна. Предполагается, что в таком случае автор сделает некие полезные выводы и следующий его текст окажется жизнеспособнее. В таких случаях антикритик часто любит советовать уничижаемому автору изменить поэтическую технику под его, антикритика, вкус, избегать таких-то и таких-то тем или приемов, а то и вовсе навязчиво рекомендует бросить писать.

Очевидная несостоятельность такого подхода в критике основывается на двух факторах. Во-первых, для возникновения художественной триады требуется, как уже указывалось, равноценное приложение как авторских, так и читательских усилий, а значит, в коммуникативном провале, которым оборачивается якобы несостоятельный художественный текст, в равной степени виновны оба участника диалога. Во-вторых, описание отрицательного (отсутствующего) опыта художественного впечатления ни в коей мере не может заменить состоявшийся (наличествующий) опыт. А именно такой опыт и формирует авторское художественное сознание.

Да! Рецепт таланта автора ровно тот же, что и таланта читателя: многообразный и разнообразный читательский опыт. Впрочем, бывают редкие исключения, когда художественное сознание способно развиваться не путем перехода количества в качество, а глубоким проникновением, тотальным освоением небольшого числа образцовых текстов, но обязательно существенно отличающихся по поэтике.

Автор этой статьи убежден, что художественность невозможно имитировать, невозможно создать исключительно сознательными усилиями, поскольку существует огромное количество т. н. художественных факторов, которые зачастую воспринимаются и воспроизводятся на интуитивном уровне. Конечно, подробный анализ текста — как форма читательского восприятия — способен выявить большую их часть, вывести в область сознательного и объяснить их воздействие, но не существует способов до создания текста учесть всевозможные нюансы и держать их совокупность в голове на протяжении всего времени создания. Нередко сами авторы жалуются на то, что в процессе письма чаще сам текст управляет ими, нежели они — текстом. В этом как бы стороннем влиянии,

а на самом деле — неосознаваемом ощущении совокупного воздействия художественных факторов, и заключается феномен вдохновения.

Собственно, чем более талантлив автор, тем вероятнее, что текст станет ему сопротивляться, а автор менее всего будет пытаться насильно управлять им. Как говаривал незабвенный Винни-Пух, «самый лучший способ писать стихи — позволять вещам становиться туда, куда они хотят».

Задача автора — позволить словам выстраиваться так, как они хотят. Задача читателя — соотнести свой опыт художественного впечатления с аналогичным авторским опытом. Задача читателя-критика — попытаться понять, почему именно эти слова выстроились именно в таком порядке, а не обвинять слова в том, что они стоят не так, как хотелось бы ему, критику. Задача адекватной литературной критики — поделиться обретенным опытом понимания со всеми желающими, включая и самого автора. И, наконец, задача филолога-исследователя — изучить общие законы создания, восприятия и воздействия художественного текста, а также обнаружить художественные факторы, значимые для отдельно взятого произведения.

А как же быть с теми художественными текстами, которые все же оказываются неконгруэнтны читателю? Как определить, в каких пропорциях соотносится авторский и читательский опыт при ознакомлении с такими текстами, т. е. чей опыт художественного оказывается масштабнее? Если речь идет о простом читателе, он, естественно, обращается с этим вопросом к литературной критике. Но что делать, если в отношении данного текста (или любых текстов данного автора) литературная критика отсутствует или в ситуации неконгруэнтности тексту оказался сам критик?

В этом случае может помочь любая, хотя бы и самая простая (например,

школьного уровня), методология художественного анализа. Если текст сопротивляется анализу — высока вероятность нехватки читательского опыта. Впрочем, в этом случае не исключена возможность, что читатель столкнулся с нехудожественным или просто бессмысленным текстом, но в действительности такое случается гораздо реже, чем принято считать. Если же анализ, напротив, дается легко и на выходе обнаруживаются тривиальные результаты, значит, читательский опыт намного превышает авторский, но и в этом случае есть вероятность того, что читатель-исследователь попросту не замечает деталей, которые находятся вне его собственного опыта. Тогда для надежности стоит обратиться к более комплексной и усложненной методологии художественного анализа, что требует уже специальных знаний в теории литературы, или воспользоваться вторым методом, о котором ниже.

Этот метод заключается в обращении к помощи других людей — тех, чей читательский опыт известен. Предложите оценить «подозрительный» текст нескольким знакомым, но при этом желательно, чтобы их читательские интересы не совпадали. Грубо говоря, дайте текст любителю верлибров, любителю классики, любителю зарубежной поэзии, любителю Мандельштама, любителю Маяковского, любителю Полозковой и т. д. Если ни на одного из «подопытных» текст не произвел хоть какого-то впечатления, то очевидно, что художественный опыт автора либо меньше опыта любого из опрошенных, либо настолько масштабен, что покрывает всю сумму задействованных читательских опытов (что, конечно же, случается очень редко).

Как правило, чем разнообразнее и шире круг опрашиваемых, тем вероятнее, что найдется читатель, по отношению к которому текст окажется конгруэнтен.

Он-то и должен выступить в качестве литературного критика в отношении исследуемого текста и рассказать о полученном художественном впечатлении.

Опираясь на вышесказанное, автор статьи предлагает следующую схему этапов критического восприятия художественного поэтического текста.

Первый этап — «субъективная честность». Зачастую критическая оценка выражается словами «классно/супер/отлично» или «фигня/отстой/плохо». Нужно понимать, что в этом случае более объективным выражением читательского мнения будут высказывания «мне нравится» или «мне не нравится». Здесь ключевое слово — «мне», и таким образом внимание фокусируется на соотношении оцениваемого текста с областью конкретного читательского опыта.

Второй этап — «обоснованное мнение». Тут следует говорить о конкретных деталях текста, например: «Мне (не) нравится то-то и то-то, потому что это кажется мне таким-то» или — «Эта строка кажется мне (не)удачной, она (не)производит на меня впечатление» и т. п.

Третий этап — «просвещенное мнение», и здесь подразумевается необходимость довольно большого читательского опыта. На этом уровне критическая мысль уже позволяет проводить какие-то сравнения, аналогии с известными текстами, оперировать базовыми понятиями художественных практик, рассуждать о собственно художественном впечатлении от текста.

И, наконец, четвертый этап — «критическое мнение» — требует наличия четких критериев художественности, полного осознания своего читательского вкуса, владения литературоведческим аппаратом, позволяющим вычленять в тексте отдельные художественные факторы, анализировать их и обнаруживать авторскую индивидуальность — если она, конечно, в них проявлена.

* * *

Автор этой статьи настаивает на том, что критическому высказыванию необходимо учиться так же и в той же мере, как и собственно высказыванию поэтическому, а единственное значение критики заключается в описании читательского труда по сотворчеству.

Напоследок хотелось бы указать на еще одну распространенную ошибку поэтической критики — в тех случаях, когда таковая является не столько «поэтической», сколько «поэтичной». Иначе

говоря, это критика такого рода, когда читательское восприятие стихотворения описывается вычурным и якобы художественным языком, не разъясняя исходный текст, а, наоборот, еще более затрудняя его восприятие. Адекватный язык литературной критики — нечто среднее между публицистической и научной речью, с превалярованием первой. Критика не должна быть метафоричной, иносказательной. И автор статьи искренне надеется на то, что когда-нибудь мы придем к регулярной, качественной и настоящей поэтической критике.

ПАМЯТКА ЛИТЕРАТУРНОМУ КРИТИКУ (опциональное резюме)

1. Адекватная литературная критика должна рассказывать о художественном впечатлении от прочитываемых текстов, учить менее опытных читателей получать эстетические переживания при столкновении с непонятным авторским художественным сознанием.

2. Художественное впечатление возникает при соразмерном соотношении читательского и авторского художественного опыта. Художественный опыт приобретает либо в результате прочтения множества разнообразных текстов, либо путем вдумчивого, глубоко проникающего изучения небольшого количества произведений, максимально отличающихся эстетически.

3. Если текст не вызывает художественного впечатления — не стоит поспешно записывать его в разряд «непонятных» или «примитивных». Сначала следует разобраться, чей художественный опыт оказался масштабнее — читателя или автора. Затем следует постараться найти читателя, которому текст окажется конгруэнтен (впрочем, может случиться, что единственным таким читателем окажется лишь сам автор — в случае самой натуральной графомании).

4. Некоторые якобы критические замечания, то бишь указания автору, как следует писать, чтобы понравиться критику, являются не литературной критикой, а завуалированной попыткой самоутвердиться за чужой счет. В равной степени не являются литературной критикой и восторженные похвалы автору или (в меньшей степени) тексту, поскольку задача критики — рассказать не столько о самом художественном впечатлении, сколько о его основаниях, о тех художественных факторах, которые присущи рассматриваемому тексту, чтобы другие читатели смогли воспроизвести в себе опыт художественного впечатления.

5. Однако если автор и критик одинаково оценивают художественный опыт критикующего как больший по отношению к авторскому, то непубличная критика (скажем, на литературном семинаре) может быть в форме рекомендаций — на какие художественные факторы автору стоит обратить особое внимание, чтобы усилить художественное впечатление, а каким стоит позволить выстраиваться самостоятельно.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОЙ КОНГРУЭНТНОСТИ

Проблема, предлагаемая к обсуждению в статье Олега Полежаева «К вопросу о поэтической критике», безусловно, назрела и даже в какой-то мере почти перезрела. Мы столкнулись с интересным литературным, культурным феноменом: с одной стороны, наблюдается определенное оживление в современной сибирской поэзии, есть ряд интересных публикаций и изданий, активизировалась фестивальная жизнь, хорошо освоен и работает такой формат, как поэтический слэм, а с другой стороны — эта активность не подтверждается и не подкрепляется литературной критикой, призванной профессионально оценивать все разнообразие поэтического пространства. И очень хорошо, что эта проблема осознается всеми участниками литературного процесса. Нам важен консенсус в начале разговора — сибирская поэзия нуждается в диалоге с критическим сообществом. И мой уважаемый коллега в своей статье изложил взгляд на возможное взаимодействие с позиции представителя сибирской поэзии. Наше высказывание — взгляд на проблему со стороны современной сибирской критики.

* * *

В тексте нашего коллеги присутствуют несколько базовых положений, повторяющихся в разных связках и комбинациях, поэтому без труда можно сформулировать его основные послылы:

1. Теоретически работа основывается на триаде *автор — текст — читатель*. Олег Полежаев заявляет о сложных отношениях между автором и текстом, в которых зачастую автор — сторона, подчиненная тексту. Еще больше сложностей возникает в обратных отношениях, когда читатель через текст движется к авторскому замыслу. Необходимой фигурой в этом движении выступает критик, призванный установить или облегчить контакт между текстом и читателем.

2. Критик должен соотносить собственный читательский опыт с «направлением художественной мысли автора». Если в результате прочтения текста отождествления не получилось, то это проблема, скорее всего, именно критика, который «не сумел понять», «ограничен в своем читательском опыте», «читает много, но не то» (при этом автор пытается обойти вниманием вариант «поэт все-таки пишет не то»).

3. Критик склонен сравнивать текст с образцами, которые существуют в его сознании, что снова приводит к тому, что «неповторимость творческого сознания» не находит отклика в косном сознании критика.

4. Нежелание бороться с этими двумя проблемами приводит к возникновению «антикритики» и «антикритика». Последний смеет указывать автору на

недостатки его текста, да и попросту самоутверждается за счет автора и текста. Недостатков же, как мы понимаем, быть не может, но есть то самое несоответствие, которое автор красиво называет неконгруэнтностью авторского и читательского сознания, а чтобы возникла конгруэнтность, критику предлагается больше читать.

А если чтение не помогло честно назвать поэта гением и все равно возникает тревожащее сознание ощущение, что «поэт пишет не то»? Мой коллега все же рассмотрел этот гипотетический вариант: нужно обратиться к опытным людям и опросить их. Если кто-то из них признает ценность текста — критик с горечью должен констатировать ограниченность своего читательского опыта, замолчать и принять. От своего лица для экономии времени могу посоветовать упомянутому критику обратиться непосредственно к творцу текста. Итог тот же: безболезненное и, главное, быстрое принятие текста.

Теперь разберем эти пункты по очереди.

Знакомая нам триада *автор — текст — читатель*, конечно, не последний аргумент в критике и филологии. Уже в начале прошлого века было создано несколько моделей этих отношений, которые развиваются, дополняются и опровергаются вплоть до наших дней. Просто назовем несколько имен и направлений: М. М. Бахтин, Г. Гадамер, постмодернистские концепции в различных изданиях...

Но, несмотря на общеизвестность, триада не стала общепринятой до сих пор. Даже в прозе отделить полностью автора от текста не представляется возможным. Вспомним слова Флобера: «Госпожа Бовари — это я». «Смерть автора», растворение писателя в тексте или тирания текста над автором — прекрасные темы для выступлений на солидных литерату-

роведческих конференциях и повод для получения научных степеней. К литературе это имеет отношение более чем опосредованное.

В поэзии же отношение между автором и текстом еще сложнее, чем в прозе. Автор в поэзии присутствует не только в форме лирического монолога и прямой речи. Автора можно декодировать через предметные ряды («Большая элегия Джону Донну» И. Бродского), сюжет, он может «раздваивать» себя, надевать собственными авторскими чертами природные объекты (Н. Заболоцкий). Вспомним о хокку — усладе рафинированных интеллектуалов. Но мой коллега в своей статье объявляет вопрос об отдельной независимой природе текста решенным, ссылаясь на такой авторитетный источник, как Винни-Пух.

Из этого небесспорного тезиса делается вывод о необходимой функции критика как посредника между автором, текстом и читателем. Пусть будет так.

А вот дальше следуют пассажи, с которыми просто нельзя согласиться. Для начала ясно, просто и неправильно определяется природа и сущность литературного критика. Он объявляется всего лишь «профессиональным читателем».

Но на наш взгляд, литературный критик — это писатель, для которого необходимым условием творчества выступает наличие художественного текста с последующей рефлексией по поводу данного текста. Акцентируем внимание на рефлексивности: талант прозаика или поэта может носить черты органичности, критик же работает осознанно и рецептурно. Ограничивает ли это критика, загоняет ли его в определенные рамки? Да. Но ограничение — родовая черта литературы, и, например, для автора детектива непреложным условием при создании текста является преступление. Что же касается критиков, то, кроме необходи-

мости действовать в определенных рамках, им присущи и другие отличительные черты. К основным признакам следует отнести эстетический канон — центр художественного сознания критика. Ориентируясь на него, критик и выносит свои суждения о тексте. Канон — это не только формальный принцип сознания, он наполнен содержанием, иерархически выстроен. Представления о прекрасном или безобразном всегда соотносимы с образцами, которые имеют названия, имена и фамилии. Не хочется опираться на костыли цитат, но все же напомним высказывание И. Бродского: «Природе искусства чужда идея равенства, и мышление любого литератора иерархично». Критик же по своей природе — литератор в квадрате, так как создает свои тексты на основе текстов других авторов, которые включаются в иерархию или исключаются из нее. Благодаря этому иерархия имеет динамическую природу, живой литературный процесс не дает ей окаменеть. Поэтому критик всегда сравнивает и оценивает.

Уважаемый коллега в своей статье несколько раз повторяет положение о том, что критика должна быть объективной и, соответственно, необходимо избегать субъективности. Позволим себе уточнить и эти тезисы.

Мы полностью принимаем идею об объективности критики, но понимаем это несколько иначе по сравнению с автором статьи. При оценке текста мы должны опираться не на восприятие личности автора («с таким лицом писать стихи — преступление»), но соотносить его творчество с категориями нашего канона. И вот тогда субъективность (действительно, не самое лучшее для критика качество) превращается в нечто иное, хотя и близкое по звучанию, — в субъектность. Критик — не просто носитель канона (как читатель, обладающий хо-

рошим литературным вкусом), критик осознанно ищет точки приложения канона на материале творчества того или иного субъекта (автора). Выносимые критиком суждения по необходимости являются категоричными, так как выражают сущностную сторону эстетической позиции. И здесь, кстати, (в)скрывается важное отличие критика, пишущего о прозе, от критика, предметом изучения которого выступает поэзия.

В первом случае критик обладает аппаратом аналитического прочтения текста, он может составить сложную формулу оценки прозы: допустим, указывает на оригинальность сюжета произведения — и одновременно отмечает плоскость характеров героев, действующих в рамках этого же сюжета. В итоге появляется возможность дать произведению сложную подробную оценку.

Синтетическая же природа поэзии, как и поэтического таланта, в меньшей степени способствует подобному разложению на элементы. Плохо это или хорошо, но подавляющее большинство критических отзывов о поэзии строится на цитировании: в положительных рецензиях приводят строки, вызвавшие у критика восторг или хотя бы приятие, в отрицательных — те, которые были не поняты или просто не легли на душу. Поэтому мы также осознанно не можем принять призыв к перманентному расширению читательского опыта, которое якобы необходимо для критика. Наматывание километров прочитанных текстов для критика качественно бессмысленно.

Таким же сомнительным методом представляется обращение критика к «помощи других людей с читательским опытом». Напомним, что критик пишет текст, обладая сформированными и сформулированными эстетическими категориями. «Другие люди с читательским опы-

том» — сторонники иных эстетических канонов и могут при желании написать свой текст или высказать мнение по поводу уже написанного критического отзыва. Нам не совсем понятна попытка усреднения критического восприятия поэзии. Она с неизбежностью приведет к тому, что критика попросту окажется ненужной, неинтересной читателю. Выиграет ли от этого сам автор?

Хотелось бы также обратить внимание на высказанный в статье нашего коллеги настойчивый призыв прийти к «поэтической» критике, которая противопоставляется «поэтичной» критике. Последней ставится в вину метафоричность и иносказательность, то есть признаки литературы как таковой. И здесь автор статьи, надо признаться, последователен. Определяя этапы создания критического отзыва, на последнее место он помещает наличие «четких критериев художественности», к которым с роковой неизбежностью вновь прибавляется «полное осознание своего читательского вкуса». Совокупные последствия подобного подхода очевидны: если сам критик, как мы помним, выводится за рамки литературы, превращаясь в начитанного, доброжелательного, немного пугливого человека с солидным списком знающих людей в телефоне, то, соответственно, и тексты, написанные им, должны быть «культурными» и как минимум «умеренно комплиментарными».

В свое время Е. Крапивницкий, основоположник и глава Лианозовской школы, написал стихотворение о своих коллегах:

...Художник Анатолий
Брусиловский — гений!
Художник Илья Кабаков — гений.
Поэт Игорь Холин — гений...

Далее в стихотворении следует список, насчитывающий почти полторы

сотни фамилий. Крапивницкий, конечно, издевался над нравами тогдашней поэтической тусовки, отношения внутри которой строились на вынужденном обожании друг друга, а каждый комплимент собрату по перу требовал ответа в тонах не менее превосходных. Правда, как показывает практика, ситуация за последние пятьдесят лет практически не изменилась...

Об этом и говорит наш коллега в начале своей статьи: «Поэтическое поле Новосибирска, как и всей страны, состоит из множества разнообразных сегментов, которые в первом приближении очень условно можно разделить на две группы: “консервативную” и “прогрессивную”», — говорит, но не договаривает, уходя в рассуждения о рифмованном стихе и андеграунде, поэтических экспериментах и консерватизме. Ситуация же, на наш взгляд, имеет большее отношение к социокультурной проблематике, чем к чисто литературной.

Сегментация, на которую верно указал Олег Полежаев, привела к тому, что практически единственной формой межавторской коммуникации становится заурядная кружковщина, имеющая множество названий: литературное объединение, поэтический клуб, творческий союз... Сущность от наименования не меняется — вокруг гения-лидера собираются как другие гении, не нашедшие признания у грубой толпы, так и просто творцы, еще только собирающиеся стать гениями. Отношения внутри подобного сообщества строятся, как правило, на основе вынужденного, зачастую лишь декларативного, принятия творчества товарищей и намеренно высокой его оценки. Это правильно с точки зрения социальной физики, иначе гении просто передумают друг друга.

Но накапливаемая энергия отрицания ищет выхода, поэтому очень часто вектор

общения с внешним миром смещается из сферы творческой в политическую: участники объединений ищут ответ на простой и болезненный вопрос: почему мир не видит и не признает их? Ответ, как правило, выражается в двух одноцветных вариантах: «публика темна» и есть «темные силы». Любые суждения о произведениях участников сообщества вне категорий «талантливо», «интересно» или по крайней мере «свежо» объясняются происками и невежеством, а критика объявляют ретроградом (застрял на Некрасове, который Николай), человеком, скандально рекламирующим самого себя за счет крови поэта, или просто дураком. Как следствие, появляется запрос на «настоящую» критику — ту, которая бы правильно оценила «настоящую поэзию». Реализуемо ли подобное желание? Да, есть примеры этому.

В свое время, на излете советской империи, в Москве в поэтическом полуподполье существовала группа метаметафористов (И. Жданов, А. Еременко, А. Парщиков). Желание известности подвигло к тому, что молодого тогда В. Курицына, их творческого собутыльника, обяжали писать статьи о поэтах — и с этими статьями Курицын отправился завоевывать московские редакции. Маркетинговый ход принес ожидаемый результат: публика выказала интерес, который облекся во вполне материальные, а главное, приятные предметы — издания, премии, творческие командировки. Есть и совсем оригинальные варианты коммуникативной гармонии между автором и критиком: так, один из самых крупных и авторитетных специалистов по поэзии А. Кушнера — Е. Невзглядова — одновременно является женой А. Кушнера... Но будем честны — представленные примеры хоть и красочны, но вряд ли применимы в наших условиях: иные времена, города и люди.

Можно ли наладить конструктивные отношения между современной сибирской критикой и поэзией? Я не рискну в подражание своему коллеге составлять памятку с пятью или более пунктами для, например, поэтов — не наше дело учить их писать стихи. Но есть несколько пожеланий.

Первое — нужно преодолевать экзистенциальный страх перед критикой. Если даже автор сталкивается с отрицательной оценкой своего творчества, то это лучше и плодотворнее, чем вялая, пресная похвала, которую наш коллега определяет как «регулярную, качественную и настоящую литературную критику». Судя еще по одному высказыванию из статьи, касающемуся образа идеального критика, положительная ценность одного заключается в «соразмерном соотношении читательского и авторского художественного опыта». Зачем и кому это вообще нужно? Поэзия для автора во многом есть преодоление: языка, пространства, времени. В этот список входит и мнение критика, которое в нем стоит далеко не на первом месте. Из этого вытекает и фундаментальная проблема: может ли творчество любого автора быть «регулярно» принимаемо и «качественно» одобряемо всеми? И самое главное — нужно ли это поэту?

Второе пожелание связано с необходимостью преодоления сегментированности и местечковости. Пребывание поэта в уютных, но несколько тесноватых стенах разного рода творческих союзов и поэтических школ — этап необходимый, но временный для автора. Как убедительно показывает история русской литературы, настоящий поэт всегда преодолевает, перерастает подобные рамки и, как бы это ни звучало неприятно, своих бывших соратников. Мы знаем Сергея Есенина и хорошего поэта имажиниста Вадима Шершеневича — разница меж-

ду ними, в том числе и иерархическая, очевидна. Вспомним, какими кружными путями (архангельская ссылка, по следам Ломоносова в обратную сторону, эмиграция, отказ от общения) уходил Бродский от цепких объятий «ахматовских сирот». Самое смешное, что оставшиеся участники сообщества до сих пор утверждают, что «с нами рядом Иосиф писал лучше».

Проблема еще и в том, что любая критика, направленная против «участника направления», воспринимается как общий сигнал тревоги — соратники сдвигают поэтические щиты и в сторону «критикана» летят ядовитые стрелы. С человеческих позиций пребывание в «священном дружеском союзе», конечно, комфортнее ситуации, когда автор остается один на один с миром, в котором есть критики, чьи мнения не всегда «кон-

груэнтны». Но дискомфорт, требующий преодоления непонимания, для творца — не самая плохая ситуация, намного хуже для него остаться наедине с осознанием величия своего дарования и без возможности отстраненно увидеть то, что ты делаешь.

* * *

В конце — откажемся от ритуальных заклинаний о необходимости «сотрудничества», «дружбы домами» и прочих милых нелепостей. Все намного проще и яснее: пусть поэты пишут хорошие стихи, а критики об этих стихах — интересные для читателей и авторов разные (разные!) отзывы. А если мнения и оценки будут не совпадать, то мы вспомним о высокой положительной роли конфликта не только на театральных подмостках — и это будет означать, что литература продолжается.



Владимир ЧИРКОВ
**ГЕОРГИЙ КИЧИГИН
И ЕГО «ФОТОАЛЬБОМ ДЕДА»**

Межрегиональная художественная выставка «Сибирь—XII», первая среди девяти запланированных в федеральных округах России, прошла в апреле нынешнего года в Новокузнецке — и, как на любой «сборной-отборной» выставкомовской выставке, в новокузнецкой экспозиции нашлось место всякому добру: редкие выдающиеся произведения соседствовали с вполне профессиональными вещами, оттесняя на задний план проходные экземпляры, без которых тоже не обойтись — выставка-то отчетная, своих обижать не принято, тем более что последние в искусстве все равно не делают погоды... А делают ее по-прежнему крупные мастера — те, кому под силу не только решение профессиональных задач, но и создание художественных образов, способных тронуть душу и ум максимально большого количества зрителей. Такое по силам лишь талантливым художникам, потому что они способны поднимать проблемы, касающиеся многих, если не каждого. Это особенно важно сейчас, в пору индивидуализма и гипертрофированного эгоцентризма, состоящего в кровном родстве с расплодившейся нынче агрессивностью.

В немногочисленном же ряду крупных социально и нравственно ориентированных современных художников отдельно хочется выделить Георгия Кичигина. Думаю, что многие зрители хорошо помнят этого омского мастера по большой персональной выставке, проехавшей в 2010—2011 гг. по Красноярску, Томску, Новокузнецку и Новосибирску. Давно зная Георгия Кичигина, я берусь и читателей «Сибирских огней» поближе познакомить с ним как с художником и, если получится, — как с человеком.

* * *

Список работ Георгия Кичигина, говоря без преувеличения, труднообозрим, поэтому в сегодняшнем разговоре остановимся лишь на одном цикле, очень похожем на исследование и пронизывающем всю творческую жизнь мастера. Суть цикла выражена в названии — как всегда у Кичигина, точном, продуманном, очень часто метафорическом — «Фотоальбом деда».

Знакомство с циклом требует короткого отступления, с которым нам будет легче понимать специфику художественного языка мастера. Георгий Кичигин свою первую персональную выставку, прошедшую в далеком 1991 г. в Омске, назвал в духе того времени — «Театр гражданских действий». Оставшийся от выставки небольшой каталожек показывает, как рано, буквально с первых шагов, художник программно заявил о своих ориентирах в творчестве: нравственное неизбежно пересекается с социальным и — в идеальном варианте — конвертируется в духовное. Применительно к изобразительному искусству это означало, что работа с подобными темами под силу в основном традиционным жанрам живописи. Художники по-разному решают такие задачи, и Кичигин нашел свой ход, точнее, свою драматургию: не только сочинение той или иной картины, но и сочинение всего своего творчества, заложив тем самым основы личного метода. И здесь стоит сказать главное, касающееся основ работы Георгия Кичигина: для него существенным, то есть социально, нравственно и эстетически ценным, является все то, что символизирует и выражает ценность уни-

версальную. Такой ценностью для Кичигина может быть только личное, вобравшее общественное, а до симбиоза личного и общественного может восходить только семейное, родовое: память рода, фамилии — то есть то, что скрепляет личную и социальную историю уже народа, нации, государства.

Ранняя работа цикла появилась давно, в 1977 г., через три года после окончания омского худграфа — небольшой холст «Старый альбом». Это тот самый дедовский фотоальбом, реально существующий и бережнейшим образом сохраняемый в мастерской в том состоянии, в каком по наследству достался художнику. Для Кичигина альбом — это не просто семейная реликвия, а предмет сакрального свойства; такие вещи в домах старого уклада хранятся свято. В этой бытовой вещи живет память предков, которую Кичигин-человек бережет и чтит, а Кичигин-художник черпает из нее сюжеты для картин.

Не могу не сказать еще и о таком важном качестве творческой личности, как ее самость или само-бытие, т. е. такое бытие человека, при котором он, по Мартину Хайдеггеру, не противопоставляет себя миру. Самостная личность встревожена состоянием мира, заботится о нем здесь и сейчас, думает о том, что с миром будет завтра, и в нашем случае речь как раз идет о нравственных исканиях как основной теме русского искусства вообще и живописи в частности.

Самость у художника определяет главное: умение быть в ладу с самим собой и находить такую оптимальную форму существования, когда природное (талант видеть), социальное (осознание себя частью человеческого сообщества, имеющего историческую память) и профессиональное (умение писать) — совпадают. Именно такую самостную личность Георгия Кичигина я знаю и наблюдаю достаточно давно...

Долгой истории его альбомного цикла уже более тридцати лет, ее наполняют композиции разного содержания: от лирических, созерцательных до драматических и философских. К 2004 г. относится «Память старого альбома» — большого

формата холст, весьма изобретательно написанный: первый план, выполненный в жанре торжественного праздничного натюрморта, прихотливо трансформируется на втором и третьем планах в жанровую композицию с реминисценциями из истории дореволюционного Омска.

Ценители техники лессировки в живописи находят картину изумительно хорошо написанной, а точнее сказать — прорисованной тонкой кистью. Доминантой композиции является сам альбом, водруженный на венский стул, при этом современная спинка последнего обрамлена с обеих сторон тяжелыми живописными складками драпировок светлого и темного тонов. Любознательный зритель спросит: а при чем здесь драпировки? А при том, что художник в данном случае театрализует композицию, пластически сочиняет возвышенный образ альбома, являющегося источником и знаком духовного взросления автора на протяжении всей его жизни.

* * *

В 2009 г. Георгий Кичигин начал цикл из девяти работ, названный «Фотоальбом деда» и получивший продолжение в последующие годы. Внимательно вглядываясь в каждый холст, прочитывая сюжеты, понимаешь, что цикл представляют собой некую раскадровку хорошо известных «Предков» (1991) и позже написанной «Моей Атлантиды» (2010), также относящейся к этому циклу. Тему старого альбома художник, если можно так выразиться, оркеструет в многочастную живописную сагу, максимально примеривая ее к себе — наследнику и потомку рода Кичигиных.

Особенно удачной является композиция «Автопортрет с папой»; не могу припомнить в современном искусстве произведения со столь сложной драматургией образа и пластики. Назову формальное решение картины конверсионным, при этом — абсолютно в кичигинском духе — драматургия холста предельно нагружена, усложнена, художник привносит в работу элементы мистификации.

На картине мы видим автопортрет самого художника, уже взрослого человека, видим портрет его отца в детском возрасте и других персонажей на старой фотографии, которые в композиции играют фоновую роль. Усложнение драматургии холста здесь не только в мистическом жесте руки взрослого художника, лежащей на плече ребенка-отца, но и собственно в живописи: пожелтевший коричневый цвет с протертыми синими фрагментами на старой фотографии в фоне перекликается с цветом рубашки художника, сидящего спиной к зрителю, благодаря чему холст работает как единое живописное целое. В картине есть еще одна деталь, которую внимательный взгляд не пропустит: ребенок-отец, «выступив» из фотографии в картину, наделен живым взглядом персонажа картины — в отличие от отстраненных взглядов людей на исторической фотографии в фоне. Визуальная информация подводит зрителя к пониманию той самой искомой самости, которая равна исторической памяти. Суть исторической памяти есть обет и условие существования нравственной личности. Для нравственной личности нет ничего выше правды жизни.

Реальный альбом деда Георгия Кичигина содержит фотографии участников Гражданской войны, являющиеся подлинными документами истории семьи художника. В «альбомный» цикл входит композиция «Ситец Гражданской войны», написанная в стилистике, ранее не встречавшейся в творчестве мастера. Художник прибегает к имитации приема аппликации: оловянные солдатик, «красные» и «белые», весело расположились вокруг бравого конного казака с шашкой в руке, образовав некое подобие орнамента. «Ситцевое» прочтение темы Гражданской войны в контексте творчества Георгия Кичигина кажется неожиданным, однако если вспомнить подобные сюжеты и приемы, распространенные в 1920-х гг. в советском фарфоре, в иллюстрациях В. Курдова (книжки-картинки «Кавалерия» и «Конная Буденного»), то можно не только считать его оправданным, но и от-

нести к пластической находке, напрочь лишенной профессиональной косности.

Следуя заявленным творческим ориентирам (прошлое есть настоящее в личностном измерении), Георгий Кичигин в контекст цикла органично вплетает автопортреты, портреты дочери и жены: изображая одних и тех же персонажей, художник старается раскрыть тему духовной преемственности. Если на одном из давнишних портретов предстает трепетный образ юной девочки («Лиза», 1991), то в жанровой композиции «Сто лет спустя» (2013) дочь, написанная на фоне семейной фотографии столетней давности, — это молодая женщина и продолжательница рода.

...И, наконец, автопортреты Георгия Кичигина — их немало, но среди них нет ни одного парадного, они интерпретированы порой беспощадно и безжалостно. Наверное, правильным будет считать, что автопортреты Кичигина поверяются тем, что он пишет вообще. Иногда он сознательно обостряет собственный образ («Автопортрет. Мишень», 2005), иногда мифологизирует себя, делая причастным то к мировой истории («Каинова печать», 1995), то к мировому искусству («Я — маленький голландец», 1994).

По метафоричности и тонкой символической перекличке уже известный нам «Автопортрет с папой» стоит в одном ряду с «Автопортретом. Несение мольберта» (2009). В данном случае несение мольберта — смелая вариация на тему библейского сюжета, и смелость не только в «опрошении», но и в передаче тяжести материального мира, натуралистичности ощущения, переживания. Мастер иллюзорного письма, Георгий Кичигин сознательно пошел на обостренную подачу материала ради создания образа несения креста судьбы художника, ответственного за правду жизни и искусства. Живописцев с таким нравственным творческим посылом в современном искусстве Сибири очень немного, и Георгий Кичигин — один из них, вероятно, самый яркий и убедительный.

АВТОРЫ НОМЕРА

Аникина Ольга родилась в 1976 г. в Новосибирске. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Окончила Новосибирский медицинский институт и Литературный институт им. Горького. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Автор четырех книг стихов и двух книг прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

Виськин Юрий Петрович родился в 1953 г. в селе Серафимовка Приморского края. Окончил Омский политехнический институт и Высшие литературные курсы. Автор шести книг прозы. Печатался в коллективных сборниках и альманахах, журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни» и др. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

Глазов Анатолий родился в 1953 г. в Устюжне. Служил на Черноморском флоте, работал забойщиком на шахтах Донбасса. Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета и Енакиевский политехнический техникум. Живет в Череповце.

Дьячков Алексей родился в Новгороде. Окончил Тульский политехнический институт. Работает инженером-строителем. Автор трех поэтических книг. Публиковался в журналах «Новый мир», «Арион», «Сибирские огни» и др. Живет в Туле.

Зарубин Дмитрий Евгеньевич родился в 1962 г. в Саратовской области. Окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. Работал в СМИ Центрально-Черноземного региона. Публиковался в журналах «Волга», «Новая Юность». Живет в Старом Осколе.

Качемасов Всеволод Олегович родился в 1964 г. в Свердловске. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Публикуется впервые. Живет в Тюмени.

Комаров Константин Маркович родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Автор литературно-критических статей и поэтических публикаций в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы» и др. Автор нескольких книг стихов. Живет в Екатеринбурге.

Петрова Валентина Николаевна родилась в 1988 г. в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Работает журналистом, редактором. Публиковалась в журналах «Сеанс», «Ното legens». Живет в Москве.

Поздняков Андрей Борисович родился в 1976 г. в Павлодаре (Казахстан). Окончил Новосибирский государственный университет по специальности «социология». Работал маркетологом,

журналистом, политтехнологом в нескольких регионах страны. Публиковался в журнале «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Полежаев Олег родился в 1981 г. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Поэт, издатель альманаха сибирской актуальной поэзии «Между». Живет в Новосибирске.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор нескольких романов, биографических книг о Жюль Верне, Уэллсе, Брэдли и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

Руденко Александр Анатольевич родился в 1953 г. в Москве. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор ряда поэтических книг, а также книг переводов поэзии. Стихи переводились на болгарский, английский, испанский и другие языки. Член Союза писателей России. Почетный член Союза болгарских писателей и Союза переводчиков Болгарии. Живет в Болгарии и в России.

Соловьев Сергей Владимирович родился в 1956 г. в Ленинграде. По профессии — математик. Автор романа «День ангела», книги стихов и прозы «4+1», биографии Дж. Р. Р. Толкина (в соавторстве). Рассказы публиковались в журналах «Литературная учеба», «Химия и жизнь» и др. Живет в Тулузе (Франция), преподает в местном университете.

Титов Александр Михайлович родился в 1950 г. в Липецкой области. Окончил Московский полиграфический институт и Высшие литературные курсы. Публиковался в журналах «Новый мир», «Волга», «Север» и др. Автор семи сборников прозы. Живет в с. Красном Липецкой области.

Хлебников Михаил Владимирович родился в 1974 г. Кандидат философских наук. Автор книг «Теория заговора. Опыт социокультурного исследования» (2012) и «Теория заговора. Историко-философский очерк» (2014). Живет в Новосибирске.

Чирков Владимир Федорович родился в 1947 г. Кандидат философских наук. Заслуженный деятель культуры Омской области, член комиссии по искусствоведению и художественной критике ВТОО СХР, почетный член Российской академии художеств. Автор более 300 публикаций и научных трудов, куратор выставочных и научных проектов. Живет в Омске.

Шалашова Александра Евгеньевна родилась в 1990 г. в Череповце. Окончила Литературный институт им. Горького. Работала учителем русского языка и литературы в школе. Публиковалась в альманахах «Пятью пять», «Пролог» и др. Автор сборника стихов. Живет в Москве.

СИБИРСКАЯ ГОРНИЦА



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 02.08.2018. Дата выхода № 8 за 2018 г. в свет 15.09.2018.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.